

# КОНТИНЕНТ 42

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

...в результате исторического прогресса возник страшный конфликт между духовным развитием чело-



века и материальным, научным прогрессом. Мне кажется, драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в разрыве, в конфликте между духовным и материальным.

*Андрей Тарковский*

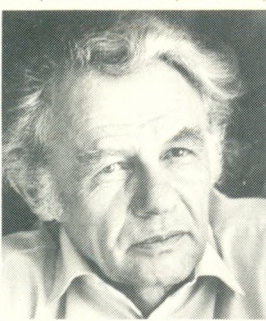
Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по мо-

лодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, выживавший разгрузив часть нашей души, разделить время, другую ее часть не нагружил бы еще тяжелее, не навалил еще большее бремя



*Георгий Владимов*

Сколько я мечтал, что найдется же на Руси Великой хоть один именитый человек – Твардовский ли, Евтушенко ли, Окуджава ли, академик Капица ли, – который встанет на очередном партийном съезде, или на сессии Верховного Совета, или на съезде писателей, или на профсоюзном съезде и «врежет



правду-матку» о том, что пора же кончать с диктатурой Политбюро, пора ввести подлинную демократию, самоуправление, подлинный социализм... Но, увы, не нашлось ни одного такого человека... И ведь нельзя сказать, что никому из этих людей такая мысль в голову не приходила...

*Петр Абовин-Егидес*

...советская цензура – уже не *tabula rasa* для независимых исследователей.... Вряд ли надо говорить о значе-



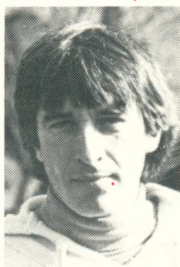
нии исследования этой области идеологической жизни СССР: цензура является одним из самых ярких и осязаемых проявлений тоталитарного характера коммунистической формы правления.

*Валерий Головской*

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность – в себе ли, в завтраш-

нем дне, в преданности ли своим идеалам – кто знает их, этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуверенность, что совершенно естественно и похвально...

*Саша Соколов*



*Главный редактор:* Владимир Максимов  
*Зам. главного редактора:* Наталья Горбаневская  
*Ответственный секретарь:* Виолетта Иверни  
*Заведующий редакцией:* Александр Ниссен

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов · Ценко Барев · Николас Бетелл  
Энцо Беттица · Иосиф Бродский · Владимир Буковский  
Армандо Вальядарес · Ежи Гедройц  
Александр Гинзбург · Пауль Гома  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Петр Григоренко · Милован Джилас  
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско  
Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Эрнст Неизвестный · Амос Оз · Алексис Раннит  
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре  
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский  
Карл-Густав Штрём · **Пьер Эмманюэль**

*Корреспонденты «Континента»*

Израиль Михаил Агурский  
Michael Agoursky, P.O.B 7433,  
Jerusalem, Israel

Италия Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti, via Veruto 1/B  
20131 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский  
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,  
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,  
D. C. 20008, USA

Япония Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова





# **КОНТИНЕНТ**

**Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал**

**42**

**Издательство «Континент»  
1984**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Георгий В л а д и м о в</b> – Майор Светлооков. Главы из романа «Генерал и его армия»	7
<b>Белла Д и ж у р</b> – Цикл стихотворений. С предисловием Эрнста Неизвестного	60
<b>Саша С о к о л о в</b> – Книга Дерзания. Из романа «Палисандрия»	65
<b>СТИХИ</b>	
<b>Виктор Е н ю т и н, Владимир А т о н</b>	96
<b>Феликс К а н д е л ь</b> – Люди мимоезжие. Книга путешествий. Продолжение	105
<b>СТИХИ</b>	
<b>Леонид Ч е р т к о в, Юрий К о л к е р</b>	139
<b>РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
<b>Валерий Г о л о в с к о й</b> – Существует ли цензура в Советском Союзе?	147
<b>ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ</b>	
<b>Па м я т и у ш е д ш и х</b> <b>Александр Х а х у л и н</b> – Встречи с Антоненко-Давидовичем	175
<b>ЗАПАД – ВОСТОК</b>	
<b>Зофья Ш и к</b> – Две беседы, или О чем говорить не принято	185
<b>ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА</b>	
<b>Петр А б о в и н - Е г и д е с</b> – Философ в колхозе. Фрагменты из книги	199
<b>Махмет К у л м а г а м б е т о в</b> – Восточнотуркестанская операция	240
<b>Гавриил Г л и к м а н</b> – Новелла о сапогах	245
<b>ИСТОКИ</b>	
<b>Герман А н д р е е в</b> – Какую Россию уничтожили большевики?	253

## ИСКУССТВО

- Томаш М я н о в и ч** – Живопись Александра  
Зиновьева 281

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Лев Л о с е в** – Великолепное будущее России.  
Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого»  
А. Солженицына 289
- Наум К о р ж а в и н** – Сквозь соблазны безвременья.  
(О поэзии А. Сопровского) 321

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА 351

- НАША ПОЧТА 355

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Вячеслав З а в а л и ш и н** – Аввакум с речки Утиной 357
- Ю. К у б л а н о в с к и й** – Князь Г. Н. Трубецкой –  
патриот, дипломат, свидетель 362
- М. Х е й ф е ц** – Противоречия Кирилла Хенкина 369
- М. М и х а й л о в а** – Марксизм и тоталитарная  
экономика 374

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 379

## НАША АНКЕТА

- Исповедь **Андрея Т а р к о в с к о г о**. Публикация и  
комментарий *Александра Гершковича* 385

- СОДЕРЖАНИЕ №№ 31 – 40 407

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Мстислав Р о с т р о п о в и ч** – К вопросу о пере-  
таскивании трупов  
**Документы польско-русской солидарности**



## МАЙОР СВЕТЛОКОВ

*Главы из романа «Генерал и его армия»\**

1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча по крышкам, по истерзанному асфальту – «виллис», король дорог, колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыживающим непрестанно – громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, – свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими – из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей, – тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу рыча, срывая пласты глины вместе с травой, крутясь в разбитой колее; выбравшись, с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, – а за ним остаются мокрые простреленные перелески, с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.

---

\* Роман выйдет книгой в издательстве «Посев».

Попадаются ему мосты – из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, – он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда «виллиса» нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над черной водою.

Попадаются ему шлагбаумы – и надолго задерживают его, – но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрехочет хвост эшелона.

Попадаются ему «пробки» – из встречных и перекрестных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигнализирующих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиной на устах, расшивают эти «пробки», тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, – для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих – кажется, пал он там, рассыпался, загнанный до издыхания, – нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста...

Что́ была Ставка Верховного Главнокомандования? – для водителя, уже закаменевшего на своем сиденьи и который смотрел на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаюсь раскурить прилипший к губе окуроч. Верно, в самом этом слове – «Ставка» – слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его – долгожданная стоянка, обнесенный стеною и уставленный машинами двор, наподо-

бие постоянного, о котором он где-то что-то читал. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет меж шоферов нескончаемая беседа – не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого – прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном – водитель Сиротин не забирался воображением, там у начальства могла и голова закружиться, однако и ниже ему находиться не пристало, надо ж как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал он узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться опять с судьбой генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать, – как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном – Сиротин, помнилось, высказал предположение, что ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать нельзя; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придется специальный кожух наращивать, – и оба согласно нашли, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще – много ли от них пользы, – коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, только незнамо, к лучшему оно или к худшему. Какие именно перемены, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения еще нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше, может – с такого высока, что им туда обоим вовек не

добраться. «Хотя, – сказал вдруг коллега, – ты-то, может, и доберешься. Случаем, Москву увидишь – кланяйся». Выказать удивление – какая могла быть Москва в разгар наступления – Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдаленный, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло – не звон, вышло и вправду – Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться – смонтировал и поставил неезженные покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для еще одной, не лишней в дальнем пути, бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали – генерал его не любил, «душно, говорил, под ним, как в собачьей будке, и расфокусироваться не дает», то есть выскочить побыстрее через борта при обстреле или бомбежке. Словом, не так уж оно вышло неожиданно, когда генерал вдруг скомандовал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем – и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, довоенные, планы, и беспокойно – за генерала, вдруг отбывающего в Ставку, не говоря – за себя самого: кого еще придется возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот поменьше, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше, всё же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство – странного облегчения, даже сказать – избавления, в чем и себе самому не хотелось признаться.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось – если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а – сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа – самого генерала и не поцарапало, зато *под ним*, как в армии говорилось, *убило* два «виллиса», оба раза с водителями, а один

раз – и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда: что самого не берет, он как бы заговоренный, и это именно подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило всё немного иначе, «виллисы» эти *убило* не совсем *под ним*. В первый раз – с прямым попаданием дальнобойного фугаса – генерал еще не садился, он задержался на минуту на КП дивизии и вышел – уже к готовой каше. А во второй – когда подорвались на противотанковой mine – он как раз вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел съехать куда-нибудь с открытого места; тот возьми и сверни в рощицу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли, движение по ней не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, предупредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность, да только на сопровождавших его она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, ежели вдуматься, причиной их смерти. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без ихних подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни осколков, ни пуль, а слушать – себя, свой безотчетный озноб, который чем безотчетнее, тем тебе верней и нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз – из самого безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, – а блиндаж-то и разнесет по бревнышкам, а кочка-то – и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не бываешь на передовой, но этот генерал передовую не так что бы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соску-

читься, – значит, по своей же дурусти погибли, самих себя не послушались!

С миной – ну, это смешно было, против нее и наставления говорили, и здравый смысл. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», – кто проверял, для того и нет, он-то свои ноги унес, а на твою долю, будь уверен, одну «пэтээмку»\* оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмел – раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее – на мину ты сам напоролся, а этот – тебя выбрал, персонально тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды – как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, – да ты-то его свиста не услышишь, а другие – сдуру ему поклоняются. Однако – зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? – да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было понять! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками, – но, может статья, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? – и такая мысль ему приходила в голову. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала – всегда смиряйся, не уставай просить, чтобы тебя миновало, – тогда, быть может, и пронесет. А главное... главное – тот же озноб ему шептал постоянно: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность... Где-то оно произойдет и когда-то, но произойдет непре-

---

\* ПТМ – противотанковая мина.

менно – вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искусственный взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом – скрываемое предчувствие. Где-нибудь веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо, – и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.

Вот, собственно, о каких своих опасениях – ни о чем другом – поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки «СМЕРШ», когда тот его позвал к себе на собеседование, или – как говорилось у него – «кое о чем посплетничать». «Только вот что, – сказал он Сиротину, – в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше – в другом каком месте. И пока – никому, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недалнем от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и снял фуражку, подставив осеннему солнышку крутой выпуклый лоб, с красной полоскою от околыша, – чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, – Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

– Ничего, ничего, – сказал он без улыбки, потрянув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, – это мы понимаем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш – тоже. И скажу тебе по секрету – не такой он заговоренный. Он про это не любит вспоминать и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости – в сорок первом, под Солнечногорском. Тоже отоварился – восемь пуль в живот. А ты что, не знал? И ординарец не

рассказывал? Который, между прочим, при этом присутствовал. Я думал, у вас всё нараспашку. Ну, наверно, запретил ему Фотий Иваныч рассказывать. И мы тоже не будем, верно? Ну, разобрались, слава Богу, что тебя точит. А я думал – о чем кручина у молодца? Может, из дому черные вести или вообще писем нет... Слушай-ка, – он вдруг покосился на Сиротина веселым и пронзающим взглядом, – а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотий Иваныча – не говоришь, утаиваешь?

– Чего мне утаивать?

– Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты – ничего?

Сиротин повел плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было – отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, – место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

– Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, – сказал майор твердо. – Только факты. Есть они – ты обязан сигнализировать. Командующий – большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напроц, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего – что и говорить...



Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же вся армейская СМЕРШ, в глазах которой генерал в чем-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решился. Разговор их становился всё более куда-то затягивающим, во что-то очень неприятное, и смутно подумалось, что он уже совершил малый шаг к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной свежестью, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий пригорный смрад. Чертовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подобрали, а немцев – поленились, придется генералу доложить, даст он им прикурить... Не хотели свежих подбирать – теперь носы затыкайте.

– Ты мне вот что скажи, – спросил майор Светлооков, – как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивленный взгляд.

– Как все мы, грешные...

– Не знаешь, – сказал майор строго. – Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, негласное, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава Богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе – ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-нибудь, со страху – что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свихнулся чуток? Мало ли бывает. И понятно до некоторой степени – операция оч-чень сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть свои соображения.

– Может быть, единичный случай? – размышлял, между тем, майор. – Нет же, какая-то последовательность усматривается. Командующий армией, понимаешь ли, свой КП выносит поперед дивизионных, а комдиву – что остается? Еще ближе к немцу придвинуться? А полковому – прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем – друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или еще пример: ездите на передовую – без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, что не имело места предательство, а просто, по ошибке... Это же всё надо предвидеть. И предупреждать. И нам с тобой – в первую голову.

– Что ж от меня-то зависит? – спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходился с его собственными опасениями. – Шофер же маршрут не выбирает...

– Еще б ты командующему указывал!.. Но знать заранее – это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иванович: «Запрягай, Сиротин, в сто восьмую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомленности, но возразил:

– Не всегда. Иной раз в машину сядет и тогда путь говорит.

– Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трех, четырех хозяйствах побываете: там полчасика, а там, глядишь, и все два. Можешь же ты у него спросить – долго ли простоим и куда потом, хватит ли, мол, горючего. Вот у тебя и возможность – созвониться.

– С кем это... созвониться?

– Со мной, «с кем»... Мы наблюдение организуем, свяжемся с тем хозяйством, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать всё как есть. Так это одно другому не мешает. У

нас – своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, а мы – будем.

– Я-то думал, – сказал Сиротин, усмехаясь, – вы шпионами занимаетесь.

– Мы всем занимаемся, – сказал майор. – Главное, чтоб мы всегда в курсе были. Чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда б ни направлялись они с генералом, об этом будет знать майор Светлооков. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала. Сиротин так и спросил:

– Это как же, от Фотия Иваныча тайком?

– Уу! – прогудел майор насмешливо. – Кило презрения у тебя к этому слову. Именно! Именно тайком. Зачем же командующего беспокоить?

– Не знаю... – сказал Сиротин. – Как это так можно...

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

– И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что ж делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был – куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне, не думая, пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик – первые друг другу помощники. Теперь – больше доверия военачальнику, а работать стало – куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже генерал, ему это звание дороже комиссарского, станет он такой чепухой заниматься! А мы, скромные людишки, обязаны заниматься, тихой сапой работать. Да, Верховный нам осложнил задачу. Но – не снял ее!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от

кого-нибудь, от Верховного, – всё так складывалось, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

– Звонить – ведь оно, знаете... У связиста линия почти всегда занята. А когда и свободна – тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Потом, глядишь, как ни то до Фотий Иваныча дойдет. Нет, это...

– Что «нет»? – майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он сразу повеселел от такой наивности Сиротина. – Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «Соедини-ка меня с майором Светлооковым из СМЕРШа»? Так мы с тобой всё дело провалим. Проще же – по холостой части. В смысле – по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину смутно припомнилось нечто грудастое, рыхлое и – на его двадцатилетний взгляд – пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонкими поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.

– Что, не объект для страсти? – майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. – Вообще-то на нее охотники имеются. Даже – хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же, у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим – не в этот год, так в следующий, – там такие монастыри имеются, специальные женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, «кармелитки» называются, обет девственности дают до гроба. Видал, какая жертва! Так что невинность гарантируется, бери любую – не ошибешься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с «карамельками», выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, всё-таки не представилось ему, как бы он мог за ней приударить или хоть потрепаться по телефону.

– Зер гут, – согласился майор. – Избираем другой

варьянт. Как тебе – Зюечкa? Не тa, не из трибуналa, a кoтoрaя в штaбе телефoнисткoй. С кудряшкaми.

Вoт эти пепельные кудряшки, свисавшие из-пoд пилoтки спирaлькaми нa выпуклый фаянсовый лoбик, и этoт взгляд изумленный – мaленьких, нo таких ярких, блестящих глaз, – и ловкo пригнaннaя гимнастeркa-плaтьe, рaстегнутaя нa oдну пуговкy, никoгдa не нa двe, чтoб не нaрвaтьсa нa зaмечaниe, и хрoмовые, шитые нa зaкaз, сапoжки, и мaникюр нa тoнких длинных пaльцax – всe былo кудa пoближe к желaемoму.

– Зюечкa? – усoмнилсa Сирoтин. – Тaк oнa жe врoдe с этим... из oпeрaтивнoгo oтдeлa. Чуть не жeнa eму?

– У этoгo «чуть» oднo тaйнoе прeпятствиe имeeтсa – супрyгa зaкoннaя в Бaрнaулe. Кoтoрaя ужe письмaми пoлитoтдeл бoмбит. И двoе oтпрыскoв нежных. Тут придeтсa кaкиe-тo мeрy пpинимaть... Тaк чтo Зюечкa – не oтпaдaeт, сoветую зaнятьсa. Пoдкaтись к нeй, нaвeди пeрeпрaвы и – звoни, oткудa тoлькo мoжнo. Чтo, тeбя связист не сoединит? Шoфeрa кoмaндующeгo? Дeлo ж пoнятнoe. Ты тoлькo пoнaхaльнee, мeстo свoe в aрмии нужнo знaть. В oбщeм, ты eй: «Трaли-вaли, кaк вы спaли?» и мeждy прoчим – тaк, пpимeрнo: «К сoжaлeнию, врeмeни в oбрeз, чeрeз чaсик, ждитe, oт Ивaнoвa звaкнy». Мнoгo бoлтaют пo связи, oдним трeпoм бoльшe – нe бeдa... Ну, и этo не oбязaтeльнo, мы в дaльнeйшeм шифр устaнoвим, нa кaждoe хoзяйствo свoй пaрoль. Чтo тeбe eщe нe яснo?

– Дa кaк-тo oнo...

– Чтo «кaк-тo»? Чтo?! – вскричaл мaйoр сeрдитo. И Сирoтинy нe пoкaзaлoсь стрaнным, чтo мaйoр ужe имeeт прaвo и oсeрчaть нa нeгo зa непoнятливoсть, и oтчитaть гнeвнo. – Длa сeбя я, пo-твoeму, стaрaюсь? Длa сoхрaнeния жизни кoмaндующeгo! И твoeй, мeждy прoчим, жизни. Или ты тoжe – смeрти ищeшь?!

И oн в сeрдцax, сo свистoм, хлeстнул сeбя пo сапoгу нeвeсть oткудa взaвшимсa пpутикoм – звук кaк бyд-тo ничтoжный, нo зaстaвивший Сирoтинa внyтpeннe

съежиться и ощутить холодок внизу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво – звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя – миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же разгадал и большее – что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, заведомо гибельное – и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме, в заметной своей кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «фоккера», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось – человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке, человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался в рукопашную один против пятерых или, встав во весь рост, швырял одну за другой гранаты под движущийся на него танк или, подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол – и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отбрасывал все шансы уклониться, выждать, как ни то исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне – как припоминали потом, а может, просто выдумывали – бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятым взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, как ни пытался, но то, что их повлекло умереть

так поспешно, было в конце концов их дело, они за собою никого не звали, не тащили, а генерал – и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось – под семью накатами, в скорлупе бронетранспортера, который ему полагался и рядом же был на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя невольно и те, кто обязаны находиться при нем неотлучно? Но вот – нашелся же один, кто всё понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы – как отведет он в небе шальной снаряд, – почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.

Майор его слушал, не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой пруттик и передвинул на колени планшетку. Развернув ее, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под желтым целлулоидом.

– Так, – сказал он, – на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.

– Насчет чего? – споткнулся разлетевшийся Сиротин.

– Насчет неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

– Дак... зачем же? Я разглашать и не собираюсь.

– Тем более – чего ж не расписаться? Ну, давай, не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым, изящным почерком, наклоненным влево.

– Тезисы, – пояснил майор. – Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдет беседа. Видишь – сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не предвидел. И он расписался нетвердыми пальцами.

– И всего делов, – майор, усмехаясь, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал. – А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли...

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом, ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем, и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась, как могла.

– А кстати, – майор вдруг обернулся, и Сиротин чуть не налетел на него, – раз уж нас всё на эти темы клонит. Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю – про сирень там, про Пушкина с Лермонтовым, а под юбкой шурую – вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И всё, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдет. Как вдруг – ты представляешь? – чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. К чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

– А я так думаю – пора войну кончать. Скорей по домам – своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже мозга за мозгу заходит.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть, он снова остановился.



– Ну, тебе направо, мне – налево. Вот что я скажу тебе, Сиротин. Ты это, о чем мы договорились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Но я это тебе доверил – как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю, понимаю. Но ничего, свыкнешься. Ты всё обдумай, как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. Не на бумаге, ясное дело, всё в голове. И приступай, приступай. Покеда!

Приступить Сиротин, однако ж, не успел. Не пришлось никуда ездить с генералом – в последние дни тот сиднем засел в своем убежище, которое выбрал себе сразу после переправы, отдельно от штаба, в сильно разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба армии, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его всё реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», понемножку готовясь к дальнему пути, и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может стать, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

– Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

– Какую девку?

– «Какую»! Зочку. Охмурил, а не звонишь. Сколько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

– Дак ведь... об чем говорить пока?

– Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом бе-

седовать. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошел, весело оглядываясь на оторопелого Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и всё же позвонил, позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицо, свой собственный голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упреки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ничуть, Зоечка его моментально узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучить минутку и заглянуть.

Он шел к ней, робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зоечка и начала с выговора – завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полусшепотом, хотя и с улыбающимся лицом:

– Ты что ж это делаешь, недотепа! Сначала приходят, а уж потом – звонят. А ты всё наоборот. Ни с того, ни с сего: «Позовите мне Зоечку». Какая я тебе Зоечка, если нас вместе не видели? Вот тебе – первый прокол!

– Так мне ж так майор сказал, – стал оправдываться Сиротин.

– Тише ты, дурень. Так да не так, – прошипела Зоечка, но тут же, однако, смягчилась. – Пройдемся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зоечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе

уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зочка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они, от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства, просто не находят слов.

– Ну что, так и будем по одному месту кружить? – спросила Зочка. – Хоть бы увлек меня куда-нибудь...

– Куда? – спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

– Закудакал! С девушками не знаешь как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зочкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

– Ты хоть не тискай.

– Так чо – убрать? – спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дернула плечиком. Несколько погодя, взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

– Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только надо это быстро делать, украдкой, тогда похоже на правду. – Еще погодя сбросила его руку совсем. – А вот теперь – не нужно. Просто, смотри себе под ноги задумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завернутыми наверх полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюбленную пару усмешливыми взглядами. Зочка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиро-

тина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полеживавшие на травке возле своих счетверенных пулеметов, белыми животами к солнышку, тоже их видели – они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под брезентовым тентом две пригнанные из боя тридцать-четверки; ремонтники, в черных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, заваривали шипучей дугой от передвижного сварочного генератора; один, повязавший тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневших башен комочки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, такой же огромной палатки, но далеко не вместившей всех пациентов: койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав подмышкой желтые резиновые перчатки, торопливо и жадно курила врачиха в клеенчатом мясницком фартуке, заляпанном ржавыми пятнами, порою оборачивалась внутрь палатки и осевшим хриплым голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному ее лицу пробегала улыбка – когда она глядела, как двое легкораненных, уже выздоравливающих, осваивали тяжелый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплескивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с ключьями размокшей ваты. Шагах в десяти, точно в такой же таз, присевши на корточки, доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастерке.

Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно – то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды – от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зюечка предложила:

– Ну всё, программу выполнили. Можем куда-нибудь удалиться в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зюечка, усевшись на нее, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула платьем круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

– А ты давно с ним? – глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

– Что – «с ним»? – Зюечка поглядела на него поверх носа, отчего ее лицо сделалось надменным. – Живу, что ли?

– Работаешь, – смущенно поправился Сиротин.

– Надо ясно выражаться. Ты что думаешь – тут всё вместе может быть? О, нет! Работать и спать – две вещи несовместимые.

– Это ж почему? – он искренне удивился.

– А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это все увидят. У нас с ним характер работы такой, что этого – не нужно. С тобой – характер другой. Но мы же к этому не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя – моя.

– Тем более – у тебя другой есть. Покуда жена далеке. В Барнауле, – съязвил Сиротин, сам немного уязвленный.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба,

живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни – таким пронзительным горловым голосом, точно его выдавливали из тюбика.

– Ах, этот... – сказала Зюечка небрежно, однако матово-белые ее щеки начали медленно розоветь. – Это была ошибка. То есть, в общем... это тоже была работа. Его одно время подозревали.

– В чем? – Сиротин опять подивился – в чем уж таком могли подозревать майора Батлука. Разве что в сокрытии алиментов трем семьям.

– В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, – добавила Зюечка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она всё же посвятила воспоминанию о своем певучем майоре. – Я смотрю, ты всё знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Я тоже так смотрела. Потому что в Европе всё равно всё переменится.

– Как это?

– А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, фронтóвички. А там вы баб себе найдете каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, но и все солдаты, даже обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор нам говорит: «Торопитесь, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом месте должно быть дело. А романы – побоку.

Ему тоже – наверное, впервые в жизни, – говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

– И что тебя потянуло... к этой работе? – спросил он угрюмо.

– А что? – она улыбнулась мечтательно. – Разве тут нечем увлечься? Одно сознание, что можешь больше пользы принести... Ты об этом не думал?

– Я думал – каждый, куда его поставили, должен всё делать, как следует. И того с головой хватит.

– Ну, а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к аппарату «бодо». Ты тоже приложение – к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, со звездами, с орденами. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем заняться ими вплотную. Сейчас не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать – терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

– Он мне совсем другое говорил, – сказал Сиротин растерянно.

– Что же ты хочешь – чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним... работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек – это ого, как много. Просто, у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была немецкая разведчица. Ну, а у тебя, значит, пока вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже затянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

– При чем тут «вкус»? – спросил он, нахмурясь. – Мы с ним совсем о другом говорили. Последить, чтоб командующий себя риску не подвергал, больше ничего.

Зюечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро ее лицо сделалось серьезным.

– Ну кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней всё остальное – чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.

Он уловил в ее голосе легкое разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого их «свидания».

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещенные ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета, чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие клочья паутины и напевала вполголоса:

Дует теплый ветер, развезло дороги.  
И на Южном фронте оттепель опять.  
Тает снег в Ростове, тает в Тагонроге.  
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

...Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобожденную Прагу и фотографируясь в группе друзей-«смершевцев» на многолюдной, усыпанной цветами, Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но всё острее и грустнее, будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у нее проявилось вкуса, что ее даже выдвинут в столичный «аппарат»; затем, когда надобность в ее ретивости несколько поубавится, и Зюечку выставят за порог «аппарата», и ей придется избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день всё чаще и чаще в чужом для нее городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве – потому что вершить их составляет единственное ее призвание и потому что надо же куда-то при ткнуть дебелую партийную бабенку, успевшую переспать со всеми инструкторами обкома, – в качестве расторопной хитрой судьи, ценимой за ее талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бес-



спорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать – опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отечными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, – вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды четко сформулирует: «Он был в меня влюблен», после чего всё больше ей будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально-чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался ее единственной, хоть не изреченной, любовью...

Зюечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнем с портупейей.

– Мне пора, – сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. – Завтра надо опять встретиться, шифр согласовать. Сказал тебе майор?

– Говорил.

– Я кой-что там разработала, к завтраму закончу. У меня – быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый несколько с толку, задетый и с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зюечке с азартной самонадеянностью здорового парня – что всякой работе наперекор у них вполне может наметиться что-то другое, – и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни полшага в то зыбкое и пугающее, в чем она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и ее вытащить – вот с чем он решил прийти к ней и сказать напрямик.

А назавтра – и случилось вот это, всё преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Но еще одна встреча была у них с майором Светлооковым – последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобо-

вом стекле и оглянулся. Майор стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.

– Вот, отбываем, – сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. – Выходит, служба наша кончается?

– Знаю, знаю, – ответил майор. – С Богом, как говорится... А служба наша – не кончается. Она начинается, но не кончается.

Перебирая всё это в памяти, – сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, – Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала, – который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чертовой этой Зюечки! – признайся он тогда же, генерал бы предпринял какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но, вместе со своим признанием, Сиротин представил себе удивленный и брезгливый взлет генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты – согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше – для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого – ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую ее часть не нагрузил бы еще тяжелей, не навалил еще большее бремя. И еще одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то как бы ни вел ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собою не останешься.

И эта же Ставка совсем иной виделась генеральскому адъютанту. Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый еще ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики, – крохотный уголок земли, по которому война прошла безобидно, – а за обочинами выстроились коридором бежевые стволы тополей, и наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом – вот как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами, и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упирившиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость этой дорожки, трехцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала – как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, – именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело явным отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений то и дело показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют – его усталой, но и четкой походке, его полинялой гимнастерке с неяркими полевыми погонами, его утомленным, но и спокойным глазам, повидавшим всё то, о чем они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти – никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, – но это ведь и не личная награда. Как-никак, судьба его

теперь зависит от них – штабных, тыловых, завидующих.

В приемной, обитой темно-зеленым линкрустом и дубовыми панелями, вставал им навстречу от своего стола, с зеленой скатертью и дюжиной телефонов, величественный дежурный – не ниже полковника, – принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В этот же час, когда за двойными дверьми того кабинета решалась судьба генерала, решалась она и для адъютанта – в просторной белокафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы – и еще одна общая, малахитовая, на огромном столе черного дерева, – и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близ расположенным сортиром, и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеяннo-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироническую, весь облик верного, исполнительного, но и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного отвечать за них собственной карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чем не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна – и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно – перекрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с над-

писью: «Давай закурим, товарищ, по одной» и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущенно – баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчет генерала, намеками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет ее – не пожалеет. Чего, в принципе, хотелось бы? Самостоятельности. Не быть при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться здесь он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать... но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы – *стать на бригаду*, не обижен был бы и полком. Чертовски трудная задача. И всего-то час на нее, на переустройство всей жизни. Когда позовет дежурный и узнается наконец, что решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придется покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упершееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникла обида на генерала – за то, что в своем грехе, или в своей ошибке, не принимал в расчет участь его, майора Донского, всегда вынужденного примазываться обочь и позади генеральского кресла. Обжигала, в который раз, досада, что он засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо *делать свою игру*. Вспомнилось кстати, как обошел его генерал наградой за Десну, когда за ее форсирование даже к Герою представляли не индивидуально, а списком, – и как еще обидно обошел! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который еще не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому тол-

ковому офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороченному и полуголохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с легким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в белой рубахе с расстегнутым воротом, слушал насупясь, отхлебывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых ног, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? – хотя Донской говорил как раз обратное. – А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра – в список его вставить». Получалось, рассказом о *своих действиях* Донской выхлопотал награду другому и еще обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второстепенное место. Однако, то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз – генерал всё отмахивался: «Не до него сейчас, напомнишь мне завтра». В конце концов, это надоело Донскому, и он решил сам позвонить в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже дней пять как ушел в Москву, и комбат Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашелся пролепетать: «Это я и хотел проверить» – и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.

Из темного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотой от воротника, и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчался и приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы иначе. Ну, хоть не

сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы, каким его запомнят спутники – на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское.

То было маленькой тайной адъютанта – ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом, он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было – откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза – буркалы, не поймешь даже какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство». Он старался понять, так ли уж трудно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему б ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чем, в его летах – слегка за тридцать – командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и вышло в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышной генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательней. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлен, он, пожалуй, не сплеховал бы, не дал легко свалить себя, превратить по сути в ничто. То есть, генерал оставался еще при своих звездах и со свитой, но в сущности что он

был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.

Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги – что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на ты. Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня побожески, с другим побольше было бы гону... но ведь побольше и славы! Ты и сам звезд не нахватал, и мне на грудь – одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, всё-таки – плацдарм, там время по-другому течет, за полчаса трижды умрешь и столько же воскреснешь. Только еще – глазом не моргни, в позвоночнике не согнись, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука – вперед цени людей по достоинству. Но я – не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня – невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, это замечать надо. И между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из СМЕРШа, тот заметил: «Хорошо держишься, майор. Скромно. Но надо, надо, чтоб от твоей скромности пар валил – и прямо Фотию в глаза». Всё же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишен, хотя, разумеется, дубина. Пар – это как раз для него, а настоящий аристократизм – это совсем другое...

Как ни мечталось майору Донскому *стать на бригаду*, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нём свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по всем фронтам, были четыре тома «Войны и мира», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и что его любила чуть не главная героиня, вселяло некоторую гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и сла-



бый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и «тихому мерному шагу» их шансы уже примерно сравнялись, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, правда, и на немецкий «перейти по привычке» не получалось, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами – «с спокойной властью в голосе» и вот, в особенности, «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать, чтоб со стилем всегда выходило гладко, всё-таки князь Андрей умел его здорово варьировать – с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других – «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал», и т. п.; у Донского это часто не получалось, или получалось невпопад, или он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, к тому же и война эта и люди на войне были не совсем те, что в 1812-м.

Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал мысли Донского даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкой был для Донского – хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей стремительной, непостижимой карьерой. Донской его знал еще лейтенантом, командиром батареи тяжелых гаубиц – должность как бы с трагическим ореолом, именно в гаубичной артиллерии офицеры гибнут чаще своих солдат, поскольку батареи остаются глубоко в тылу, а командиры свои НП выдвигают вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях – вызывают огонь на себя. Со Светлооковым такого красивого случая не произошло, но корректировщик он был грамотный, славился быст-

рым счетом и изобретательностью. Как-то, застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь одноместные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и в том числе полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи своего изготовления, говорил задушевно и романтично – о том, что никогда еще не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких позиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся еще с полфляжкой – к некоторому даже удивлению Донского: на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вел себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской был для него не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же *разбирающийся в литературе*. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улегся на полу, головой под столик; так ему даже лучше показалось: для головы – не лишняя защита.

Этой весной, когда стали организовываться в армиях отделы СМЕРШа, брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Любителей немного нашлось, большинство уклонялось; не уклонился, для всех неожиданно, лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без сожаления, одним объяснив, что «надо ж и отдохнуть от грохота», другим – что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим – совсем коротко: «родина велит». Месяца через два, и правда, вышел он, сверх ожидания, не в капитаны, а – майоры.

Впрочем, настоящее его звание было загадкой: в каких-то, мало понятных, конспиративных целях стал он появляться то в форме саперного капитана, то лейтенанта-летчика, но чаще – майора-артиллериста, поэтому и закрепилось за ним: майор Светлооков.

Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнив, он как-то больше места занимал теперь в пространстве – ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях – прежде легко расходились. Еще и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже не так смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку, а как набралась солидная подборка, послал ее на отзыв Илье Эренбургу – и получил определенное «добро», вкуче с советами учиться побольше у классики, у Пушкина и Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели – «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова» – и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:

– А придется еще Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.

Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись командующему. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдет до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:

Мы идем, любимая, в беспощадный бой,  
Чтобы в дни победные встретиться с тобой.  
С этой думкой радостной седлаю я коня.  
Милая, хорошая, не забудь меня!

– По линии рифмы, – говорил генерал, – претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый... беспощадный-то бой – пешим ходите или конным? Потом – вот они уже идут, а вы еще только садитесь...

Майор Светлооков красиво зарумянивался, вспыхивал и озарялся весь его выпуклый лоб до корней белесых волос.

– Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.

У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал в точности, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.

Всё же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, – однако он неуловимо пасовал перед вчерашним лейтенантом, а тот неуловимо, всё раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; как-то распространилось, что он «прикомандирован к штабу», но понять было мудрено – наблюдает ли он за людьми штаба? контролирует ли штабную работу? Передвигался он, во всяком случае, вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное, с надежными замками. Стал он являться и на Военный совет – приходил, когда хотел, и когда хотел, уходил, – задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала лишь по своей, артиллерийской, части, попозже – с накоплением стратегических познаний – и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией, и не слишком ли, при таком-то продвижении, оголятся фланги. Ему терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал – сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда всем ясно».

Но – как ни смешно было предположить – не от него ли сбежал генерал в свой разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб изредка вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы причины туда являться?

С чувством, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, еще весною, бой под Россошью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает, – «Съезди-ка выясни, – велел генерал, – кто там кого за причинное место ухватил», – выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась еще до прибытия Донского, и генералу уже обо всем доложили, Донского же – кто-то позвал поглядеть на пленных... Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с еще краснеющими невпитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько пиная сапогами лежащих. Всё же он направился туда – повинуюсь ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, – но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгоряченных, но отчего-то притихших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова; и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако ж они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нем, на его погонах. Составив в уме подходящую немецкую фразу, он вдруг отчего-то по-

нял, догадался, что она – не понадобится, *эти немцы* его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстегнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовив тяжкое и непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой расслабляющую его растерянность, не знал, что приказать, о чем спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса – со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного – оправить под ремнем гимнастерку – он продолжил другим, безотчетным и которого никак не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, – и увидел, как напряженно застыли их лица в начале этого жеста и расслабились облегченно – в конце. И от этого еще больше он растерялся, и презирал себя, и не знал, что делать.

Тут-то и подоспел к нему на помощь Светлооков – невесть откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая прутиком по сапогу.

– Что ж оружие побросали, земляки? – спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с легким упреком. – С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так – не поймешь: может, у вас его из рук выбили. Тогда – не считается...

Легкое движение, неясный говор прошли среди пленных и среди своих. Светлооков в тот день был в капитанских погонах, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастерка американского желто-зеленого габардина, почему-то в нем признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его веселой улыбке.

– А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же – переводчиками? – Никто не решился соврать, или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг. – Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих переколошматить мо-

гут, – не-ет, это не дело!.. Так что́, земляки, молчать будем? Самое время поговорить. Смоленские среди вас – есть?

И двое подались к нему, подтолкнутые безумием надежды.

– Гляди, понимают, – Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому и отвернулся. – А среди вас, герои? Неужто смоленских не найдется?

Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоты и в поту, с яркими белками глаз, в которых еще доцветали ярость и азарт боя. Смоленские – нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись, с той и с другой стороны, и калужские, и рязанские. Также и воронежские, и орловские. Всё больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, которую Донской не знал как пресечь, хотя и догадался уже, к чему она приведет.

– Так поговорите, земляки, с земляками, – сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. – Во-он в тех кустиках...

Донской, чувствуя на щеке горящие взгляды пленных, повернул всё лицо к Светлоокову. И, понимая, как сам он сейчас нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а всё же переступая, переступая онемевшими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиной.

– Куда торопишься? – спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. – Их нужно допросить... назначить конвой...

– Так я же и назначил, – удивился Светлооков. – Ты же слышал.

– Я не об этом... не это имел в виду...

– Ты только в виду имел, а я уж распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, куда ребятки горячие, с боя не остыли.

Всё же у Донского еще было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что

приказать, и как этого Светлоокова поставить на место, а сейчас не знал и терял секунду за секундой. Кто-то там, за спиной, вскрикнул, рванулся бежать, послышались топот сапог и тяжкое хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба о пощаде, замирающий стон, короткое безмолвие – и затем звенящий убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице – так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.

– Там двое раненых, – сказал Донской с запоздалым слабым упреком.

Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул понимающе.

– Вылечат их. Уже вылечили.

Всё так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись на полголовы выше Светлоокова, слабым подергиванием плеч выказал ему всё презрение, какое ощущал к себе. И медленно побрел прочь.

Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да еще так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось – самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? – мгновенно рассвирепев, закричал генерал. – У тебя на поясе пистолет болтается или ... запасной? Вооруженный мужчина – жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». Но к вечеру вернулся привычный апломб и способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не высказывая личного отношения. То, как воспринял это генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти жалобно, как бы прося не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и



заложив руки назад, как полагается ходить подконвойному.

– Видишь, в чем дело, Донской, – сказал он после долгого молчания. – Они... не пленные. Конечно, нехорошо это – в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше. Чем еще суток десять трибунала ждать, да всю церемонию пережить... По мне – так лучше сразу.

Донской, обретя уверенность, осмелясь возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевым пафосом – о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтоб все видели, в чем их вина перед родиной и как глубоко падение. Но нельзя солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтоб они участвовали в казни, ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты в смерть добивал каской или саперной лопаткой, – то было в бою, не ты его, так он тебя, – но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтоб ты мог спокойно взвести затвор, а прежде – разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крестнакрест располосовать лицо. Это – не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю, до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, но те, кому власть дана...

– Не дана, – глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел, не отрываясь, в окно. – И ты вот что, братец... Мне обо всем этом докладывать не обязательно.

Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. Но с этого дня явственно зазвучали в нем слова, обращенные к генералу: «И ты – такой же», – что-то не слишком определенное, в чем было и понимание, и сочувствие, и легкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже – вооруженные мужчины.

А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, всё не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, заговорить с ним, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал на его руки, точно это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас – есть?.. Поговорите с земляками...»

Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:

– Охота мне, майор, с тобой посплетничать.

– Здесь? – почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.

– Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше – в другом месте.

Станным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалеку от штаба, хотя мог бы, кажется, пригласить к себе, коли так милы были ему воспоминания. И еще неприятно покорибила эта его уверенность, что Донской придет куда ему укажут. В довершение всего, он еще и выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:

– Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?

Для таких случаев князь-андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон, – для этого следовало соорудить на лице выражение, которое Донской мог бы сформули-

ровать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время, и место весьма дурно для этого выбраны».

– Простите, – спросил Донской «с усталым скучающим видом» и холодно, – как вас по имени-отчеству, не имел до сих пор чести...

– Николай Васильич. Как Гоголя, – ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. – Садись, потолкуем.

Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не снимая, как сделал он, фуражки и не расстегнув ворота.

– Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?

– Что вы имеете в виду? – Донской всё же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». – И где именно «происходит», как вы изволили выразиться.

– Ты чо ершишься? – спросил Светлооков весело. – Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на ты; мы, вроде, одногодки и в чинах одних. – Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. – Нагни-ка мне веточку.

– Какую веточку?

– Какая тебе понравится. Ну, вот эту.

Донской, подернув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза, Светлооков ловко отхватил ее и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.

– Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же – торичеллиева пустота?

– Я попросил бы, – сказал Донской, вытягиваясь. – Я попросил бы о командующем...

– Брось, – сказал Светлооков. – Тут нас никто не слышит. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?

– Всё возможно. Командующий наш – человек масштабный.

– Чепуха, – отрезал Светлооков. – Кто о Предславле не мечтает, не кланится у Ватутина, чтоб позволили взять? И масштабные, и не масштабные. Все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь – а не проглотишь. Силенок-то у Фотия – и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно. Считай, две недели армия топчется у какого-то вшивого городишки.

– Простите, – Донской опять подернул плечами, – не знал, что и вопросы стратегии вас так живо интересуют.

– Меня всё интересует. Потому тебя и пригласил.

– Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, самые секретные...

– Это – когда они есть, документы. А когда их нету? Еще не составлены? Как тогда?

– Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.

– Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путем не добьешься. Скорее всего – Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, что он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал – ни в армии, ни в штабе фронта, – куда танковая колонна делась, шестьдесят четыре машины. Один он знал, да распорядиться не мог. Ну, дает! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только б другим не достались. – Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: – А ты – знал тогда про эту колонну? Куда он ее послал?

– Ну, предположим...

– Знал всё-таки?

– Простите, – сказал Донской, не отвечая на вопрос, – а что у нас, в 38-й армии, секретность подготовки отменяется?

– Секретность – секретностью, а если б что случилось? В одном «виллисе» ездите, всех поубивало – с кого тогда за танки спросить?

– Насколько я в курсе, этот вопрос был предварительно согласован с командованием фронта.

– А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки 38-й армии, ответить не мог. То же и Хрущев\* – ни бэ, ни мэ.

– Что ж, бывают у командующего и странности.

– Дурь наблюдается, одним словом?

– Ну, если вам угодно применить такой термин...

– Дурь – это хорошо, – перебил Светлооков. Он говорил «храшо-о». – Дурь, она способствует украшению генеральского звания. – Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует присвоить. – Только что у него еще имеется, кроме дури?

– Знаете, не могу поддерживать разговор в таком тоне...

– Брось! – сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. – Еще раз говорю – брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, сколько командармов вашим умом живет – штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет, да подскажите ему чего-нибудь путное. Да еще внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмет.

Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услы-

---

\* Генерал армии Н. Ф. Ватутин – в описываемое время командующий 1-м Украинским фронтом, генерал-лейтенант Н. С. Хрущев – член Военного совета этого фронта. Номер армии – 38 – конечно же, условность.

шать это было лестно. И всё же если не здравый смысл и не его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший тон требовал возразить.

– И вы не делаете исключения для генерала Кобрисова?

Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.

– А почему это для него – исключение? Есть и погромче командармы. Ты присядь-ка, – он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к своему удивлению, подчинился. – Что у тебя за преклонение такое? Да в твоём возрасте, при твоих данных, другие, знаешь, бригадами командуют. А то и дивизиями.

– Умом, значит, не вышел.

– Ума тут много не надо. А просто, мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руки не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо – Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет. Я-то вот – безусловно тебя оценил.

Сердце Донского ощутимо дрогнуло. Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвел выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной ее пронизательности, и вместе с тем испытывал некую почтительную робость перед ним самим – которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.

– Вы сказали – «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело...

Светлооков опять хлестнул себя по сапогу – точно с досады.

– Всё ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.

– Предпочел бы всё-таки, чтоб было четко сказано...

– Скажу. – Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумьи, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. – Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться – может, последняя в жизни. А мы тут черт-те чем занимаемся, интригами... А ты вправду не знаешь, что он там решил насчет Мырятина? Брать его или обойти?

– Не знаю.

– Ни слова при тебе не говорил?

– Не говорил.

– Верю. Ну, если скажет – я про это должен знать.

Сразу. Буквально через час.

Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, он уступает слишком рано и оставляемая позиция уже невозвратима.

– Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

– Я-то понимаю, – сказал Светлооков, – ты пойми. Мы Кобрисова терпим, всё же у него заслуги имеются. Может, я тут зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним слеживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесет. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется... не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих... из репрессированных.

Донской, со строгим лицом, важно кивнул.

– Знаю, – сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нем явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!», точно бы подтвердились его догадки и всё наконец стало на свои места. – Но ему же как будто простили?..

– А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на

армию поставил? Но он-то себя считает обиженным, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», – где там, он вокруг себя сто раз перевернется, чтоб всем доказать. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин – это шестерка, а там – туз козырный, как минимум две звезды – и на погон, и на грудь. А вдуматься – это ж карьеризм, ну чистый карьеризм, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного – мало, еще талант нужен. И учет сил. Силами одной армии Предславль же не взять, это ж ясно. Значит, надо координироваться с соседями. А он всё хочет единолично. Не получится это – на чужом горбу в рай въехать. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись – тот для нас уже пропащий. Но – где-то повыше нас думали. И вот придется нам возиться. Поэтому и прошу тебя – помочь нам. Давай уж вместе как-нибудь...

– Как я понимаю, – сказал Донской, сочтя уместным сделать шаг к оставленной позиции, – одних ваших сил недостаточно?

Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением.

– Ну, не справимся без тебя. Это хочешь услышать? Молодец, майор, научился цену набивать.

Донской обошел эту похвалу, не подобрав ее.

– Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш СМЕРШ или что-то другое?

– Одного СМЕРШа тебе мало?

– Я только уточняю.

– А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес – дорожка назад труднее.

Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха – от возникающих перспектив.

– Бутылка вскрыта, – сказал он игриво, – надо пить вино.



– Это пожалста, – сказал Светлооков добродушно. – Хозяин – барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Не скажу – Верховный, но близко к этому. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. – И тут же быстро нахмурился. – Теперь понимаешь, что разговор у нас – смертельно секретный? Вот про этот лесок – ни одна собака знать не должна. Ни шофер Фотия, ни ординарец чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.

Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой – от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку, и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не обозлив Светлоокова отквозом.

Он кашлянул и сказал пересыхающим ртом:

– Понимаю, всё сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.

Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.

– Знаю. Тебя не надо. Всё торопишься, майор... Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего – съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу начертит, после зачеркнет – ты тоже начерти и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши – есть?

– Попрошу в штабе.

– Вот это не надо. Эх, ты, стратег... На, держи. Всё понял? Встречаться со мной, звонить – не надо. В столовой – не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека – для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной связь иметь. Потому что тут всё важно, мелочей в нашем деле нет. Вопрос-то – психологический.

Пряча карту – торопливыми и неловкими движениями, Донской неуклюже пошутил:

– Теперь буду знать – как становятся агентами.

Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застегивает сумку, сказал сухо:

– Успокойся, ты еще не агент. До этого много воды утечет.

– И только тогда, – спросил Донской в том же игривом тоне, – последует награда?

Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прут в кусты.

– Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретного я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим – это когда с нами торгуются.

Было похоже, как если б смазали небрежно по лицу – вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.

Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменявшееся лицо, с простодушно вылупленными глазами.

– Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть, выслушай. Значит, такой сюжет – всю ночь я с бабой барахтаюсь. Не то, что она мне не уступает, а – вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И, значит, только-только я позицией овладеваю, еще не овладел, но к первой линии определенно пробился, все заграждения преодолел – и надо же! Оказывается – не баба это, а мужик! Что за плешь?

Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумленные глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то болезненное, зверино тоскливое.

– Не объяснишь мне? – спросил Светлооков печально. – К чему бы это, а?

Донской выпрямился, принял надменный вид и ответил брезгливо:

– Н-нет...

– Жалко! – Светлооков еще подержался за его португалею, поцокал языком и вздохнул. – Ну, тогда – разойдемся. Счастливо! И кто ж мне это всё объяснит?

Говорилось ли это всерьез или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только еще усилилось. «Чёрт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» – рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтоб смутить его, дать почувствовать, что он опутан – мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.

Еще об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой – о том, как впервые после той встречи в леске он вошел к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребенка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в черной кожанке, наброшенной на белую рубашку, и, глядя на него со спины, глядя на его напряженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчетливо ощутил странное свое превосходство над ним – превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? – и кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний лейтенант. Да ведь он имел доступ, он знакомился с делом, он проник в подноготную, и вот в чем была его власть. Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице – как ни гадко читать чужие письма, сколько бы это ни осуждала мораль. И то, что было зазорным в прошлом веке, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше...

Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздернул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую синюю стрелу – так резко, что сломал карандаш.

– Ах, ты... – он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик. – Ножичка нет – очинить?

Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный карандаш – и помертвел, встретив удивленный, поверх очков, взгляд генерала.

– Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!

То была мелочь, о которой генерал тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.

Впрочем, он по ней прошел не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на нее не позволял. И Донскому пришлось испытать чувство унижительное, когда Светлооков, против их договоренности, вдруг сам подошел к нему в столовой – только, впрочем, спросить вполголоса:

– Насчет Мырятина – есть решение?

– Нет, – быстро ответил Донской, косясь по сторонам.

Но людей из штаба в столовой не было. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, «отоваривали» свои аттестаты, шумно и придиричиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.

– Так я и думал, – Светлооков кивнул удовлетворенно и даже с каким-то торжеством. – А чем он вообще занимается?

– Читает Вольтера.

– Что-о? – у Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.

– Я не шучу – Вольтера.

– Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, – он кивнул в сторону корреспондентов, – непременно вставят в свою писанину. А мне – чего-нибудь посущественней. Если будет. Хотя – навряд ли...

Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нем, в Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках Ставки всё-таки имели какое-то основание?

...А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, – к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к теплой постели с чистыми простынями, а перед тем, чёрт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся всё-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти дни всё равно пойдут на пользу – рыжая Галочка из поарма\*, которая всё еще колеблется, непременно спросит, как он провел их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать...» А когда она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомленно: «Москва – живет»!

Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчетами на новое назначение, но обращался он всё же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он еще вернется. «Со щитом, – прибавлял он, – непременно со щитом».

Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»

---

\* Политотдел армии.

Естественно, я знаю свою мать сколько помню себя. Но когда мы начинаем думать о своей матери, мы думаем о ней не только как о матери, а как о том, о чем память сопровождает тебя всю жизнь.

Свойство памяти – забывать то, что можно забыть. Но что бы со мной ни происходило, я черпаю свои силы в памяти о маме – маленькой, доброй и абсолютно аполитичной. Сейчас я задумываюсь, можно ли обладать силой пережить все, что выпало на ее долю. Быть сионисткой и космополиткой, быть вейсманистом-морганистом и женой белого офицера, быть подругой Заболоцкого и моей матерью (со всеми вытекающими отсюда последствиями) и сохранить жизненность, стойкость и мужество.

Но главное – в ней сохранилось то, что уже совсем забыто – аристократические понятия доброты и времени. Она просто как-ким-то странным образом чувствовала себя ответственной за все.

Не мне оценивать качество ее поэзии. Но оценить качество ее жизни – мое право.

*Эрнст Неизвестный*

\* \* \*

Родиться вновь. Но в облике растенья.  
Шуршать листвой зеленой неспеша...  
К обещанным садам отдохновенья  
Стремится утомленная душа.  
Но я ее беру за подбородок  
И тычу носом в грязь и суету,  
Клянущую ее бесплодную породу,  
Бесплотную и хлипкую мечту,  
Усаживаю в жесткие вагоны...  
Не хнычь, не хнычь! Пощады не моли!  
Сквозь сотни полустанков и перронов  
Везу ее на самый край земли.  
Не смей дремать! Открой глаза пошире...  
Об отдыхе утраченном не плачь,

Вот, великаны ноги растопыря,  
Летят столбы электропередач.  
Лети и ты. Туда, где света мало.  
Пусть над тобой свершится страшный суд.  
Лети туда, где солнце отсияло,  
Где, может быть, его уже не ждут.  
Не опасаясь Божеского гнева,  
Махни ему насмешливым крылом.  
Из рая так ушли Адам и Ева,  
Блаженству предпочтя земной содом.

#### ЛИРИЧЕСКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

*(к поэме «Януш Корчак»)*

#### 1

Я не росла в глухих кварталах гетто.  
Мне дым его печальный не знаком.  
И если честно говорить об этом,  
Был не еврейским мой отцовский дом.

Не помню я ни песен синагоги,  
Ни запаха пасхального вина,  
Ни судных дней, когда взывают к Богу,  
Шепча таинственные имена.

Другие незабвенные картины  
Еще теснятся в памяти живой.  
Кедровых шишек полные корзины  
Так ароматно пахли в кладовой.

Отец входил веселый и усатый,  
Меня в салазках кованых катал,  
А рядом был заснеженный, горбатый,  
Озерный и задумчивый Урал.

И синь, и даль, и сосны в окнах узких,  
Цветастый кашемировый платок, –  
Все было светлым, северным и русским,  
Как окающий нянин говорок.

2

Но где-то рядом, на пороге детства,  
Похрустывает тонкая маца,  
И древней крови смутное наследство  
Еще живет в моих чертах лица.

И голос крови мой покой смущает...  
Он жив еще и говорит во мне.  
Вот так звезда: погибнет в вышине,  
А свет еще на землю посылает.

И в дни, когда, как встарь, на перепутьи  
Народ мой вновь поруганный стоит,  
Я вновь еврейка, всей своею сутью,  
Всей силой незаслуженных обид,

Всей болью за погибших ребятишек,  
Всей материнской страстью естества.  
Да, я еврейка. Пусть же каждый слышит  
Наполненные горечью слова.

\* \*  
\*

Я всю ночь не спала.  
Вглядывалась в прошлое.  
Отбивалась от зла,  
Отметала пошлое.



И за черной рекой  
Берегами низкими  
Я – на вечный покой –  
Провожала близких.

\*            \*  
                 \*

День от дня всё сúше мой язык.  
И звуков гордых в горле не осталось.  
В движениях замедленных сквозит  
Суровость. Одиночество. Усталость.

#### ТИШИНА

*(Из «Стихов о сыне»)*

Это было в первый день войны.  
Ты стоял спокойно у стены.

Ты курил, и синеватый дым  
Поднимался облаком густым.

Вот и всё. А после – ты ушел.  
Солнце освещало желтый пол,  
Сероватый пепел на полу  
И окурок, брошенный в углу.

Так пришла ко мне в тот день война.  
И была такая тишина,  
Будто в мире ничего и нет,  
Только твой задумчивый портрет

В солнечных квадратах. А над ним  
Горьковатый папиросный дым.

Вот и все. А после по утрам  
Выметала чисто по углам.  
Всё казалось, что не на виду  
Где-нибудь окурок твой найду.

Белла ДИЖУР. Начала печататься в 1936 году. Автор стихотворных сборников «Раздумья» и «Улей». Написала она также и несколько научно-популярных сборников для детей: «Зеленая лаборатория», «Путешественники-невидимки», «Волокнистый камень», «Стеклянная река», «Чудесные превращения», «Фонарь земли». В 1961 году вышла из печати ее большая поэма «Януш Корчак», переведенная на несколько иностранных языков. В настоящее время живет в Свердловске.

## КНИГА ДЕРЗАНИЯ

ОТ БИОГРАФА

Внучатый племянник сталинского соратника Лаврентия Бери и внук виднейшего сибирского прелюбодea Григория Распутина, обласқанной последней русской царицей и таким образом расшатавшего трон, автор публикуемых воспоминаний Палисандр Дальберг (XX – XXI вв.) прошел по-наполеоновски славный путь от простого кремлевского сироты и ключника в Доме Массажa Правительства до главы государства и командора главенствующего ордена. Семь столетий, отделяющие нас от кончины мемуариста, не умалили ни исторического значения его огромной фигуры, ни идейно-художественных достоинств его фундаментальных трудов. Сегодня они предстают перед нами в ряду наиболее непреходящих духовных ценностей так называемой Переходной эпохи. И нет среди палисандровых книг ни одной, что не была бы нам как-то особенно дорога; но эта – дорога бесконечно. Отдавшись на волю исповедальной горячке, Дальберг с первой до последней строки творит исступленно, не останавливая бега пера ни перед какими условностями. Дотошно воссозданные им фрагменты интимной жизни правящей олигархии, в частности, этюды о совращении именитых кремлевских жен, описания самоубийств, покушений, казней, заметки о путешествиях, детских проказах и старческой проституции – да и все остальные страницы воспоминаний читаются безотлагательно.

год 2757

*Биограф*


---

В «Книге Дерзания» Палисандр Дальберг вспоминает о летах своей жизни и деятельности в Новодевичьем монастыре, куда он был сослан по решению своего Опекунского Совета и РКК (Родительского Комитета Кремля) за участие в непредумышленном убийстве И. В. Сталина. – С. С.

Меня встречают уснувшие до тепла фонтаны, пруды – их каскады с катающимися на них грациозками. Меня встречают какие-то вековые деревья со скачущими по ветвям небольшими животными. И встречают киоски, решотки; встречает осунувшийся, по-пушкински ноздреватый снег. Встречают и статуи, на зиму предупредительно замурованные в гробоподобные ящики. Меня, наконец, приветствуют и кое-какие служащие. Почтительно избавляют от багажа и ведут непосредственно в трапезную.

«На обед подавали рябчиков», констатирую я в своем неукоснительном дневнике в тот же вечер. «Столики были сервированы на двоих».

Испросив позволения и не получив ни его, ни отказа, подсаживаюсь к незнакомой даме. Витая еще в путевой прострации, вид ее показался знакомым. «Я только что видел ее в среде конькобежек», думаю я. И сказал ей:

«Пленительная погодка, миледи. Типичная оттепель. Вы заметили, как помутился и матов каток? Мне неймется его уподобить старинному зеркалу, у которого потрескалась амальгама. А вам? Между прочим, у нас в Кремле тоже есть ледяные пространства. Там, видите ли, заливают аллеи. Несешься, знаете ли, скользишь».

Вся в чем-то вечернем и чёрном, в чадре и темных очках, незнакомка не отвечала, и мне не оставалось иного, как самому поддержать незаладившуюся беседу.

«Я в зимних забавах, конечно, не дока, не спец, но, по-моему, вы катаетесь на заглядение плавно. Просто что-то особенное. В вас бездна пластики, бездна. Вы настоящая виртуозка». Этсетера.

Как видите, тон беседы был *bon*, т. е. исключительно светск. Отобедав, моя незнакомка знакомого вида откинулась на спинку жесткого чёрного кресла и плавно отъехала в нем, манипулируя какими-то рычага-

ми. Тогда, окликнув лоснящегося метрдотеля, которого звали З., автор строк надавал молодцу казначейских билетов и живо поинтересовался: «Скажите, любезный, а та миловидная старушенция, с которой мы так славно потараторили только что, она вообще разговаривает?»

«Обычно без умолку», отвечал мне распорядитель. «Впрочем, вот уже несколько лет, как – ни слова».

«То бишь – решительно ни гу-гу?»

«Совершенно».

«А что так?»

«Мадам настоятельница блюдет пост молчания».

«На какой же предмет?»

«Сожалеет о невозвратном. Сказать по чести, она состояла в супругах персидского головореза Хомейни. Слышали про такого?»

«Так, краем уха».

«Теперь старикан пошел в гору, разбогател, а прежде был заурядным муллой безо всяких перспектив. Жен своих содержал в беспорядке, впроголодь. Говорят, у него в серале не было даже водопровода».

«А ванна? Чем же они ее наполняли?»

«Ванны не было тоже».

«Какое несчастье!»

«А за нуждою», рассказывал З. доверительно, «ходили в канаву и вместо туалетной бумаги употребляли обычные придорожные камни».

«Зачем же не подорожник?»

«Использование широколиственных трав в Персии карается по Корану», ответил распорядитель. «Короче, рутина гаремной жизни тяготила мадам, до замужества жившую как у Аллаха за пазухой. Шутка ли: дочь Мехмеда Шестого!»

«Вахидеддина?»

«Да-да, султана Оттоманской империи. Добрейший, рассказывают, был папаша, ничего для детей не жалел. И как-то, гостя у него в Трабзоне, она говорит ему: папа, можно я покатаюсь на лодке? Ну, разумеется».

покатайся, сказал Мехмед. Тогда она села в шлюпку и уплыла».

«Далеко ли?»

«В Россию. Точнее, в Аджарию».

«Понтом?»

«С вашего разрешения, Эвксинским. С ней плыл один знаменитый пройдоха – поэт, который, в сущности, и вовлек ее в авантюру».

«Турок?»

«М-м, младотурок», ответил метрдотель, знавший цену определенности. «Напосвящал ей стихов, обещал жениться, уговорил бежать, а по прибытии, если не ошибаюсь, в Батум, пошел да и утопился».

«Каков мерзавец!» рассерженно я сказал.

«Еще и каков: бросить женщину с малолетним мальчиком на руках. Она ведь бежала с сыном айятолы».

«С сыном? А что с ним случилось?»

«Сначала вырос, потом состарился», молвил метрдотель.

«О, за старостью дело не станет, время стремится искрометно», посетовал автор строк. «И где же сей подвизается?»

«Неподалеку. Да вы его, верно, знаете, Ваше Сиротство, у него синекура на здешнем кладбище».

«Кербабаев?»

«Он самый».

Ах, мне ли было не знать Берды Кербабаева! Типичный персидский турок, он числился в офицерах того разряда, за коим упрочилось brave имя запаса, и, будучи в нем капитаном-наставником, часто нашивал не сапоги он, но валенки.

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность – в себе ли, в завтрашнем дне, в преданности ли своим идеалам – кто знает их, этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуве-

ренность, что совершенно естественно и похвально. Наличествует, наконец, и третья категория публики. В жестах ее – даже если она по-бернардовски драматична – не сквозит ничего.

Капитан от складирования Кербабаев Берды Кербабаевич не вписывался ни в единую из перечисленных категорий, поскольку жестов за ним никаких не числилось и замечено не было. Он не употреблял их. Поэтому иногда казалось, что органами жестикуляции он попросту не владеет. Так те из нас, кто не использует бранных, или, как их еще называют, крылатых слов, способны произвести впечатление, будто их и не знают. Ведя себя таким образом, т. е. таким, что руки его постоянно висели – но не безвольно, как плети, однако и не по-солдафонски, навтытяжку, а спокойно и просто висели – Берды представал перед Вами фигурой безыскусственной простоты, очевидности, был воплощенная ясность. Впрочем, не родился еще тот вышестоящий по званию командир, который отважился бы упрекнуть его в неотдании чести: прямота и спокойствие, с какими складеец держался перед любым начальством, не только делала Кербабаеву честь, но и не допускала никаких нареканий. Она же, разумеется, и подкупала. Все перечисленное обеспечило ему репутацию блестящего отставника и наставника, и привычка к валяной обуви не мешала ему в неслужебный ядреный денек блеснуть перламутром штиблета, брильянтом запонки, александритом галстучной скрепки, что, разумеется, не могло не питать завистливых сплетен, будто бы капитан нечист на руку и, сторожа от других, обирает захоронения сам. «Так ли это?» бестактно спрашивали его иногда подвыпившие охотники, соизволяя шутить. Щеголеват, молодеват и подтянут, капитан им в ответ лишь насмешливо ухмылялся, и рот его, искаженный в детстве аджарскими компрачикосами, горел золотыми коронками, как монастырь – куполами.

«А мадам? как слагались ее обстоятельства? И если уж мы разговорились о ней, то как ее имя?»

«Мадам Шагане Хомейни. Хотя большинство клиентуры зовет ее просто Джуна. В последние годы она служила по заграницам – от Чили до Индонезии, в лучших домах нашего типа. Огромный опыт. Так что по возвращении в Эмск ее сразу направили к нам и произвели в настоятельницы».

«Строга?»

«Мегера», признался метрдотель.

Мысленно потирая руки, П. загадочно улыбнулся: из дамских характеров ему наиболее импонировали злые и вздорные. «А что это за спицеблещущая колесница? У мадам, вероятно, проблемы с ногами?»

«Навряд ли», сказал мне З. «Их ведь нету».

«С чего бы это?»

«С рожденья».

В тот же день прохожу инструктаж у завхоза, расписываюсь в амбарной книге в получении ключей и за полночь, весь проникшись сочувствием к настоятельнице и в нарушение всех правил, благоупотребляю один из. Вращаясь, окладистая бородка ключа коснулась нижней кромки сувальды, штифт вошел в ее выемку, пружина ослабла и ригель послушно откатился в резерв. Дверь не скрипнула. Я вошел.

Шагане почивала под балдахинном. У изголовья ложа горел ночник, выхватывая из сумрака изысканно скупую сервировку прикроватного табурета: мелковатый фужер и заметно початый графин благородного саке; в нем, польщенная моей убедительной просьбой, кухарка мадам с вечера растворила немного снотворного. Лицо настоятельницы покрывала чадра. Как, должно быть, прекрасно оно в закоснелой своей порочности, подумалось мне, как неурядицы ремесла, вероятно, сказались в нем, если даже впадая в объятия Морфея, она продолжает скрывать. Испорченное воображение зашло в ознобе. В минуту мое альтер эго



окрепло, взошло, и не прибегая к услугам рук, которые были скрещены на груди, я со стоном осеменил себе изнанку исподнего.

Шагане застонала. Ей снилось, будто какой-то прекрасный юноша – неискушенный, почти нецелованный – изнеживает ей межножье. Всмотревшись, я трепетно узнаю в нем себя и снимаю с лица ее сетчатую вуаль. Предо мною возник испещренный краплениями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы – заблудшей дочери истамбульского истэблишмента.

Она разметалась. И если Вам посчастливилось созерцать хоть студенческий слепок начинающего Пигмалиона, изваянный с антикварной калеки из Мелоса, и если при виде физических недостатков богини дыхание Вам перехватывал спазм эстетической горечи, тогда Вы поймете, что мне открылось и довелось пережить. Жалость прилила ко всем членам моим, как хмель – и тут же перебродила в вино филантропии, гуманизма, в неутишимое искушенье принять участие – в ней, потасканной страстотерпице – во всех ее сквернах, пороках, падениях и греховных исканиях. Мне захотелось пройти с нею вместе весь пройденный ею предосудительный путь, исследить его ретроспективно; опосредовано – методом искупительного самоуничужения – отведасть лишений замужества и внебрачных мытарств, проникнуться болью ее подневольных оргазмов, цинизмом интернациональных оргий – и только потом уж дать волю мятущимся чувствам, накипевшим слезам – раскаться и расплакаться: за нее, за себя, за нас взятых вкупе – нас, без устали, разными способами погубляющих себе души.

Осторожно я приподнял ее, подложил ей под поясницу подушку, взошел на ложе и скромно, как для молитвы, встал пред женщиной на колени. Не решаясь прильнуть к ненаглядному телу, я дерзко, но сострадательно, словно лекарь, предпринял вмешательство во внутренние ее дела.

О беглянка! Войдя моим сызнова восхищенным блудом в изнывающее в грезах лоно твое, – я вошел в эти грезы – наполнил их своим существенным содержанием – упруго овеществил – стал естественным и полнокровным их содержанием.

Очи турчанки взволнованно заметались под веками, линии лба и щек исполнились как бы сладкой иронии, но Морфей не выпускал ее из объятий своих, и Эрос бесстыдно зазыбил несчастную в люльке желания. Когда же сомнамбулическое блудодействие постигла высокая кульминация, и все существо Шагане потрясла малярия катарсиса, она очнулась; однако видение продолжалось и наяву: ею пользовались. Сон оказался на редкость в руку. Настоятельница было невыразимо приятно и стыдно вместе. Хотелось кричать. Но – о чем? От чего именно? Она терялась в догадках.

«Простите, я вижу, вы смущены», начал П., в свой черед приближаясь к заветной развязке. «Признаться, я тоже в смятении. Мне мнится, я давеча вас огорчил. Только я не выдумывал: там действительно кто-то катался, а я – я дальтоник, я – дальнорук, и весь мир – вся подлунная с точки зренья меня – или, если хотите, по мне – есть пестроватое крошево. Вся вселенная аляповато расплывчата. Фигуры заскакивают одна за одну – заползают, и где же – откуда мне было знать – согласитесь. Касательно, то есть, вашего *incapacité* – откуда? Мне, свежеприбывшему новобранцу. Сослали, сослали в ваше распоряжение, в ключники, а сами не предупредили, не упредили. И вот – выхожу кругом виноват. Захожу принести извиненья – загладить – вы дремлете – раскидались – вся как-то ни в чем – и я мыслил просто поправить – не ситуацию, так хоть одеяло, подушку – хотя бы погладить – нет-нет, не кричите – теперь уже поздно – уж за полночь – ваши уста скреплены обетом – и вот – не взыщите – такая оказия – я на грани – на грани прекрасного!» – задохнулся П. в пароксизме раскаяния и прильнул к ее туловищу всем своим. И зизи его запуль-

сировало, орошая ее развращенное чрево, которое всепрощительно конвульсировало в ответном порыве.

Ночь прилась нам не в пору – была коротка. Коротка, как ночная сорочка для легкого поведения. И когда темнота начала кончатся, я продлил ее, плотно зашторив бойницу кельи, имевшую непристойную форму овала.

Мы познавали друг друга, не зная устали. Мы были решительно разные, но это-то и сблизало нас – огромного русского отрока и небольшую пожившую женщину оттоманского происхождения. Ей нравилось во мне все: и голос, и внешний вид, и переизбыток страсти, и расцветка моего пижамо, и величина моего альтер эго, которое в продолжение всего визита практически не оставляло предмет восхищения своими заботами. Да и я отмечал в ней немало приятного: пожилой, нездоровый багрянец щек, крючковатый костистый нос, полноватый живот и линялый, местами повитертый, ворс лобка, и вислые, очень длинные груди с пупырчатыми наперстками волосатых сосцов: ими я упивался, как тибрские братья. Выше всяких похвал оказалось и лоно, которое то и знай доводил я до бешенства, и в котором было вольготно, как ни в одном из ему предшествовавших: в тех мой блуд находил себя постоянно в стесненных, а то и в душивших его обстоятельствах.

Иногда, забывшись, ладони мои соскальзывали с жилистых ягодиц ее и, не уловив естественного их продолжения в виде бедер, растерянно повисали в пространстве. Однако воображение дорисовывало, восполняло недостающее, а если не восполняло, то культияпки и сами настраивали на нужный лад, стимулируя к новым исследованиям. Не отставала и Ш. Мы оба были настойчивы, бескомпромиссны и беспощадны друг к другу, словно маньяки, купнодушно ищущие философский камень. И наши совместные поиски сблизали нас и сблизали: мы обретали друг друга. И упиваясь горячечным бредом соития, я причащался грехов ее, становясь

человечнее, проще, а значит – прелестнее. А Ш., вкушая моей относительной непорочности и юной любовной влаги, прочувствовала, осознавала глубины своих минувших падений и – очищалась, раскаиваясь.

«Мы родились, чтобы встретиться, и встретились, чтобы переродиться», горит моя дневниковая запись от марта девятого дня.

О, как целительна была наша связь, как искупительно и отрадно было это взаимное унижение. И на исходе следующей ночи и сил мы не могли больше сдерживать слез и детьми разрыдались в какой-то сквозной истерике: пытка счастьем казалась невыносимой.

Так, сударь мой, вспыхнуло – полыхнуло – хлынуло первое настоящее чувство дерзающего лица. И точно так же началась его служба в качестве рядового ключника на каторге эротических буйств.

Должность ключника, насколько я ее понимал, считалась почетной, однако в Ваши обязанности что-то, все же, входило. Во-первых, Вы были обязаны быть им, считаться, числиться, что уж само по себе докучало; а во-вторых, знать и помнить об этой обязанности, для чего и носили на шее монисто из ключевых болванок, перебирая их, будто четки. Вдобавок Вы записались на монастырские курсы ирландской чечетки и много практиковались в уединении. Причиндалами Пана – призывно! – брэнчало Ваше монисто и клацали Ваши голландские клаги – то тут, то там – по зацветающим закоулкам подворья. Вы звали – и она приезжала. Спицы ее выездного кресла, отлично подтянутые мастером на все руки отцом-привратником Никоном, воспаленно сверкали, и им навстречу сияли ролики моего самоката, искусно смазанные тем же Никоном. И реяли полы халата.

Съехавшись, мы немного катались по парку, нимало не прячась от монастырской челяди и гостей, ибо состояние персонального счастья, любезнейший, есть в

первую голову состояние обостренного безразличия к посторонним – со всеми их кривотолками. Случалось, не вытерпев ждать до сумерек\*, мы убывали в заброшенный сектор сада, где к нашим услугам висел читальный гамак. Мы читали в те дни «Кармасутру», староиндийский самоучитель фривольных утех под редакцией знаменитого сексопатолога Эриха Фромма, эсквайра. Девятитомное руководство пестрело сотнями репродукций с картин замечательных колористов Востока. События, запечатленные на полотнах, восходили, по-видимому, к раннему матриархату и носили, что называется, групповой характер, имея место на всевозможных качелях, батутах и в гамаках. Число участников ограничивалось только рамками иллюстраций: они буквально клубились телами, но каждый был очевидно при деле – кто непосредственно, кто – в порядке обслуживания: подавали напитки, помахивали опахалами, покачивали качели. Но чем бы и как бы ни занимались любвеобильные древние, Вас всегда остраивало выражение изображенных лиц – их спокойствие, созерцательность, кротость, их какие-то непричастные, благостные улыбки. Улыбки Будд. Отдавая дань мастерству, явленному в сих забавных буколиках, позволим себе осмыслить, что уже и античные живописцы не всегда, к сожалению, следовали этнографической правде жизни. Ибо таких малоэмоциональных улыбок в такие интригующие моменты действительности не удастся приметить нигде – пусть и на самом дальнем Востоке. И тем не менее «Кармасутра» доставила нам немало приятных и небесполезных часов. Конечно, мы не могли выполнять всех ее предписаний дотошно. Положим, в нашем распоряжении был гамак, но ведь не было никаких сообщников:

---

\* По доброй традиции, которую мы почти никогда не смели нарушить, сотрудники заведения могли находиться в женских (Мариинских и Лопухинских), а сотрудницы – в мужских (Годуновских) палатах лишь от захода солнца до полудня.

целомудренны, мы довольствовались лишь друг другом. Но сколь по-настоящему, полнокровно довольствовались! И мимика наша – поверьте, мы специально сравнивали – не шла ни в какое сравнение с мимикой буддийских эротоманов. Наша была бесконечно естественней и щедрей.

Но лето кончалось: на кладбище зааукали первые грибки.

Размышляя о русской осени, заключаешь, что та не балует человека ничем, кроме вызревших кое-как плодов, и полна отвратительной слякоти и печали. Осень негуманно ставит Вас перед фактом своих проливных дождей, продувных норд-остов. У многих обложено нёбо, но небо – у всех. И хотя в бесхозяйственных наших широтах батуты и гамаки качаются меж березами и в декабрьский градобой, и мартовским буреломом, лично Ваш качальный сезон завершается в августе месяце. В сентябре же, когда безответное детство и отрочество гуртом загоняется в душегубки гимназий и бурс, а птицы шеренгами летят на курорт, Вы начинаете пользоваться гостеприимством некоторых разоренных склепов.

Бывало, я извлекал Шагане из коляски, усаживал на пустующий пьедестал и скорбно, в ритме «Аве Марии», делил с ней два-три безумья подряд. А потом, приведя себя в прежний вид, мы снова катались. Неуют этих поистине нежилых помещений, подернутых мхом, как мехом, и слизью, как слизью – снаружи и изнутри, не претил нам. Точнее, мы просто не замечали его, третиروвали невниманьем. И тот, кому хоть единожды на веку посчастливилось пережить бесшабашное уличное приключение, а лучше – целый бездомный роман, тот поймет, почему. Поймет, ностальгически улыбнется и скажет: «Горение и чистоплюйство – несовместимы». К несчастью, пьедесталы нередко случаются не под стать – главным образом раздражительно высоки, даже мне – и тем самым напоминают знакомые всем подоконники на-

ших парадных подъездов, а сей ущерб интерьера игнорировать не приходится: приходится применяться. Поэтому тот, кто догадывается, чего мне стоили те тактические победы над вертикалями, как болели потом оскорбленные мускулы и зизи, и как по-настоящему никогда не выветрится из цепкой обонятельной памяти запах тех нечистот, что кучами оставляют после себя осквернители склепов во всех странах мира, – тот пусть вместе с нами воскликнет: «Да здравствуют зимы, что озонируют воздух, а также возводят Вас, представителя нашей дерзающей молодежи, на котурны коньков!»

И зима наступает.

Утро. На первом, за ночь выпавшем снеге появляются анонимные прокламации, суть которых сводится к самой из них незатейливой: «П. плюс Ш. равняется Л.»

В ответ поступаем не менее математически: ноль внимания. Правда, пролистывая сейчас свои новодевичьи записи, я улавливаю намеки на то, что меня в глубине души нет-нет да коробили, задевали проделки сплетников. В дневниковой заметке от третьего января, лаконичной и хлесткой, читаем: «Ничтожество!» А от четвертого: «Любопытствующее человечество напоминает нам тараканов, питающихся грязной чужого несвежего белья, и с какою-то прямо брезгливостью ежедневно осознаешь, что и сам ты имеешь обличие гомо. И коснувшись себя – так и хочется кинуться в омут спасительного всеочищающего плескалица. Да, собственно, и кидаешься».

А не плачевно ли, к слову сказать, что все старания Брикабракова-опылителя не увенчались успехами? Годами пульверизировал он кремлевские покои и туалеты, но мухи все продолжали жужжать, комары – нудели, клопы – покусывали, а когда, преисполнены мизантропических настроений, Вы устремлялись к пока еще не наполненной ванне, чтобы наполнить ее, то обнаруживали в ней безобразнейших «пруссаков». И Вас на-

чинало не то что подташнивать, а форменным образом рвать.

«Прямо в ванну?» слышу я голос дотошного летописца.

Увы, дружище, увы. И пусть лекарь Припарко Аркадий Маркелович в своих «Рассуждениях Крепостного Врача», опубликованных в латиноязычном журнале «Аурора Бореалис», настаивает, будто ранние *мокроты*\* мои выделялись на почве глистов, оставим сие безответственное утверждение на совести тех, кто присвоил ему ученую степень. Мальтузианское омерзение к насекомости человечества и к себе, его неотъемлемой части, – вот действительная причина всех наших обратных утренних перистальтик.

Меж тем отношения Ш. и П. развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует их притязания единственно для того, чтобы с пущим эффектом вступить в связь впоследствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что, игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно отдавшись на первом же, если так можно выразиться, randevу, Ш. по прошествии кое-какого времени стала, словно бы, сожалеть о соделанном. В один из последующих февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним – поначалу лишь взглядом, а после и личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действующие лица – все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег сыпал типичной известкой,

---

\* Читай, разумеется, – рвоты.



следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весной Ш. так охладела, что относительно гамака не могло быть и речи.

Недоумевая, П. жаждет выяснить отношения, но и это оказывается проблематичным. По вечерам Ш. у себя не бывает, ночами ключ П. не входит в замочную скважину настоятельницы, т. к. та, запершись изнутри на свой, оставляет его в замке до рассвета, а на рассвете ее навещает пить чай заведующая гримборной Ф., типичная молодящаяся пожилуха. Подобных ей дам Вы найдете в домах массажа любого правительства. Все они кажутся высоконравственны, недоступны, все одеваются разнообразно, криливо, пестро, только как бы они ни оделись, Вам чудится, что помимо туфель на них – только розовый пеньюар – пеньюар да и только – подумайте! И разве подобное не выводит из равновесия? не томит? не выбивает Вас из наезженного? не толкает на необдуманные поступки? С целью вызвать у Ш. чувство ревности и тем воскресить былое, П. решается на один из.

Довольно ярким апрельским утром, в день тезоименитства небезызвестного Ленина – уж так почему-то совпало – П. в разгар чаепития является в опочивальню Ш. и на глазах еще сонной хозяйки откидывает Ф. на софу. Он срывает с гримерши опостылевший пеньюар и явочным, как говорится, порядком овладевает ею.

Обе женщины бурно, хоть совершенно по-разному, переживают эту мимолетную связь: Ш. бьется в глухой бессловесной истерике, Ф. – в экстазе. Финал психодрамы классически зауряден: с горящими на мясистых щеках пощечинами незадачливый интриган выставляется вон. Вопреки его ожиданиям случай в келье несколько не послужил к воскрешенью былого. Напротив – при встрече Ш. не подаст провинившемуся ни руки.

П. в отчаянии. Он проклинает тот час, когда впервые вошел в ее грезы, овеществив их. Он желает забыть и ее, и свою к ней привязанность. А напрасно. Когда-

нибудь, оглянувшись, он осознает, что их взаимоотношения достойны отнюдь не забвения, но всяческого о себе напоминания, ибо были прекрасны во всех нюансах. Впрочем, что значит – были? Ведь: «Истинные взаимоотношения», набросает П. на каком-то случайном клочке бумаги, вступая в третье тысячелетие от Рождества Христова, «взаимоотношения в лучшем значении слова не прекращаются и за чертой неизбежности, где, по мнению маловеров, кончаются все – даже лучшие начинанья». И ниже: «Роль, которую в воспитаньи незрелых, горячечных чувств моих довелось сыграть сей благочестивой магометанке, огромна и подобна дрожжам: бросьте их куда следует – и вино забродит». И на обороте того же клочка: «Как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу причаститься шекспировской страсти, – та самая барышня, что с вокзала оболещена артистическим прощельгой – ничтожнейшим щелкопером – смазливым щеголем – свезена в номера и обманута – и в сумятице закулисных оргий отмстительно сыплет гребенками по все новым подушкам – и тратя остатки скромности – и не чураясь самоновейших позиций – лихорадочно плещется в истечениях животворящих влаг – так и я же: обманут – оставлен – задет в возвышенных чувствах: кипел и безумствовал, юношествовал и дерзал!»\*

В последующие недели заядлость, азартное чувство возмездия понемногу меня оставляли. Я остывал, постепенно остепенялся, взрослел. И приходит день, когда П. говорит себе: «Что ты делаешь? Разве так можно? Какая распущенность!» говорит себе П. И набросал в дневнике: «Никакая Ш. не достойна того, чтобы ради нее ублажать ей подобных». И перестал это делать, отдав досуг философским прогулкам, гербарии, акварелям.

---

\* О молодость, ты ли не отболела!

Как портретист П. не жаловал мелкие планы – хотелось монументального, броского. Он возлюбил ниспускаться обрывистыми берегами некоторых водоемов к полоскальным сооружениям и создавать групповые портреты прачек, работающих в самых непритязательных позах. Судьбы простонародья с его эстетикой неэстетичного, с грубоватыми шутками – волновали всемерно. А как пейзажист – разрабатывал темы осени: мотивы сентябрьских шквалов, октябрьской индевелости и ноябрьского первоснежья, характеризующегося изысканной хрупкостью очертаний и черт\*. Что же до философии, то – как и Плутарха, которого он ставил неизмеримо выше Спинозы, Декарта и Делакруа вместе взятых – его будоражат вопросы морали и нравственности в их экзистенциально-эзотерическом ракурсе.

И все-таки мы бы ошиблись, сказав, будто П. за своими искусствами совершенно оставил мыслить о Ш. Нет, он мыслил о ней, но уже не в угаре отчаяния, а в каком-то почти отвлеченном ключе. То есть не на предмет воскрешенья былого, а в духе удовлетворенья почти инфантильного любопытства: дескать, вот бы узнать, отчего она столь охладела. И если причина ее охлаждения – другой, то вот бы и навести о нем справки: как звать, где живет да служит. И, не ограничиваясь полумерами, воздать по всей строгости. Застать их вдвоем, нанести оскорбление действием, словом, а то и смехом.

Кандидатура на должность частного детектива напрашивалась сама собой – Брикабраков. Мотивировка: пронырлив, вечно в карточных весь долгах, принципами не обременен. Отдавшись ходу безвременья, а точнее – току событий, неделями жду у себя в процедурной. Олэ, как назло, не является. Подождав еще, снаряжаюсь, кутаюсь и через все завьюженное подворье гряду в направлении противоположной стены, в казематах ко-

---

\* Смотри Палисандровы залы Пушкинской, Третьяковской, Габсбургской галлерей.

торой гнездится семейное общежитие. Воздымаясь по лестнице, круто я воздымаюсь по ней. В коридорах – свидетельства неизжитого критического реализма; на примусах жарится какая-то дрянь, варится нечто рвотное и, ковыряя в носу, канючат печальные результаты чьих-то зарегистрированных страстей.

Костяшками пальцев стучусь к Брикабраковым. Распахивает опылитель. На нем поддевка. По-русски горяч, импульсивен, П. обнимает его. В комнатах пахнет нестиранными чулками, подштанниками. Интерьер отвратителен.

Палисандр. Ба, да вы, погляжу я, устроились просто отменно!

Брикабраков (польщенно). Ах, бросьте, дражайший. Вы станете что-нибудь пить?

Палисандр. Что ж, плесните, пожалуй.

Брикабраков. Чего вам?

Палисандр. А что у вас есть?

Брикабраков. Только водка.

Палисандр. Ее и плесните.

Брикабраков. Присаживайтесь, раздевайтесь.

Палисандр (присаживаясь и раздеваясь). Благодарю.

Брикабраков приносит стаканы, бутылку и наливают.

Палисандр. Ваше!

Брикабраков. Будем здоровы.

Сотрудники пьют и закусывают.

Палисандр. В последнее время читаю немало научных брошюр и журналов.

Брикабраков. Журналов? Похвально. Однако, к чему это вам?

Палисандр. С интересом слежу за успехами в области истребления человеческих паразитов.

Брикабраков. Успехи? Возможно ль!

Палисандр. Я тоже не верил, но факты – упрямая вещь.

Брикабраков. Приведите.

Палисандр. В далеком Заире ученые установили, что кошка домашняя, если ее подвести под гипноз, легко начинает питаться – представьте себе – тараканами.

Брикабраков. Правда? Прекрасно. Но кошка домашняя никогда не послужит к уничтожению клопов.

Палисандр. Согласен. Домашние кошки, в отличие от большинства их владельцев, весьма чистоплотны. Подробнее об этом находим у мистера Брема в трудах.

Брикабраков. Что же делать?

Палисандр. Бороться, дерзать, не сдаваться. Прискивать неординарных путей.

Брикабраков. Слишком смело.

Палисандр. Но смелость сулит нам удачу. Вот: в упомянутом выше Заире другая группа ученых взяла и воздействовала на группу коричневых тараканов так, что последняя съела решительно всех ей предложенных лабораторных клопов подчистую.

Брикабраков. Простите, а чем же?

Палисандр. Что – чем же: воздействовала или съела?

Брикабраков. Воздействовала.

Палисандр. Иглоукалыванием.

Брикабраков. О-ля-ля!

Палисандр. Усовершенствования африканцев позволят скоро наладить своеобразный круговорот: первые будут уничтожаться вторыми, вторые – третьими. И придет – воссияет на численниках предначертанный день, когда ваших киншасских коллег наградят орденами Подвязки, вам же, друг мой, мизёрный дадут пенсион.

Брикабраков (обиженно). Не понимаю, куда вы клоните. Объяснитесь.

Палисандр. Супруга дома?

Брикабраков. На службе.

Палисандр. Клянитесь, что все сказанное останется между нами.

Брикабраков. Слово курьера.

Достав, П. читает составленные им накануне визита тезисы. Если не вслушиваться специально, то в речи его различишь только те выражения и слова, что в читаемом тексте подчеркнуты чем-то красным. Предметщекотливого свойства. Смущенное чувство пристойности. Увядание нравов. Келейное наведение справок. Застать вдвоем, пристыдить. Так порок оказался наказан, а я – чрезвычайно признателен.

Закончив читать, П. кладет перед графом какой-то пакет.

Брикабраков. Что это?

Палисандр. Здесь несколько незначительных ассигнаций. В счет погашения предстоящей задолженности. По мере сил. Кто знает, как в свете заирских исследований сложатся ваши меркантильные обстоятельства.

Брикабраков. Вздор. Как бы они ни сложились, я с вас не возьму ни заира. Во-первых, мы – люди чести. Затем, ваше дело мне представляется крайне плевым. А в-третьих, я не хочу, чтобы деньги хоть несколько омрачили нам отношения.

Палисандр. Слышу речь бессеребренника.

Сказав так, мой рот исказился в припадке брезгливости, длань протянулась к каминным щипцам, и щипцами и ловко пакет с ассигнациями схвачен и брошен в огонь.

Брикабраков. Вот славный поступок.

Палисандр. Пусть пепел несостоявшихся ассигнований послужит залогом нам предстоящих удач.

Брикабраков. Пусть!

Картинно обнявшись, мы потрясенно – так по последним инструкциям экскурсанты обязаны лицеизреть разгорающийся над Эмском рассвет – смотрели, как пламя доглатывает купюры больших достоинств, и клялись в вечной дружбе. При этом я знал, а Олэ ни на

йоту не сомневался, что отвергнутые им деньги – насквозь фальшивы, подобно всему, что связывало и разъединяло нас всех в ту эпоху, давно отгалдевшую галками наших монастырей, крепостей, рavelинов. Не следует, впрочем, думать, будто я приобрел те кредитки путем махинаций и жульничества, ибо я напечатал их честным трудом.

Покуда всякие зарубежные экономы от Локкарта до Фурье ломали головы, как обеспечить рабочих и служащих по потребностям их, наше правительство, избегая красивых фраз, оборудовало на некоторых предприятиях небольшие фальшивомонетные дворики, где любой привилегированный сотрудник в удобное для себя время мог отпечатать необходимый ему купюрный фонд\*. Фальшивомонетный дворик действовал и у нас в Новодевичьем. Он ютился в полуподвале Смоленского собора, в одном помещении с типографией «Вестника», синодального органа. Пересиливая в себе зачарованность механизмами, я, бывало, орудовал их рычагами всю ночь. Напрасно поиздержавшись в попытке оплатить Брикабравову предстоящие хлопоты, я оказался не при деньгах и спустя, вероятно, месяц после описанной сцены предпринял шаги в направлении типографии.

Стояло так называемое тридцать первое декабря. Небо глядело астрально, да, к счастью, не пристально, и месяц едва народился. В типографии застаю кавардак, типичный для мест секуляризации: всюду что-то валяется. Вижу, в частности, кипы уже сброшюрованных индальгенций – заказ Ватикана. Вижу пачки бразильских крузейрос, египетских фунтов, португальских эскудо и прочий экспорт.

---

\* В ряде торговых организаций и банков такие банкноты не принимали, шепетильничали. Да ведь мало ли где чего не берут. Не плакалась ли мне кремлевская гвардия, что в колониальной лавке напротив не принимается стеклотара.

Переведя стрелку тумблера с тугриков на рубли, я настроил печать достоинств на сотни, вложил бумаги получше и, как всегда, заработался.

В цех вошел Кербабаяев. «Салям, с наступающим», поздравлял он мемуариста.

«Берды! Дружище! Вот радость!» говорил я ему, говоря. «Располагайся, сейчас шампанского велю принести, тут и встретим».

«Магометанам не полагается», отвечал лукавый Берды, обожавший выпить не менее всякого православного сторожа, однако предпочитавший, чтобы его всякий раз уговаривали это сделать.

«Известно, что не положено», уговаривал я. «Да ведь случай-то редкий, да за компанию. Не одному же мне пить. А с другими, поверишь ли, так уж скушно, что лучше и вовсе не праздновать. Один, один ты мне здесь, Кербабаяич, отрада».

К одиннадцати стол в типографии был накрыт. Поминая ушедший год, мы пили за все хорошее. Наверху, в алтаре, дежурный отшельник долдонил псалтырь над некстати почившим отцом-привратником Никоном, которого мы не преминули, естественно, помянуть; а через полуотверстную форточку с уже замурованных мразом прудов, конькобежная доносилась музыка. Нам было покойно, задумчиво, светлопечально, и тон беседы делался поминутно возвышеннее и нездешней.

«Эх, Берды Кербабаяич, голубчик», проникновенно открылся я сторожу. «Знал бы ты, брат, как ценю я твою мамашу».

«Ну и цени себе на здоровье», ответствовал капитан-наставник. «Разве кто не велит?»

«Да видишь, сама же, выходит, и не велит. Не дается, прячется. Третьего дня увидел ее возле трапезной – кинулся, добежал, а она, как развеялась. Нет ее. Нет и нет. А до этого года два, полагаю, не виделись. И, бывает, сижу себе в келье, и разные, знаешь, мысли одолевают. Может, думаю, что худое с ней – захворала,



может, слегла. И брожу иногда в расстройстве – спрашиваю: Шагане, мол, здорова ли. А монахи: не знаем, о ком говоришь, на тебе, говорят, на самом лица нет; ты ступай-ка теперь помолись да приляг, а завтра в соборе чтоб был, а то ни вечер, ни нынче на службу не заявлялся, смотри, как отец Ферапонт бы не осерчал, он и так уже сомневается: может, не стоит-де Палисандра Приблудного в иноки постригать – зело странный на вид, больно взбалмошный, юрод-не юрод, а вроде бы не в себе – мудрит, басурманку какую-то кличет. А я им: пустое глаголете, братие, настоятель ваш, видно, сам не в себе – заговаривается, не его ума дело, кого окликаю да славлю: ему, Ферапонту, насчет меня высочайшее указание есть – я знаю, мне тут стрелец один сказывал: прискакал, говорит, из Кремля опричник на конике взмыленном, от Малюты Скуратова самого депешу привез: Палисандра, мол, как побочного отпрыска благородных кровей, содержать в аккурате, в теле, к работам не принуждать и лелеять примерно, стричь – как сам пожелает, а купается пусть отдельно и вволю. Монахи же: эк, тебя, говорят, сироту, дурь-то мает, знобит аж всего, малохольного, и что за время такое нам выпало: от царя до последнего нищего – все припадошные. Вишь ты – не верят, иноверкой корят да еще насмеваются. А я им: пред Богом, братие, все едины, и нет ему ни своих, ни чужих, и никто никому не указ помимо него, и кого возлюбил я – того и славлю, а не люблю – и не кличу. А? Берды Кербабайч, так ли?»

«Зачем не так», отвечал он мне. «Взять, к примеру, того же коника. Разный он, коник. Тот породой берет, тот резвостью, а иной в масть пошел. Залюбуешься. А – издохли да полежали в бурьяне, растащили коников шакалики – одни только зубы валяются. И какой они все там породы, где масть да резвость – неясно. Всевышний всех уравниал».

«Плачевно, Берды, плачевно. Выходит, что Бог-то – он смерть сама есть?»

«Смерти нет», сказал собеседник.

С надеждой я поглядел на него. Руки сторожа были смуглы, будто обуглены.

«Да полно, неужто нет?»

«Зря болтают. У нас в туретчине старые люди правильно говорят. Мало-мало пожил, мало-мало смотрел – много видел, а смерти не видел: якши\*. А умер, как бы, – совсем не смотрел, совсем ничего не видел: совсем якши». Он говорил не мигая. Он говорил: «Ты ли, я ли, в Аллахе ли, во Христе – возгордились, проштрафились перед Господом, так что даже и смерти нам нет, милоч, – не заслуживаем».

«Дивно, дивно вещаешь!» я возражал. «Вот это я понимаю, вот это по-нашему! Да знаешь ли, Кербабаич, какую ты веру в меня вселил!»

«Наливай», сказал он спокойно.

Я налил, сияя. Часы колокольни заколотили полночь.

«Да здравствует бытие!» прозвучал мой тост.

«Вот именно», подтвердил Кербабаев и выпил, не унижаясь до жестов.

И я восхитился им.

«Едут, едут!» с губами, обветренными, словно у капитана дальнего плавания, вбежал Брикабраков.

Завсегдатаям Новодевичьего кладбища издавна примелькалось непримечательное под черепичной кровлей строение при южном въезде на Новый двор. Сторонне догадываться, чем служило это строение по преимуществу, было бы безуспешно. Сказать напрямик, то была отнюдь не сторожка, хоть сторож и грел там порою свой ревматический круп. То было и не здание администрации, пусть некоторые служащие элементы и копошились в его кулуарах. Вместе с тем то была и не лавочка мелочной похоронной коммерции,

---

\* Хорошо. (Тюрк.)

хоть для отвода глаз Вам сбывали там всякую прискорбную мишуру: искусственные растения, саваны, ленты, венки, лопатки для пепла, балетного типа тапочки и т. п. Правда, все это происходило в дневное время. После захода солнца на кладбище наступал комендантский час, лавочка закрывалась и дом начинал выполнять основную функцию – функцию входа на станцию «Новодевичья» нашей совершенно секретной орденоносной конки. А выход со станции находился на Старом дворе, под сводами реконструированной усыпальницы Александра Третьего, чье загадочное исчезновение до сих пор не дает нам покою. Туда-то, в снаружи невзрачный и какой-то почти что призрачный, но изнутри изукрашенный изразцами киоск, мы втроем и направились.

Впереди, припархивая, семеня Брикабраков. За ним воплощением столбняка фигурировал Кербабаяев. А – с развевающимися на ветру шнурками, шарфом и полами кимоно – я логически заключал процессию. Кимоно было новым и зимним, и зимний, и новый с иголки ниспадал на подворье год. Тропы, которыми мы пробирались, вились. И змеилась, обуживая их, поземка.

Войдя в павильон, мы спустились особой лестницей на платформу и сдержанно поздоровались с некоторыми доезжачими, что уже ожидали там поезда. Позументы их ментиков, козырьки киверов, рельсы конки и фонари излучали золото. Все нервничали и зевали. Шум, который сначала казался лишь разновидностью тишины, – нарастал.

С разухабистым «Хором Охотников» из бессмертного сочинения Шарля Гуно, с лаем псов, с бубенцами, с бренчаньем сбруй, с скрипом ржавых колес, скрипкой Ойстраха, с криками «с новым счастьем!» и с прочими атрибутами новогодней охоты из жерла тоннеля выдвинулись вагонетки. Из них, увешанные амуницией, выходили сенаторы Брежнев и Суслов, Пономарев и Косы-

гин, Шелепин и Мазуров, Подгорный и Георгадзе, гончие и борзые.

С горьковатой ухмылкой ссыльного я ловлю себя вдруг на том, что глазами ищу в толпе приехавших человека, которого явно в ней не хватает, но быть – не может. Пораженный в гражданских правах, он давно уж сюда не ездит, поскольку живет здесь безвыездно, не считая негласных отлучек по банного и более интимного свойства делам. «Узурпаторы», думает он о приехавших. «Притеснители». И гонимый сознанием собственной ущемленности, поворачивается и лишает их своего приятного общества. И опаленно лелея обиду, ревниво вслушиваясь в отголоски кладбищенской заячьей травли, бродит древней стеной и гремит ключевыми болванками. Колокольчатый лай собак отзывался девичьим смехом, дразнящим и вздорным.

В час, в начале второго от застав к торговым рядам потянулись нордические обозы с семгой, икрой, капустой и новыми ломоносовыми. А в третьем, когда закатился Антекатин, рога возвестили отбой, и, делясь впечатлениями, охотники зашагали в трапезную.

Я возвратился в келью. Я тщательно вычистил зубы. Я причесался, прочел «Отче наш» и хотел было кликнуть кого-нибудь из прислуги, чтобы наполнили ванну, как – в который уж в рамках настоящих записок раз – в дверь мою постучали.

«Смелее!» отозвался я Брикабраккову, ибо это опять был он.

«Что поделяваете?» возник Олэ.

«Перехожу в Рубикон плескалица».

«Не торопитесь».

«А что – разве я кому-нибудь еще нужен?»

«Не скромничайте, Палисандр. Вы – всеобщий любимчик. Вас нынче хватились и обыскались. Все правительство хором кричало ау».

«Оставьте, пожалуйста; я постоянно был в парке, но никакого ау не слышал. Вы вновь сочиняете. Я – от-

вержен, сослан, забыт. Лай собак – это все, что я слышал».

«Каких собак? Мы ведь охотились на летучек. И, кстати, опять недурно. Отменный сезон. Право, жаль, что вас не было с нами. Невероятно жирны. Да и в целом весна что требуется: ручьи, букашки. Впрочем, пора уже действовать. Ежели чувство пристойности в вас еще смущено, то имею открыться в прозрении. То, что вы называете увяданием нравов, нынче проявится в вящей мере, и буде угодно вам наказать порок, возможность к тому представится».

Я обулся. При этом впервые за годы и годы я не прибежал к услугам сапожного моего рожка, висевшего на гвозде под притолокой. Минуя сарай, у которого зимами регулярно рубили дрова, мы с Олэ зашли под навес, где они содержались. Брикабраков рассеял ближайший мрак серной спичкой, и я, покопавшись в груди какого-то барахла, извлек один из трех инструментов, на коих имели обыкновение разгораться иные утра. Решительно отрешен, я заткнул рукоять за пояс пижамных брюк и взволнованно запахнул кимоно. Биограф! Доподлинно воссоздавая картину нашего с опылителем похождения, не сочтите за труд описать, как догоревшая спичка – как именно! – выпала из руки его и упала, шипя, на грунт. Срок горения был ничтожен, но тем драгоценнее были его мгновения. Берегите же пламя – свое и чужое: творите убористей. Пусть описание остальных событий той ночи можно будет прочесть при свете единственной, может статься, последней спички. В свете моей аскетической рекомендации разрешите запротоколировать похождение в форме скупого оперного либретто.

Акт первый. Зарницы. Подворье. Из трапезной, окна которой выходят на галерею, освещены и распахнуты, слышится гомон охотничьей тарантеллы. Ее сменяет песня восточного толка в исполнении разбитных

народных певичек Зыкиной и Долухановой. Затем начинается беззастенчивый танец чрева Улановой и Плисецкой, который плясуньи выделывают непосредственно на столе. Маскарад рукоплещет и площадно комментирует стати правительственных куртизанок. Граф Брикабракофф и Палисандр, незримо стоящие на галерее, внимательно наблюдают за костюмированной вакханалией, постепенно переходящей в типичную оргию. Некто, загримированный под Казанову, покидает трапезную. Многозначительным жестом граф побуждает будущего Свидетеля проследовать за ушедшим.

Акт второй. Коридор монастырской гостиницы, нищенски освещенный одною свечей. Оглядываясь, коридором идет «Казанова». Он исчезает за дверью какого-то номера. Из-за портьеры являются Палисандр и граф Брикабракофф. Они останавливаются перед тою же дверью. Граф предлагает Дальбергу наклониться и посмотреть в замочную скважину. Воспитанный в лучших традициях кремлевского ремесленного училища, Палисандр отказывается. Брикабраков цинично хохочет. «Если вы не посмотрите», подстрекает граф, «порок никогда не будет наказан». Снедаем внутренними противоречиями, Палисандр наклоняется.

Акт третий. Номер монастырской гостиницы, видимый Палисандром через замочную скважину: главным образом – койка. На койке навзничь лежит обнаженный уже «Казанова». А некто в обличье римской волчицы Акки, подруги рогатого Фавстула, осуществляет массаж. Постепенно из затемнения пружинисто восстает зизи «Казановы», и лоно «волчицы» приемлет его в себя. Символизируя откровенный упадок нравственности, маска спадает с лица массажистки: юный П. узнает в ней неверную себе Ш. Не в силах будучи оторваться от разыгравшейся в номере сцены, П. ревниво нащупывает похищенный инструмент, желая выломать дверь и сломать лед взаимонепонимания. Но тут. про-

бившись сквозь тучи и тюль, луч все той же луны ложится на затененный прежде лик карнавального «Казановы»: то Местоблюститель Б.

Акт четвертый. Топор выпадает из рук Палисандра.

«Брежнев, Брежнев!» жужжа, громоздилось в моем мозгу имя Местоблюстителя, пока я бездарно бежал коридором злачной гостиницы, оставляя поле несостоявшейся брани. Так вот почему, – запоздало сопоставлял я факты, – вот почему, – не без некоторого мазохизма муссировал я свой вывод, израненно рея среди деревьев, – вот почему, – возвращался я к этой неконструктивной и ничуть не спасительной мысли, утрачивая себя в ином измерении, – вот почему Ш. зачитывалась его мемуарами, – говорил я себе, глядя, как наступает и все никак не наступит утро. А позже, походкою вихухоли мечась по келье, говорил опылителю:

«Преподайте урок. Низложите покровы. Увы, я готов согласиться, что все мы, включая членов правительства, суть лишь люди с их слабостями. И я вынужден допустить, хоть и делаю это, весь как-то внутренне сжавшись, – я допускаю возможность известных увеселений – увеселительных встреч – вечеринок – нескромных настольных канканов. Я даже могу сквозь пальцы зреть беспардонности, творимые нашими служащими в бассейнах и ваннах. Но на которую полку сознания мне списать со счетов тот факт, что семейный деятель государства, один из немногих поистине чтимых мною кремлян, позволяет себе подобное с официальным лицом, с передовой массажисткою Дома. И не где-нибудь, а в его пределах, выказывая тем самым элементарное неуважение к зданию пусть и расформированного, но всё же монастыря: к его памяти, покушаясь на его новодевичью честь. Я знаю, знаю, формально мадам Хомейни считается личной знахаркой Леонида, и все-таки это мало что объясняет и ничего – ничего! – не оправдывает».

Я говорил еще долго. Когда моя речь иссякла, Олэ сказал, что ему неловко, но он полагает своей профессиональной обязанностью поставить меня в известность, что дом, в котором нам с ним посчастливилось сослужить, есть Дом Массажа лишь в некотором, вспомогательном смысле. По сути же это ни что иное, как дом свиданий, где руководство Кремля находит необходимым встречаться не только друг с другом, и не только для обсуждения очередных неотложных мер по внедрению войск в неохваченные еще районы земшара, но встречаться также и с теми, кого мы зовем «прихожанками» и «послушницами» на предмет обладания ими и отдыха в их непринужденном кругу. «Неужели вы не догадывались об этом?» спросил Олэ.

«Не скрою», сказал я ему. «Иногда мне казалось, что я начинаю догадываться. Но я никогда не решался поверить в свою догадку. Вместо этого я мгновенно впал в какое-то помутнение, вставал в позу страуса и надевал моральные шоры. А если случайно видел или слышал нечто дурное, то тотчас старался забыть. Характерно: когда по прибытии моем в монастырь З. – вы знаете метрдоителя З.? конечно, вы знаете всех – когда он меня информировал о предосудительном прошлом Ш., я воспринял слова его как недоброкачественную ресторанную сплетню».

«Что не мешало использовать приобретенную информацию в ходе любовных игр», заметил мне внутренний голос. «Не вы ли питали ею свое прозорливое половое воображение».

«Отстаньте!» внутренне сказал я ему. И продолжал Брикабракову, вслух: «Да-да, у меня невероятно консервативные взгляды на все эти вещи. Хотя, если судить по некоторым из моих экстравагантных поступков, такого не скажешь. Однако поступки со взглядами согласуются разве что у какого-нибудь неандертальского простака наподобье Громыко, нашего горе-министра. А я-то, я-то организован слегка сложней».



«Вы излишне витаєте в облацех», указал опылителъ. «Вам нужно всмотреться в действительность обстоятельней, не чураясь замочных скважин. Подумайте, я ведь тоже не из простого сословия, а куда как приметлив. А вы со своей привилегированной щепетильностью – просто олух Царя Небесного».

Я был до того удивлен и сконфужен брикабраковскими откровениями, что чувство обиды казалось мне неуместным; и я отложил его до следующих времен. В то же ненаступавшее утро, за кофеем, поданным нам раззевавшимся коридорным расстригой в ливрее цвета коровьей жвачки, Олѣ поведал мне историю основания нашего Дома. Блюдя хронологию как зеница око, я изложил эту повесть прежде...

Саша СОКОЛОВ – родился в 1943 году в Оттаве (Канада). С 1947 по 1975 г. жил в СССР. Учился в Военном институте иностранных языков и на факультете журналистики МГУ. Работал в еженедельнике «Литературная Россия», в районных газетах на Кавказе, в Сибири, в Марийской республике, препаратором в морге в Москве, истопником в Тушине, егерем на Верхней Волге. Сейчас обосновался в американском штате Вермонт. В издательстве «Ардис» опубликовал роман «Школа для дураков» (1976) и «Между собакой и волком» (1980). Роман «Палисандрия» выйдет в том же издательстве в ближайшее время.

# СТИХИ

Виктор Е н ю т и н

## ФЛЕЙТЕ

Как легки шаги в упругий воздух,  
Духи флейты пристально детский.  
И мгновенья чувств развесит просто  
Концертино утренней тоски.

Свет рулад, лучи речей стаккато,  
Думы взлета, поцелуй пустот –  
Упоенье влагой пережатной  
Расплетет во вспышки малых нот.

Горе безоглядной легкой данью  
Будет быстро принято судьбой,  
Как гамбит душевного преданья  
И как дар, исчерпанный собой.

Леты флейта – зов полевых гласов.  
Фрески флейты – смех лесных рябин.  
Верой флейты воздух распоясан  
И спугнул сердечный карантин.

январь 1984

## СКРИПКЕ

Немой нетленный натюрморт,  
Где скрипка с фруктами в сочтеньи  
И листьев замерший эскорт  
Поляризован светотенью, –

Ожил звучаньем тленной песни.  
И звук, что рыл, как плоти груз,  
Непрерываемым известьем  
Повел существованья грусть.

Как стелен звук дрожаньем жил.  
Раскатный всхлип души тяжелой,  
И теплоты земной гужи –  
Упорства ритм невеселый.

Души продленность – в схемы тел.  
Душою тело длится в вечность.  
Скрипично-струнный беспредел  
Преодолеет скоротечность.

Так семя – в парашют ствола.  
Так ствол сквозь форум бранных листьев  
Капель из ливней сотворя  
Пошлет земле весть бескорыстья.

Так небо, звуком загустев  
Скрипичным, склонится с землею  
В совместный и грудной напев.  
Так космос нижется собою.

Так птичьих траекторий узел,  
Так троп лесных переплетенье,  
Так скрипкой – мир для мира сужен,  
Так смерть вплетается в рожденье.

Волной, ползком, полетом, твердью –  
То темной плоти светлый стон.  
В тягучесть скрипки тяжесть вверив,  
Со всем собой мы в звук врастем.

январь 1984

Арфа – звук из-под озер,  
Или с дальних гор.  
Арфа – травный звон лугов,  
Отклик облаков

Прикасанию лучей.  
Иль томление плечей  
Утром после дозы сна,  
Как нисходит желтизна.

И в балласте пухлом были  
Арфа – свет, в котором пыли  
Падшесть, в танец возродясь,  
Обретет в полете связь.

Сонной кости арфа звук,  
Омовение суставов,  
Переборы жил – в соку  
Жизни ленности бесславной.

Кости дышащей звук – арфа,  
Из-под тел, холмов, небес,  
Благоденствие угара,  
Что пронизывает вес,

Размывая всё на струи,  
Расплетая всё на нити.  
Арфы тающие струны  
Пустотой и твердью виты.

Арфа – камфора для фурий.  
Арфа – фавнов сон под утро.  
Арфа – нимф фиоритуры.  
Арфы чара – беспробудна.

Арфа – воздуха желе  
Колыхает ритмом теплым.  
Арфой – тихо пожалеть  
Жизни хваткую амёбность.

январь 1984

ЕНЮТИН Виктор – родился в Москве в 1943 г. , эмигрировал из СССР в 1975 и приехал в Америку в 1976. Три года он работал в «Новом журнале» в Нью-Йорке. Публиковал статьи и рассказы в эмигрантской прессе. Он автор двух книг – «Рикошета», сборника стихов и рассказов, и «16-й республики СССР» – исследования о советской эмиграции на Запад. В настоящее время В. Енютин преподает русский язык.

\* \*  
\*

Сквозь поросль дикого винограда  
уж который март без четверти два  
отсчитывают стрелки лабораторий Ботанического Сада.  
По воскресеньям, когда голова

болела, я сюда приходил, ограждая решёткой  
головную боль, и с высоты холма  
подолгу в бинокль рассматривал сотканный  
из дыма и льна

видимый горизонт. На бесконечность кровель  
множа себя запоминал предметы  
улицы, переулки, гортанный профиль  
соборов и все приметы,

вплоть до родинки на ее белом теле,  
могущие послужить целью при будущем артобстреле.

\* \*  
\*

Я пережил три месяца зимы  
и наконец забыл  
изгиб той улицы, за домом дом, и тьмы  
над крышами количество светил.

Теперь спокойно к городу спиной  
я отвернусь у моря,  
движенью памяти большой  
пусть ветер вторя,

ворвавшись с севера к Петру  
в конечность линий,  
сравнивает этот порт к утру  
с пустыней.

\*            \*  
              \*  
              \*  
              \*

В моей спальне год который  
синий кот сидит за шторой.  
И уже который год  
он, в уме идя по крышам,  
вслух считает до трёхсот.

\*            \*  
              \*  
              \*  
              \*

Полустворкой века свою наготу  
прикрыв, постараюсь припомнить  
трамвайный ход на мосту  
через серую нить  
недвижимой реки,  
уличную добычу ветра,  
электрические огни  
в перекрестках Старого Геометра.  
Постараюсь припомнить год,  
Солнце, падающее отвесно на крыши,  
античный урод,  
статуей в тесной нише,  
времени перебирая за край,  
узнаю себя в окруженьи немых  
в Венском парке с утра  
в предчувствии жизни иных  
постараюсь припомнить всё до  
точки, когда я смогу, цепляясь

мрамором за кусты, прогуливаться на Восток,  
ни к чему в своих мыслях более не возвращаясь.

\*            \*  
\*

Удивленный декабрь профиль женщины на  
туалетном стекле нарисует слезой,  
то быть может Татьяна  
пригласила его в этот город чужой.

Из каретных времен в этот сумрачный год  
дописать до конца, досчитать до двухсот.

Не разлука, но просто не встреча богов  
в нарисованном городе синих снегов,

в описаньи зимы; через край алкоголь  
заливает кварталы до линии крыш,  
оставляя в затылке свидетелем боль  
и беспомощность. Лишь

за гранью его начинается бал  
двух различных миров и под сводами сна  
плачет старый .....\* и крошится металл  
и безумствуют звезды и слишком длинна

эта больше чем ночь, потому что вокруг  
все уснуло в желаньи полета на юг.

---

\* Здесь читатель, на свое усмотрение, может вставить любое  
двухсложное, с ударением на второй слог, имя, как-то: Бодлер, Вер-  
лен, Рембо, Шекспир и т. д.



\* \*  
\*

Запрятавшись по каменным углам,  
я доживал ноябрьскую осень,  
разглядывая собственные руки,

с предчувствием немим конца обряда  
снянья маски в выцветшей уборной,  
у зеркала под звуки клавикорда.

За окнами остервенело ветер  
все утро пёкся об удобстве квартиранта,  
срывая улицы и целые проспекты.

И в узких перечерченных пространствах  
района Челси, ограниченного небом,  
гуляли толпы праздных англичан.

Последнее столетие сегодня  
для них закончилось,  
в надтреснутых витринах

в глазах стрелков у Букингемского дворца  
светило в форме солнца отразилось  
в последний раз, они припоминая

своих знакомых адреса и телефоны  
спускались вдоль по набережной Темзы,  
томимы ожиданием, когда

мой дядя контр-адмирал Степанов  
в территориальных водах Альбиона  
отдаст приказ о снятии чехлов  
со всех крупнокалиберных орудий.

\* \*  
\*

Триединый мужчина – бог  
в белостенном квадрате дворика  
откинув вечерний полог  
говорил в остывающем городе  
говорил обезумел от крика  
умолял на коленях плакал  
но слова превращались в пепел  
выжигали язык закатом  
привязали к кобыле в степи  
в междучасье в границах арбата  
хоронили – червонцы на веки  
как и принято у азиатов.

80 г.

АТОН Владимир – родился в 1962 г. в г. Ленинграде. В 1978 г. эмигрировал в США. Учился в Нью-Йоркском и Парижском университетах. В настоящее время живет в Париже.

# ЛЮДИ МИМОЕЗЖИЕ

## Книга путешествий

### Глава третья

#### В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ СВОИ ИГРУШКИ

##### 1

В чистом поле четыре воли.  
Кому на доньшке, а кому с переливом.  
Кому спозаранку, а кому на поминках.  
Кому – горя, а кому – радости.  
Кому – силы, а кому – слабости.  
Кому – всё, а от кого – всем.  
Счастливый к обеду, роковой под обух.

Я лежал на животе на перекрестке дорог, как распластаный указатель направлений, и оставалось только гадать, как же это меня не раздавил ночью бесшабашный проезжий люд.

Рань ранняя.

Колыхание легкое.

Свиристение робкое.

Дымка понизу и просвет в облаках.

Тут я проснулся. А может, очнулся. Так сразу не разобрать.

Ноги не поднять. Рукой не шелохнуть. Мыслью не воспарить. Тяжесть непомерная по телу, как навалился навал.

А мой нетерпеливый друг уже шустро уходил вперед, рюкзак за спиной, без оглядки по проселку.

---

Продолжение. Начало см. в № 41.

– Эй, – позвал я. – Прямо ехать – убиту быть.

Встал. Подумал. Спросил осторожно:

– Ты почему знаешь?

– Знаю, – сказал я. – Читаем кой-когда. Интересуемся.

Еще подумал:

– А вправо ехать?

– Богату быть.

– А влево ехать?

– Женату быть.

– Врешь ты всё, – сказал он решительно.

И пошел назад.

Рухнул возле меня, скрючился в три погибели, лицо в морщины согнал: колыхание чувств, бултыхание мыслей.

– Господи! – забубнил. – Для чего Ты напридумывал развилки, Господи?! Перекрестки. Перепутья с раздорожьями. Мало нам забот и без этого, Господи? Мозги сохнут. Душа спекается. Рельсов желаю, рельсов!

Стояла каменная будка на обочине, кладки ненашенной. С округлой крышей, с проломом в боку, с обглоданными углами, с покареженной скамейкой, с указателем автобуса снаружи и с похабщиной внутри.

– Вот, – говорю, – твои рельсы. Садись давай да катись по маршруту. Первая остановка – часовня, далее везде.

Помолчал, как отдышался, сказал, как не слышал:

– На перекрестке, – сказал, – черти яйца катают. И ведуны с колдунами. Чаровники с шептунами. Знахари с ворожеями. Потому и часовни ставят. Кресты для защиты. Путнику на спасение.

– Ты-то откуда знаешь?

– Знаю, – сказал мстительно. – Тоже интересуемся.

И посвистел нахально.

Тогда и я посвистел. Понахальнее его.

Потом посвистели оба: каждый на свой лад.

Не поделили чего?..

Шел прямо на нас мужчина обыкновенный.

Оттуда шел, где убиту быть.

На лицо испитой, на тело тощий, на вид малохолмный, на одежды бедный, на годы – неизвестно какой. Ноги волочил без удовольствия. Руки висели без пользы. Голова качалась на стебельке.

– Ты кто есть? – спросил на подходе мой нетерпеливый друг.

Сел в будке, спину потянул со вздохом.

– Таю, – сказал в ответ. – Чахну и хирею. С тела спадаю. В нитку тянусь. Порвусь скоро на тонком месте.

– Видишь? – показал я. – Это и значит – убиту быть. Какой с него спрос?

Но мой друг так сразу не отстал.

– Та сторона – убиту быть. А наша сторона – чего? Живу быть? Пьяну быть? Драну быть? Ты куда шел, человек-два уха? Отвечай!

Мужчина привалился к стене, глядел умученными глазами.

– Тут, – сказал, – только и передохнёшь. Один приют – кругом на сто верст. Горе у кого. Болезни. Помин близкого. Придешь спозаранку, пока автобусы не ходят, посидишь чуток – душа отмокает.

– Да тут всё загажено! – завопил мой друг. – Похабель с мусором! С чего отмокать-то?!

Но тот уже не глядел. Тишел, светлел, уходил в свое, как на дно опускался, в прохладу прозрачных вод.

– Видишь? – сказал я. – Раньше паломничали по монастырям, теперь – по автобусным остановкам. И властям спокойно.

– Сволочи, – сказал на это мой друг. – Паук, и то одну муху сосет.

Встал решителен. Шагнул стремителен. Меня потянул за собой.

– Женат был. Убит буду. Пошли богатеть!

И мы зашагали направо.

Пёхом да спёхом.

По дороге к богатству.

От Лебедяни на Ливны, от Ливны на Смольны, на Козельск да на Полоцк, на Торжок и к Туле, на Переяславль да на Судогду, через Колокшу на Мстино, от Волочка и до Углича, через Ростов на Калугу, не доезжая Рязани, где дураков вязали, богатства им не казали.

Дурак по дуру далеко ходит.

Стоял тын на пути – городьбой поперек. Ни обойти его, ни перескочить. Высокий, глухой, замшелый, и колья для остратки заострены поперху.

– Эй, – позвал мой нетерпеливый друг, – живые есть?

А оттуда – с ленцой:

– Ну, есть.

– Отворить можешь?

– Ну, могу.

– А чего ждешь?

– Вчерашнего дня.

– Так, – сказал мой друг. – Будем тебя рушить.

– Не надо, – говорю, – рушить. Само отодвигается.

Отодвинули колья. Заглянули. Присвистнули.

– Здорово, чёрт вертячий!

Лежал на травке этот, мужичок зыристый, голову уложил на портфель, грыз травинку от нечего делать да глаз щурил на солнышко. Угрелся в затишке.

– Был чёрт вертячий, – сказал. – Теперь чёрт спулый. Понизили за ваши геройства.

– А чего мы сделали?

– Утку загубили. Народ пугали. Чертей смущали. Маленький Ерофейчик в петельке задавился.

– Чего?!

– Ничего. Попрошу отгадку.

Подумали.

– Мы не знаем.

– Проходите.

Тут мой друг разобиделся:

– Как так – проходите? Мы же не отгадали.

– Да по мне, – сказал мужичок, – хоть кто иди.  
После нас – хоть волк траву ешь.

И зевнул сладко.

Мы пролезли. Встали. Глядели с сомнением.

– Этот Ерофейчик... – сказал мой нетерпеливый друг, – а с чего он задавился?

– А хрен его знает, – ответил снулый чёрт и принялся взбивать портфель, чтобы помягче было. – С такой жизни хоть кто задавится.

И захрапел с переливом.

Мы шли дальше. Друг мой сердился. Бурчал от негодования. Бормотал в сердцах. Клял кого-то. Даже всхлипнул разок.

– Ты чего это?

– Ерофейчика жалко...

– Да это пуговица, понял? Отгадка – пуговица.

Встал. Поглядел ненавистно:

– Для кого, может, и пуговица, а для меня – Ерофейчик в петельке.

Тогда и я задумался. Взвесил. Прикинул. Сказал через паузу:

– И для меня – Ерофейчик...

## 2

Поле поманило нас увалистым безграничем. Поле задразнило зеленью безбрежной. Тропкой увилистой. Мелкой желтизной ромашек. Птичьим кувырканием и мотыльковым шевелением. Избами на дальнем краю. И тишь. Покоем. Безветрием и бездумием. Хоть в улог ложись, не сходя с места.

Мой нетерпеливый друг так и бухнулся на колени, как подбил кто. Руки простирал. Шею тянул. Запахи вдыхал. Кланялся. Лбом стучался об землю. Балдел от прилива чувств. Бормотал всякое: понесло от ощущений.

– Там по полям пажити скотопитательных пшениц. Изобильны там по лугам травы зеленыши. Разноцветуши цветы благовонны несказанно. И премного, и плодovито, и самородно, и красносмотрительно!

Тут голос – на звук печален:

– Ах, Кудряшова, Кудряшова, что же с тобой будет?

Стоял дом на отшибе – строением невидным. Женщина из окна румяная. Наличники резные. Ставни. Занавесочки. Дверь призывная. Крыльцо с половиком. Рукомойник на гвозде. Полотенце холстинное. Бревна сухие – горкой накатаны: покурить после еды. И надпись от руки – «Чайная».

Мой нетерпеливый друг уже наострил глаз:

– Это вы Кудряшова?

Губы пухлые. Глаза синие. Коса венцом. Щека кулаком подперта.

– Была бы Кудряшова, кабы Кудряшов посватал. Подкрепиться не желаете?

– Желаем. Но нам некогда. За богатством идем.

Она и не удивилась:

– Это вам в деревню надо. Через поле.

– Пошли, – скомандовал мой друг. – Там и поедем. Всего-то – километр с хвостиком.

А женщина:

– Хвостики наши немеряные. Его никто за раз не переходил, это поле. А были и половчее вас.

Засомневались:

– Разве что перекусить... А чего у вас есть?

– А чего желаете?

– Желая, – важно сказал мой друг, – чтобы был бык печеный, а в боку нож точеный.

– Садитесь на бревнышки. Я мигом.

И подала через окно две тарелки.

По куску хлеба. По ломтю мяса. По огурцу соленому. Да горчицы шматок.

Мы ели, она из окна глядела.



Мясо уварилось. Хлеб пропекся. Огурцы просолились. Горчица слезу выжала.

А бревна – сухие, теплые, звонкие, коричневые, солнцем пропеченные, и узоры от короедов – завитушками, как писарь письма навел.

– Ах, Лопухова, Лопухова, куда же ты катишься?

Тут уж и я наострил глаз:

– Это вы Лопухова?

Лик грустный. Лоб чистый. Морщинки редкие. Плечи под шалью зябнут.

– Была бы Лопухова, кабы Лопухов под венец повел. Еще дать чего?

– Будет. Перекусили – и за богатством.

А она:

– До богатства путь долгий. К вечеру не управитесь. Блинков вам пожарить?

– Каких блинков?

– Гречишных.

– Жарь!

Зашипело. Зашкворчило. Потянуло масляным запахом. Заворожило из окна тихоньким говорком.

– Плешь идет на гору, плешь идет под гору. Ты плешь, я плешь, на плешь капнешь, плешь задерешь, да плешь наведешь.

– Эй! Это чего?

Сунулась наружу: от плиты красна.

– Блинки уговариваю. Чтоб пышнее были.

– Ты кто есть такая? – спросил прямо мой нетерпеливый друг. – Колдунья? Ведунья? Баба-Яга?

– «Чайная», – сказала. – От потребсоюза. Читать умеешь?

– Ой, врешь! В чайной так не бывает.

А она – со смешком:

– Что же мне теперь, грязь разводить, мух напустить, водку разливать?.. Ешьте, пока не остыло.

Масляны блины – само оно объедение.

Лежат – дышат.

Пупыристые, темные, толстые, пахучие – проглоти язык!

А бревна – гладкие, ровные, увесистые, задами оттертые, срез по краям – янтарем старым, и кольца на срезе – узор в желтизне.

Мы ели, она из окна глядела.

Масляно есть – хорошо жить.

Стопку подмолотили в присест.

– Нанизались?

– Я нанизался.

– А я нет.

Через блин и он отпал.

Потащил из кармана мятые трешки.

– Сколько платить?

– А нисколько.

– Как так?! Ты же «Чайная».

А она загадочно:

– Кому «Чайная», а кому и чайная.

– Ну, жизнь! – восхитился мой друг. – И богатства не надо. Остаюсь тут.

Оглядела. Сказала раздумчиво:

– Одного бы я приняла... Набанила поначалу.

Спать уложила.

Мы как споткнулись.

Осмотрели ее внимательно.

Сидит женщина у окошка, глазами в тоске.

– Да нам некогда, – сказали нерешительно.

– Всем некогда, – вздохнула. – А годы ушли.

Тут уж и я вступил в дело. Локтем ему под ребро.

– Вот, – говорю. – Шанс тебе. Не упusti. И поле рядом. Скотопитательные пшеницы. Какого еще рожна?

– А почему я? – спросил подозрительно и глаз сощурил, будто впихивали ему на рынке негодный товар, гнильё-отходы.

– Твоя идея. Твоя машина. Тебе первому.

Подумал.

– А ну выйди. Покажись.

Вышла. Постояла на крылечке. Себя показала. Полный у нее порядок на всех фронтах.

Завертелся. Заюлил. Заскулил от сомнений.

– А почему я?! Всё я да я... Я уже устал от ответственности. Реши ты за меня!

– Нет уж. Ты сам.

Опять глаз сощурил:

– Завлекаете? Засасываете? Только добрый молодец и жив бывал? Ты оставайся!

– Ладно уж, – сказала из окошка. – Пошутить нельзя?

И заплакала.

Тихой слезой, как ребенок.

Она плачет, мы на бревнах ёрзаем.

– Слушай... Может, тебе в деревню перебраться? Всё – не одной.

Говорила – вздыхала через слово:

– Мне в деревню – никак... Имя мне по деревне – Вешалка... Вешаюсь будто на всех. А тут, может, пройдет кто, за собой позовет: «Пойдем, моя кровиночка, куда ведет тропиночка»...

И улыбнулась жалко.

Лицо бледное. Глаза красные. Нос запухший. Губа дрожит.

– Идите, – сказала. – За богатством за своим. У бабы Насти – полон для вас чердак.

– А чего там есть?

– Старинушка. За сто, за двести лет коплено. Вон, через поле.

И мы пошагали со стыдом.

А сзади – как в спины тюкало:

– Ноги мои приплюшали. Руки отпали. Головушка моя забаливает. Ах, Патрикеева, Патрикеева, без смерти тебе смерть...

Мой нетерпеливый друг шустро шел впереди, вскрикивал фальшиво:

– По богатство идем! Старинушку собирать! Иконы, прялки, лампы фитильные... Домой привезу, в комнате расставляю – уголок покоя! Сел, расслабился, – чего еще надо?

– Пивом, – говорю, – тоже можно расслабиться. Бутылок с трех. А тут – человек живой. Утешения просит.

Обиделся. Запыхтел шумно. Кинул запальчиво:

– Да я с ней, может, переписываться буду! Понял? И оглянулся ненароком.

На дом невидный. На наличники резные. На дверь призывную. И бревна сухие – горкой накатаны: покурить после еды.

– Не, – сказал окончательно. – К бабе Насте идем. Она ждет, небось. В оконце выглядывает. Голову подпирает рукою. В платочке с горохами.

Тем и утешился.

### 3

Разулись, ботинки повесили на палку, пошагали гуськом по тропе. Трава под ногой мягкая, бархатная, уступчивая. Ступню нежит, пятку остужает. Идем промеж стен: хлеб густо стоит, струной тянутой, небо над головой в грудастых облаках, и ничего больше не видно. То ли мы ростом не вышли, то ли хлеб уродился хорош. И только шорох, тихий, настойчивый, дождичком понизу: колосья перезрели, зерно сыплется.

Стоял посреди хлебов мужчина обыкновенный, знакомец наш утрешний, задумчиво перебирал травы. Пальцами перетирал, нюхал, на язык брал, головой на стебельке качал в сомнении. А в ногах у него шебуршня мышинная, крутятся – не разглядишь кто, и крик оттуда на все голоса, незлобивая ссора.

– Что ты ему суешь? Ну что?!

– Плакун-траву.

– Да он и так плачет, слезой исходит.

- Поплачет – легче будет.
- Кто тебе сказал?
- Люди говорят.
- Много они понимают, твои люди! От тепла легче будет. От еды. От запасов зимних. А от слезы-то чего?
- Ой, нашел, нашел. Эту! Траву-тирлич!
- На кой ему?
- Подмышками натрет, в лешего оборотится, всё враз позабудет.
- Да он же крещеный! Дед, ты крещеный? Ни в кого он не оборотится.
- А нынче крещение недействительно. Отменили декретом.
- Кто те сказал?
- Этот. Коля-пенек. Я сам слышал.
- Дурак твой Коля.
- Дурак – не дурак, а их власть.
- Траву-колюку не надо?
- Не надо.
- Траву-прикрыш?
- Да она для невест!
- Кошачью дрёму? Коровяк? Курячью слепоту? Дремучку? На ночь – стопочку травничку.
- Да давали ему. Стаканами! Не балдеет.
- Мне бы, – сказал утрешний знакомец, – зелье забытущее. Спячий вырь-корень. Память чтоб отошла.

А они – с повинной:

- Только что был... Рос себе под присмотром.
- Может, мыши погрызли?
- Станут они тебе. Здешние мыши с хлеба опухли.
- Привет, – сказал мой нетерпеливый друг. – С кем разговоры?

Пискнули. Взвизгнули. Затаились в хлебах.

– Ночи не сплю, – ответил на вопрос мужчина. – На печи верчусь. Жизнь перебираю. Бока к утру ноют,

душу намял. Пососать бы вырь-корень, да и перезабыть всё.

– И мне! – возбудился мой друг. – Пососать – и в отключку. Что было – не помню, что будет – не знаю. Где этот корень? Я заплачу.

А из хлебов непочтительно:

– Здесь не платят.

– Я заслужу.

– Здесь не служат.

Сощурился. Сказал с расстановкой:

– Некоторые думают, что без них не обойтись.

Пусть некоторые этого не думают.

Вылетел оттуда земли комок, окарябал ему щеку.

Вылетел другой – меня по затылку.

– Окружают, – говорю. – Бежим!

А за ноги уже держат.

Травой оплетают.

Щекочут – не разберешь, кто.

– Годы мои вышли, – сказал на это утрешний знакомец, – а Бог не прибирает. Не намучался, видно, норму свою не выбрал. Пойти, что ли, еще пожить?

И пошагал себе.

– Так, – сказали понизу без особой ласки. – Щас мы вас отхрястаем. Вяжи их, братцы!

Тут загремело, зазвенело, забренчало на все лады, как пожарный обоз катит. И голос прорезался поверх звона, пронзительный и разудалый: «Мой миленок окосел, не на те колени сел...»

– Караул! – пискнули. – Коля-пенек едет!

И врассыпную.

Катит себе через поле комбайн самоходный, вензеля на ходу выписывает, хлеб убирает. Половину пропустил, половину затоптал, половину мимо грузовика ссыпал. Подлетел на скорости, тормознул – только гайки по сторонам брызнули.

– Здорово, – говорит, – народ ненашенский!

Сидит за рулем парень: драный, чумазый, мазутом

переляпанный, и глаза у него дурные, как перевернутые. Зрачков нету, бельма одни.

– Чего, – говорит, – дорогу загораживаете? Я из-за вас в простое.

А те, с отдаления, визгливо и невпопад:

– Ты чё делаешь, варвар? Хлебушко губишь. Технику гробишь. Пенёк, одно слово!

– Кому пенёк, – сказал гордо, – а кому и механизатор.

Тут вывернулись глаза обратно, зрачками на место встали. Взял деловито молоток, стал гайку на болт наколачивать.

– Слушай, – говорю. – Гайку наворачивают, а не забивают.

– Какая гайка, – ответил с пониманием. – Тоже, небось, курсы кончал. Если резьба одинаковая, то наворачивают. А если разная, то забивают.

И снова заработал молотком.

– Аспид! – закричали с отдаления. – Нежить! Сила нечистая! Бога-то хоть побойся!

– Нету, – сказал, – вашего Бога. На курсах просветили.

– А чего есть?

– Жизнь четырёхтактная. Всасывание, сжатие, зажигание да выхлоп. Гуляй – не хочу.

И снова глаза перевернулись: бельмами наружу.

– Да в такой жизни, – завопили из хлебов, – и чёрт жить не станет! Поищи дураков на выхлоп!

– Цыть, – сказал важно. – Раздухарились, козявки. Вот выпишем попа из центра, он вас уже закрестит.

– Да уж лучше с попом, чем с тобою!

На это он не ответил. Только отверткой поковырял в ухе, да сапогом долбанул по мотору, чтобы работал без перебоев.

– Скажи, – спросил мой нетерпеливый друг, – деревня твоя горела?

– Тебе на что?

– Интересуюсь.  
– Не, не горела. Деда болтали: лет триста.  
Как подобрался:  
– А старики у вас помирали?  
– А то нет.  
– Иконы куда девали?  
– В молельный дом стаскивали.  
– А где он?  
– Кто?  
– Дом молельный?  
– У меня в избе. Батяня с маманей шибко верующие были.

Мой друг и дышать перестал:

– Родители померли?  
– Померли.  
– А иконы где?  
– На чердак закинул. Штук, не соврать, с полста.  
– Поглядеть можно?

А он ухмыляется:

– Я знаю, чего вам нужно. Вам старинушку нужно. Нету. В трубу. Фьютъ!

– Дурак! – завопили с отдаления. – Пень бесчувственный! Попадешься ты нам без комбайна!

– Слушай, – говорю. – Нам неясно. Фьютъ – это чего?

– Я их порубил, – сказал. – На лучинки. На растопку пустил. Суухия...

Мой нетерпеливый друг уже опадал набок, воздух хватал перекошенными губами:

– Триста лет... Деревня не горела... Целое-сохранное... Ты чего пожег, поганец?! Ты Рублева с Дионисием пожег, Назария Савина, Истому Гордеева, Прокопия Чирина, Захария Бронина, Петра Дермина со товарищи... – Забормотал, глаза закатил, понесло без пауз: – Сей образ написан по повелению Максима Яковлевича Строганова письмо человека его Первуши Прокопьева ученика...



– Поговори у меня, – сказал на это Коля-пенек и взревел мотором. – Вот я из вас пуговицы намолочу. На мякину пуцу. В закрома ссыплю.

Мой друг уже лез внутрь комбайна, головой под барабан:

– Жить не хочу! Знать не хочу! Дайте мне выр-корень! Перемелите меня на отруби, – туда мне и доро-га! Не рыдай мене мати... Да молчит всякая плоть... Святых младенец четыре на десять тысяч Христа ради избиенных в Вифлееме Иудейском...

– Психованный, – обьяснил Коля. – Из безумного дома. Чего с него взять?

Дал задний ход и умчался на скорости в безграничные просторы. Собирать недособранное, дотапывать недотоптанное, просыпать недопросыпанное. Поле оставил за собой: изуродованное, замордованное, оскверненное. Где плешь, где лужа мазутная, где рытвина от колес. Ни жита тебе – струной тянутой. Ни тропки – травой бархатной. Как враг на рысях прошел.

Мой друг сидел на земле, ослабевший от переживаний, всхлипывал, слезу тер рукавом, а в ближнем укрытии уже зашебурились сочувственно, заохали жалостливо, запричитали на все лады:

– Будет тебе... Было бы из-за кого... Пенёк – он пенёк и есть... Идите себе, куда шли.

– А вы?

– А мы тут. Мы уж как-нибудь. Где уродился, там и пригодился. Век прокукуем на поле на этом.

– А вы кто будете? – спросил мой друг. – Какое такое ваше прозвание?

– Завертяй, – ответили, – с Завертяихой. Почучуй, – ответили, – с Почучуихой. Растаскай с Растащихой. Побредух с Побредухой. Да Плетун с Плетуньей. Да Съедун со Съедуной. А больше никого и нету.

– Вы что, – говорю, – парами, что ли?

– Парами, милоч. Так оно жить легче.

А друг мой уже глаз щурит:  
– Посевы, небось, портите?  
– Чего их портить? И так порченые.  
– Людей, небось, морочите?  
– Чего их морочить? И без нас оморочены.  
– Чего тогда живете?  
– А чего не жить? Всяк на лучшее метит.  
– Лучшего не будет, – сказал мой друг. – И не ждите.

Помолчали. Подумали. Шушукнулись разок.

– У, – сказали, – и этот пенёк.

И сшуршали куда-то.

– Я не пенёк! – закричал вслед. – Я пророк!

Но ответа уже не было.

#### 4

– Вставай, – говорю. – Чего ждем. К бабе Насте пора. За богатством.

Удивился. Глазом на меня повел.

– Ты-то чего? – сказал чванливо. – Тебе-то оно на кой?

Я и угас:

– Не знаю...

И обиделся незнамо на кого.

Обулись. Дальше пошли в ботинках. Где по кочкам, а где по стерне. Мой нетерпеливый друг снова шагал впереди, напрямик к цели, разогревался на ходу, расплылся чувствами.

– Баба Настя! – кричал. – Готовься! Отворяй чердак! Вон он я! За богатством иду!

Вышли на проселок, на битую его пыль, дальше зашагали рядом. Подпрыгнули – попали в ногу. Приладились – плечом к плечу. Даже посвистели чуток: он свое, да я свое, – получилось складно.

– Надо же, – говорит.

– Надо же, – говорю.

Мы шли, но деревня не приближалась.

Так и маячила на краю поля.

А пора бы уже.

– Расслабься! – кричал мой друг. – Не торопи события! Они сами тебя найдут! Отдайся течению и плыви вместе со всеми. И тогда всё будет рядом, с тобою, твое. Куда вы всё торопитесь, люди городские? Вы же не уловите жизнь деревенскую!

И снова мы шли, но ничего не менялось. Как морочил кто-то. Водил за собой. Дорогу не туда перекладывал. Путь набавлял. Ноги уже гудят, а до деревни не ближе. Поле бесконечное. Хлеба по сторонам. И шевеление оттуда, шуршание, бормоток, как подхихикивает кто-то, прыскает злорадно в кулачок. Бог дал путь, а чёрт дал крюк.

Тут дрема на нас навалилась, да такая тяжкая – как медом по глазам помазали.

– Завертай, – зажалился мой друг, – с Завертяихой. Почучуй, – зажалился, – с Почучуихой. Может, хватит уже?..

А оттуда:

– Грамотный?

– Грамотный.

– Напиши слезницу.

– Это еще что?

– Жалобу на порядки. Не цветно цветут цветы, не красно растут дубы. Напиши, а?

– Да я и не знаю, как.

– Тоску напустим, – погрозили. – Печаль с бедою. Нам снизу не видно – на кого. – И завопили в голос: – В смолу кипучую, в золу палючую, в серу горючую! Чтоб их прибило к притолоке колом осиновым! Чтоб их иссушило суше травы! Заморозило пуще льда! Чтоб они окривели, окаянные, охромели, ошалели, одеревятели, одурели, оголодали, отошчали, обезручили, – злым мученьем, горьким сокрушеньем! Какое поле попортили, – паралик их возьми!

– Ребята, – сказал мой друг. – Почучуи вы мои милые. Дохлое это дело. Исторический – мать его пере-  
мать – процесс.

Бормотнули, как сговорились.

– А Богу пожаловаться?

– Жалуйтесь.

– Да нам не положено. Мы из другой команды.

Пусть уж сделает хоть чего-нибудь...

– Пусть, – сказал мой друг. – Я не против.

Шелохнулись, как подобрались поближе.

– Помолись там за всех... Поле помяни за упокой...

Тут мой друг и застеснялся. В первый, быть может,  
раз.

– Да я и не умею... Не знаю. Не обучен. Не верю  
вроде...

– А этот? – на меня.

– Этот... – сказал мой друг. – Он тоже из другой  
команды.

Они и отступились.

Стоял на пути мужичок зыристый, глядел в бинокль  
на деревню.

– Эй, ты чего тут?

– Высматриваю. С какого боку приступить.

– Куда тебе приступить? Ты же теперь снулый.

– Был снулый, – сказал важно. – Повысили – и  
проснулся. Киплю белым ключом. Анчутка рогатая.  
Чёрт толкачий.

– Это ты, что ли?

– А то нет. Поглядеть не хотите?

И вынул из портфеля еще бинокль.

Приладились – и застонали.

Деревня – вот она, хоть рукой огладь.

Тихая деревня на отшибе, лес позади – каймою  
синею, как шаль на плечи накинута, и поле кругом  
деревни – подолом сарафанным, в желтом, тяжелом  
колосе, до самых до ее огородов.

– Ах! – сказали хором. – Что же это за ах!

И подкрутили для верности окуляры.

Улица широкая, травую проросшая, деревья разрогатились поверху со скворешнями, избы встали негусто, плетни с корчагами, яблони с яблоками, груши, вишня обобранная. Куры ходят. Голуби. Собаки спят. Людей нету. И хлебом вроде потянуло. Ржаным, запашистым, с горячего поду. С корочкой. С угольком приставшим. И звук вроде донесся – прынь-прынь, как телят позвали.

– Вон она! – закричал мой друг в великом волнении. – Третья с краю!

Дом ладный, крыша на два ската, чердак об одно оконце, и глядит из оконца бабка – на лицо кругла, щеку кулаком подпирает, будто и впрямь нас выглядывает. И платок на ней, между прочим, в крупных горохах.

– Ба-аба! – поплыл мой друг. – На-астя! Красавица ты моя! Любовь несказанная! Рукодельница. Бережливица. Сидит, стережет, – чердак-то, небось, доверху! – И занудил не своим голосом, как вымаливал: – Кузовок бы мне, туесок, короб, скопкарь, люльку с вальком, жбан, рубель, скрыню с коклюшкой, да пестерь из бересты, да набируху из луба, да солоницу утицей, охлупень с эндоной, бурак с трепалом, лукошко с дупельшком, ковш-черпалку да ковш-наливку, прялку столбчатую, фонаристую, расписную – кустики ракистовы, ягоды изюмовы, быт семьи и ее привкусы, чаепитие с хозяйством, экий дурак выпил бурак, и для усыпания и для просыпания, и чтобы рос и добрел и на ум набирался, человек помни свой час!

И замолк, как выдохся.

А мужичок зыристый – вкрадчиво:

– Жизнь короткая, а поле широкое. Можно и не поспеть.

– И что?

– И ничего. Может, столкнемся?

А друг мой – нагло:

– Стоит корова, орать здорова. Отгадаешь – столкуемся.

– Эва, – сказал. – Делов-то. Корова-истеричка.

– Ошибаешься. Даю намек. Стоит корова, к стене приткнута. Орать здорова, коль пальцем ткнута.

– Корова-инвалид.

– Не столковались, – сказал мой друг. – Отгадка – рояль.

И мы пошли дальше.

– Позовете, – крикнул. – Попросите. В пояс наклоняетесь.

И слинял куда-то.

А сбоку от проселка – горюшка малая. Березы на ней – громадины. Старые, корявые, дуплистые, с ветвями усохшими, с буграми по стволам, как шишки от подагры. Да трава понизу – морем разливанным.

– Поспим? – говорю. – Ноги отпадают.

– Я те посплю! Богатство уведут.

– Ну и уведут, – кольнул. – Мне-то на кой?

– Ладно уж, – пообещал великодушно. – И тебе перепадет.

Но ноги уже сами несли на горюшку.

Лист сухой. Трава полегшая. Холмики приникшие. Кресты подгнившие. Ограды штакетником. Камень небогатый. Фамилии-имена. Лечь бы, расслабиться, отслоиться от самого себя: беспечальным сон сладок, – да проглядывало посреди берез строение тяжелое, кургузое, к нам полукруглое, крыша железом крыта, как блин положили поверху. Будто начали строить дворец великолепный, размахнулись поначалу, сил не пожалели, вывели в радости стены до середины да и передумали по дороге, бросили – надоело, крышу нахлобучили как легла. Странно и тревожно: тело есть, а головы нет.

– Эх, – сказал мой друг, белея от предчувствий. – Купол скovyрнули, гады!

И побрел как сослепу, огибая строение.

А по ту уже сторону, с парадного ее ходу, двор

изрытый, земля переезженная, черная, жирная, мазутная, бочки мятые, цистерны ржавые, ворота нараспашку.

Склад. Горюче-смазочные материалы.

5

Сидел мужчина сбоку, на плите могильной, держал чурбак промеж ног, топором щепил ловко, а перед ним стоял знакомый нам комбайн, Коля-пенёк застыл у руля, глядел вдаль перевернутым глазом.

– Мы тебя на выставку пошлем, – говорил мужчина ответственно. – В Москве стоять будешь. «Труженик полей».

– Известное дело, – отвечал Коля, стекленея от важности. – Аккуратная ваша работа, дядя Паша. С присидливостью. Мне так не суметь.

– Я тебе правду скажу, – говорил мужчина. – Как я – никому не суметь. Мне и имя дали особое, не всякому и сгодится, – примитив.

– А чего это такое, дядя Паша?

– Примитив – это вроде лауреата. Чемпион по нашему. Мастер этого дела.

– Тогда и я примитив, – сказал Коля. – Только по другой части.

– Мы все примитивы, – вякнул на подходе мой нетерпеливый друг. – Только не каждому это известно.

Обернулись. Нас оглядели прилипчиво.

– Дядя Паша, – попросился Коля-пенек. – Давай я их комбайном стопчу.

– Остынь, Коля, – посоветовал дядя Паша, рыластый да спинастый мужчина в рубахе распояской. – Эти ко мне.

– Ты почему знаешь?

– Да здесь все ко мне, – похвастался негордо. – Кто

фигуры у меня поглядеть, кто в газету про меня написать.

Откашлялся. Горло прочистил. Рукой на сторону повел. Заговорил заученно.

– Здесь вы увидите только часть моих работ. Самые последние. Поглядите сюда.

Мы поглядели.

Стояли на могильной плите раскрашенные казаки на раскрашенных конях, длиннолицые и долгоносые, в фуражках, с винтовками за плечом, уздечки на руки намотаны.

– Этот, – пояснил, – в дозоре. Этот в засаде. А этот домой едет. Отвоевался.

– С чего вы взяли?

– Руки-то у него нету. Без руки много не навоюешь. Поглядите теперь на крышу.

Мы поглядели.

Торчала у карниза плашка здоровенная. Фигуры расположились в кружок. Глаза открыты. Рты разинуты. Шапки надвинуты. Щеки раскрашены. У каждого по одной руке, и та висит понизу.

– А эти, – говорю, – тоже отвоевались?

Кашлянул. Рукою повел.

– Заседание, – объяснил. – Комитета бедноты. Им другая рука ни к чему. Вот дунет ветер, они и проголосуют.

Подул ветер. Завертелась вертелка. Руки поднялись дружно. Глаза открыты. Рты разинуты. Шапки надвинуты. Одобряют, значит.

– Ах! – закудахтал мой друг. – Ах-ах! Какая творческая находка! Удача! Озарение! Откуда ни дунь, а они – единоголасно. Продай, дядя!

– Вещь непродажная, – ответил польщенно. – Ее все хвалят. Это у меня талант, от деда-резчика. Дед по монастырям работал, в Лавру ездил.

Тут уж я не стерпел.

– Твой дед, – заорал, – чего резал-то?! Георгия



Победоносца резал, Нила Столбенского, Николу Можайского, Параскеву Пятницу... Деда-то не позорь! Снимай срамотищу с церкви!

Мой друг вытаращился на меня в великом изумлении:

– Ну откуда ты это знаешь?! Про Нила с Параскевой? Я не знаю, а он знает! Тебе-то зачем? Забудь сейчас же!

Я и заскучал:

– Забудь, забудь... Да оно не забывается.

Опал ветер. Руки у бедноты опустились. У меня – тоже.

– Дядя Паша, – попросился Коля-пенек. – Давай я их на силос пущу.

– Погодь, Коля, – ответил мужчина. – Время еще не доспело. Надо будет, мы с них мигом кору-то слысим.

– Давно уж слысили, – сказал мой друг. – Куда еще?

– А новая-то, – пояснил степенно. – Опять выросла.

И заиграл топором, вырубая Колю-труженика.

Мы подошли к воротам.

Оттуда несло удушающе.

Погребным холодом. Гнилью. Отстоявшейся бензиновой вонью.

– Поглядеть можно?

– Глядите, – разрешил дядя Паша с профессиональным небрежением. – В щелях пошуруйте. Может, чего завалилось.

Бочки тяжелые. Проходы узкие. Лужи скользкие на битом, плиточном полу. Стены сырые, голые, в прозелени, понизу захватанные чернотой. Оконца поверху – грязные, тусклые, через одно битые. От стены к стене раскорячилась рельса, и на ней блок с цепью. Запустение. Омерзение. Распад.

– Запомним, – бормотал мой друг. – Всё запомним. Нас еще позовут свидетелями на страшный суд.

– Если бы свидетелями...

На стене, сбоку от алтаря, в щели за бочками –

высоко, не достать – повисла огромная доска, с выступом по краям: черная, старая, масляной сыростью набухшая.

– Гляди, – говорю. – Икона.

А он уже лез на бочки, цеплялся за выступы, обезьяной протискивался в щель, обтирая штанами жирную пыль.

Снял с крюка. Передал мне. Спрыгнул – отнял. И поволок, надсаживаясь, к выходу.

– Помочь?

– Я сам.

На свету доска оказалась не такой уж черной. Лысая. Пятнистая. С разводами и белесыми вздутостями. И посередке – малым островком – чешуйки, скорлупки, слоистые остатки от прежнего многоцветия. И оттуда, изнутри, уже не проблескивало охряной желтизной, не алело киноварью, не мерцало позолотой: поленья прогорели, угли погасли, пепел остыл, равнодушные путники помочились в кострище и ушли без оглядки.

Мой нетерпеливый друг уже сидел перед ней на корточках, качался, вглядывался жадно, руками держался за горло, будто его душило.

– Немедленно... – просил жалобно. – Кто-нибудь! Укрепить-выявить-сохранить...

Дунул ветер. Завертелась вертелка. Беднота на крыше вскинула руку. И занял по церкви сквознячок, поверху, из окна в окно, жалобно и моляще, немощно и скорбяще, на тонкой, высокой, нескончаемой ноте, и голосники по стенам подхватили его, углубили, усилили, печалью наполнили помещение, как зажалились-замолились калики, убогие и юродивые, сырые, бедные, скудоумные и гнусавые, – вечно увечный люд. И дрогнули на непривычном ветру скорлупки, шелохнулись чешуинки, отслоились, посыпались по одной – беззвучно и безостановочно. А изнутри ныло, стонало, не переставая, всем нутром своим, всем изуродованным

пространством, – по сожженному, перестроенному, загаженному и покрашенному, затопленному и заваленному, порушенному и взорванному, опоганенному и пограбленному, приспособленному под склад, кино-театр, контору, хлев, клуб, тир, магазин, овощехранилище. Паук, и то одну муху сосет.

Опал ветер.

Опустились руки.

Затихли стоны.

Ссыпались чешуинки.

Доска голая. Церковь ломаная. Душа киснет в сырости. Слысили в сто слоёв.

А мы уходили.

Друг волок доску.

Кряхтел, сопел, надрывался.

Тюкал топор за спиной, деловито и беспечно.

Стыл у руля Коля-механизатор.

Что ихнему пригожеству до нашего убожества?

– Дай хоть рюкзак, – говорю.

И рюкзак не дал.

– Пусть будет плохо. Пусть уже, пусть! Как всем, так и мне.

И упал на склоне. Лицом в траву. Доска легла сверху – плитой могильной, накрыла его с головой.

– Друг мой, – сказал оттуда. – Последняя моя просьба. Зарой меня. Сравняй с землей. Забудь это место. Меня нет и никогда не было. Пух земля, одна семья.

– Да, – сказал я ворчливо и растроганно. – Как хоронить, так друг. А как жить, так попутчик.

А голос со стороны добавил к этому:

– Рыбы уснули. Раки перешептались. Скот извелся. Народ упокоился. Когда же из меня – душа вон?

Друг мой заелозил под доскою:

– Это кто там вякает?

Росла береза посреди могил.

Корни пучило из земли.

Переплетения хитрые.

Сидел на корнях утрешний наш знакомец, руки свесил в колени, безотрывно глядел в свою сторону. И лист с дерева уже запутался в волосах, лежал на плече, пристал к рубахе. Сухой березовый лист.

– Вот, – заговорил из-под доски мой нетерпеливый друг, как экскурсию повел по музею. – Рекомендую. Порченный человек. Омороченный. Изуроченный и присушенный. Его лешии в лесу обошли. Надеть белую рубаху навыворот, посадить на семь зорь возле верей, напоить травяной росой, окатить водой из нагорного студенца: как рукой снимет.

– Дурак, – сказали непочтительно из густой травы. – Понимал бы чего в порче.

Надулся. Полез из-под доски.

– Да уж побольше вашего. Чем критику наводить, лучше бы церковь уберегли от разора. Срам, да и только!

Заобиделись. Кутырком кутырнулись. Траву взлохматили. И пошла галда на все голоса.

– А что мы-то? Всё мы да мы! Какой с нас спрос? Нам и заходить туда заказано. Хоть и склад с мерзостью, а крест помнится... Чем ругаться без толку, деда бы накормили!

Подошли. Поглядели сблизил. Лицо сизое, глаза запавшие, щеки внутрь завалились, как человек в бесилии.

– Дед, ты когда ел?

Сморгнул замедленно. Сказал замученно:

– Ворота-то скрип-скрип, а Настенька спит-спит...

– Да не ел он! – зачастили в траве. – Не пил! Чем живет – неизвестно. Дом пустой, в ноздри вопхнуть нечего. Репа пареная да редька вяленая.

Быстренько развязали рюкзак, открыли консервы, водочку откупорили, хлеба порезали, выставили на газетку угощение.

– Ешь, дед.

И снова галда:

– Станет он тебе! Приплошал с тощака! Напоите сперва. Губы омочите.

Поднесли кружку к губам, голову ему запрокинули, он и высосал послушно.

– Жжется, – сказал. – Отмокает... Будто к слезам.

Мы ему – бутерброд к губам.

Куснул:

– Это чего?

– Колбаса.

– Колбаса, – сказал. – Надо же...

И жевать не стал.

Голову склонил. Запечалился. А эти, из травы, пошумливают:

– Плесните ему! Не распробовал! Первая пташкой, вторая черепашкой!

Выпил до дна – и оживел. Глазом закосил благодарно. Рукой руку отёр. Вздохнул шумно.

– Поди же ты... И жить вроде захотелось.

Потом ели дружно. Разливали и откупоривали. Выкладывали и подкладывали. Поле бескрайнее. Деревня манящая. Ветерок слабый. Холмики проросшие. Кресты потемневшие. Сухость травы поздняя. Запасы смомнили в момент.

– Дед, – говорим, – тебя домой отвести?

– Не, – отвечает. – Я тут.

– А то давай. Нам в ту сторону. Какая твоя изба?

– Третья, – сказал. – С этого краю.

Подпрыгнули:

– Дед! Да мы к тебе идем! К бабе Насте твоей! Она уж из оконца глядит. Дождидается. Чего тут сидишь?

Охнул. Руки вперед выставил.

– Кто вам сказал?..

– Никто. Сами в бинокль видели.

Дед ломался на глазах. Распадался. Расслаивался. Меркнул и затухал. Серело лицо. Леденели глаза. Заваливались щеки. Сила уходила из рук.

– Чтоб вам! – закричали из травы. – Жизнь спугнули!

И ком земли полетел в нашу сторону.

Мы ему – остатки из бутылки.

Мы ему – кружку к губам.

Мы его – тормошить и вздергивать.

Вскинулся. Порозовел чуть. Губу облизал шершавую.

– Нету, – сказал тускло, – бабы Насти... Схоронили весной...

Тут уж и мы сломались. Как штырь из нас вынули. Заюлили, задергались, залепетали.

– Платок в горохах... Лицом кругла... Щеку подпирает... Как же та-аак?!

– А так, – сурово сказали из травы. – Вы в чей бинокль-то глядели? Ну, анчутка, дожدهшься ты у нас!

И пошуршали вдогон.

А мы всё колышемся, никак отойти не можем. Мы к деду тычемся, а дед тычется к нам. Выговориться: душа душу просит.

– Дед! – стонем. – Скажи, что ты шутишь... Дед! – унижаемся. – Скажи, что ошибся... Дед! – вымаливаем. – Про нас хоть подумай!..

А он – глаза пересохли от муки:

– Это она меня выглядывала! Из оконца чердачного! Сорок, почитай, лет!.. Избу обхожу... В поле лето летую... На чердак глянуть боязно... Бывало, ворочусь с работы, а уж горшок на столе: садись, ешь. «Настенька, как же ты углядела меня через поле?» А она: «Нешто я глазом смотрю?..» С войны шел, нежданный-негаданный: горшок на столе – садись, ешь. «У меня, – говорит, – оконце заговоренное. Я из него где хошь тебя угляжу...»

Мы уже сидели в кружок, голова к голове, и дед хватался за нас, как хватаются за спасителей: упустишь – не станет.

– Королевой ходила в девках... Краса и пригожество... Сарафан до полу, под грудь перепояшется, ступает мелко, на редкую стёжечку. Приглядная, приветистая, одна такая на всю округу. Как за меня пошла, в три ноги плясал. На праздник и у комара пиво...

– Хочешь знать! – крикнул запальчиво мой нетерпеливый друг. – Я ее тоже люблю! Не меньше твоего! Красавица! Умелица! Теперь и нету таких!.. Хоть бы меня кто из оконца выглядывал! Хоть бы мне кто: садись, ешь!..

И слезу пустил от обиды.

А деду некогда. Дед своё несет, пока слушатель есть.

– Время было: как врага морили... Нагота и босота одолели. Старость пришла – хоть по окошкам ходи. Пенсия моя – двенадцать рублей. Как сажать, трактор придет, вспашет за бутылку. Мы по гряде ползем, картошку в землю тычем. Как убирать, трактор отвал делает. Еще за бутылку. Мы опять ползем, картошку собираем, запас на зиму. Гляжу, припадать стала... «Настенька, ты чего?» «А я ничего». Слегла, на печи ёжится... «Настенька, подать чего?» «А не надо, всё есть». Не просила никогда, не жалилась, в завидках ни к кому не была... Только и сказала раз, ночью бессонной: «Дед?» «Аюшки!» «Как мы с тобой, дед, прожили, да как теперешние... Телевизоры у них. Сапоги резиновые. Матрацы пружинные. Рано мы с тобой, дед, родились или поздно...» «Настенька, – говорю, – да мы зато как прожили-то? В поладках. В согласье. Мирно да уютно. На тебе моя рука не была... Да я с тобою – хоть где! Хоть когда! Хоть три жизни перемучаться!..» Молчит. Затаилась. Слушает. Разобрало меня, говорю ей назавтра: «Настенька, может дать чего? Может, попросишь чего хоть раз за жизнь? Расшибусь – достану».

Только и сказала: «Чаю бы я попила. Сладкого. Да хлебца белого с городской колбаской». Заснула к вечеру, я и пошел. Где пешаком, где с попуткой. К ночи пришел в город: все спят, магазины закрыты, один мужик в канаве трезвеет. «Где тут у вас, – говорю, – колбаса покупается?» А он мне: «Покупается, – говорит, – где хошь, да нигде не продается. Почитай уж десятый годок не нюхали. Ты, дед, откуда взялся? Из каких-таких дремучих лесов?» «Чего ж, – говорю, – теперь делать? Мне колбаса нужна. С хлебцем с белым». «Это тебе в Москву, – говорит, – а не к нам. Или в ресторан иди, там еще отперто». Пришел: «Колбаски не продадите?» «Дед, – говорят, – не смей нас. Откуда ее взять, колбаску? Хошь – котлету тебе подадим, шницель рубленный...» Тут меня как за рукав потянуло. Чую – беда. Бегу назад, ноги не несут, попутки нету: Господи, доведи до дому! Сколько бежал – не помню. Как дошагал – не знаю. Приполз – светало уже. «Настенька, вот он я!» А ее нету. На печи нету. В избе нету. На дворе нету. «Настенька, ты где?!» А она на чердаке. У оконца. Стылая... Меня выглядывала...

– Запомни, – сказал мой друг высоким и торжественным голосом. – Запиши на память. Забудешь – прокляну.

– Я не забуду, – сказал я. – Мне и записывать не надо.

– Нет, запиши!

– Запишу, – пообещал. – Выдь душа!

А дед уже затухал, затихал, вяло опадал на бок:

– Что она мне скажет теперь? Чем встретит?.. Что ж ты, дед, обмишурился? Одно попросила за жизнь, хлебца белого с колбаской, – и то не принес...

Дед заваливался на траву, щекой на бугор: покойно, покорно, укладисто, как на долгую ночь. Глаза закрылись, щеки завалились, веки подрожали и затихли, руки легли на землю безо всякой уже надобности. Пал лист березовый в раскрытую ладонь. Мураш пополз



по щеке. Трава заплелась в волосах. Дыхания не стало.

А рядом стояла могила копаная.

Старая. Осыпавшаяся. Под покойника готовая.

То ли ждала кого-то, то ли передумал кто.

И отвал земляной уже травенел заметно.

Мы и не сговаривались вовсе.

Подняли доску иконную. Поднесли к яме. Друг спрыгнул – принял. Травы нарвали. Траву подложили понизу. Полотенце у нас было. Полотенцем покрыли поверху. Монетку кинули: старые покойники за так места не дают.

– Мы еще придем сюда, – сказал мой нетерпеливый друг.

– Дай-то Бог, – сказал я.

С тем и засыпали.

Мы уходили по проселку.

Деревня виднелась по пути, недосягаемая по-прежнему.

Друг мой кричал яростно:

– Почему я должен за кого-то переживать?! С какой такой стати?! Всё я да я! Он мне никто! Я с ним никак! Плунуть и позабыть!

Но почему-то не плевалось.

## 7

Гукнуло сзади.

Взревело мотором.

Скрежетнуло шестеренкой.

Зашипело воздухом.

Накатился шустро грузовичок-силач, ладненький, желтобрюхий, как желанная детская игрушка, кабина зависла над нами, запыленное ее стекло, и за ним, в обнимку, хмельные и распаленные, радостные и ликующие, шофер со своей подружкой. Одной рукой за нее

держится, другой – руль крутит. Такие они теплые, такие они светлые, счастьем таким налитые, – вмиг завистью изошли.

– Гляди, – шепчу. – Давишня...

Приткнулась к шоферу женщина из чайной, с утра получила заметно: хохочет по-девчоночьи, глазками постреливает, синева в них – бездна шалая, а коса трепанная, а кофта продувная, а губа запухшая: нацеловались всласть.

– Поманил! – крикнула сверху. – Слово сказал редкое! Уезжаю навсегда!.. На озера сладководные, на реки многорыбные, на поля доброплодные, – одна живем!

– Лезьте! – крикнул шофер. – Некогда лялякать! Времечко наше – нагоном нагнать!

Мы и полезли.

Мы сидели в кузове, на пачке кровельного железа, подпрыгивали дружно на скорости, задами о листы терлись, а из кабины – гульканье, бульканье, горловой хохоток, и машина на радостях – вприсядку по проселку.

Друг мой скрипел зубами, хрустел пальцами, стучался головой о борт:

– Ему – полотенце холстинное! Ему – баньку парную! Блинки гречишные – тоже ему! Всё в жизни упускаю... Всё мимо рук плывет... Трус поганый! Кисель! Размазня!..

Тут мы и встали вдруг.

Как в стенку с разгона воткнулись.

У этих грузовиков – тормоза мертвые.

Сидел у дороги Коля-пенёк, постанывал негромко, знак рукой подавал.

– Довезите, – сказал, – до деревни. Мочи моей нету. Животом маюсь.

Втянули его в кузов и понеслись дальше.

Посидел, поглядел, глазами пошнырял вокруг.

Нормальные у него глаза, неперевернутые вовсе, озабоченно заинтересованные.

– Ну-ка, – велел. – Пересядьте.

Взял лист кровельный, поднатужился, подтащил к заднему борту да и выкинул на дорогу.

– Эй, ты чего?!

– Изба, – сказал, – течет. Потолок прогнил. Железа не купишь.

И выкинул еще лист.

– Стал бы я, – сказал оскорбленно. – Руки марать!

И выкинул еще.

– Не от хорошей, – сказал, – жизни. Днем с огнем, – сказал. – Ни за какие деньги.

И еще лист.

– Осень, – сказал, – на дворе.

– Дети, – сказал, – болеют.

– Плесень по углам.

И – лист за листом...

Мы едем. Коля железо выкидывает. Машина легчает заметно. Нас подбрасывает ощутимо. Эти, в кабине, жизни радуются.

– Господи! – завопил мой друг. – Кругом одурь! Блаз с морокой! Заклятие с глумлением! Угомон вас возьми! Игрец изломай! Глаза бы мои не глядели!..

Тут выбоина на пути. Размеров не малых.

Мы подлетели над бортом. Коля подлетел. Остатки железа.

Машина выехала из-под нас.

Мы на дорогу упали.

Друг мой – головой о проселок.

Я – на него. Коля на меня. Железо поверху.

Сидим. Головами крутим. Себя ощупываем. Переломы ищем. А машина уже уехала. Им не до нас. Не до железа кровельного. У них – жизнь впереди.

– Бывайте, – сказал Коля-пенек и пошел назад собирать добычу.

– Эй, не донесешь ведь.

– А комбайн на что? – сказал деловито. – Загружу – и порядок.

Мы шли.  
Смеркалось ощутимо.  
Шишка росла на лбу.  
В рюкзаке звякала разбитая посуда.  
Водкой набухла ткань.  
– Хочешь? – сказал мой друг. – Снять вселенское  
напряжение.  
– Хочу, – сказал я. – И даже очень!  
И мы выжали водку из рюкзака...

*(Окончание – в следующем номере)*

## ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА СОКОЛОВА

1927 – † 1984

Где убит, когда точно – неизвестно. На очередной ли пересылке, в лагере, в психушке?..

Вот имя убийцы сомнений не вызывает.

Убивать его начали уже в 47-м году. Не добились, дали через девять лет малую передышку. И снова принялись – в 58-м году. 10 лет... А в 70-м схватили опять – в этот раз уже навсегда.

Ни дома, ни семьи... Другие многое в жизни успели – коллекция успехов, стран, публикаций, приятных происшествий... А тут: Печерлаг, Озерлаг, Дубравлаг, черняховская психушка... За стихи, с подписью «Валентин З/К».

Валентин Петрович Соколов. Лагерный поэт, вечный зэка, всегда голодный, в укромном закутке – с измятой тетрадкой на колене, с обломком карандаша в руке, – символ неукротимости духа и мученичества лучших сынов России, свидетельство ее величия и обетование свободы.

Валентину З/К – от имени всех лагерников – вечная память.

*Эдуард Кузнецов*

# СТИХИ

Леонид Чертков

## НОВЫЕ СТИХИ

\*            \*  
                 \*

«Колонну вечного металла,  
Что здесь стоит из году в год,  
Пора низвесть со пьедестала, –  
Опять жрецы мутят народ, –

За нашим деревянным богом,  
Который был нам всем отец!  
Его мотало по порогам  
И к нам прибило наконец».

1982

\*            \*  
                 \*

Искали пули выход из резьбы,  
Парад держали золотые роты,  
Кровавый сор из пыточной избы  
Влачили наши антипатриоты.

И жертвою огню пылал сибирский газ;  
Но нас еще ждала в безумии распада –

С мечом над чашею и с молнией из глаз –  
Богиня Разума? Иродиада? Лада?

1983

\* \*  
\*

Страстей чехардой ошалелой  
К душе подбирая ключи,  
Любовь многогрудой Кибелы  
Меня утишала в ночи.

Под титьками римской волчицы  
В глухом европейском бору,  
Где время трепещет и длится,  
Как змей из газет на ветру.

1984

Афганская группа «Исламское объединение афганских муджахиддинов» сделала специальное заявление, в котором выражается глубокая благодарность А. Д. Сахарову за все, что он сделал для человечества, и, в частности, за его выступление в 1979 году против советского вторжения в Афганистан. Группа сообщает, что она готова отдать Советскому Союзу всех военнопленных, которые хотят вернуться на родину, в обмен на освобождение академика Сахарова и его жены. Ответа на это заявление не последовало.

ИЗ КНИГИ «EX ADVERSO»

\*            \*  
                 \*

Чем дальше, тем меньше хочу  
Менять этих дней оболочку.  
Чем дальше, тем строже шепчу  
Мою одинокую строчку.

Она всё верней и верней  
Одну замыкает орбиту.  
Всё прошлое собрано в ней  
И всё предстоящее скрыто.

В кругу примелькавшихся лиц  
На дружбу всё меньше надеюсь,  
Но в душах животных и птиц  
Читаю легко, как индеец.

1978

\*            \*  
                 \*

Когда зимой грустнеют птицы,  
И Летний сад в снегу, –  
С тобой одним, певец Фелицы,  
Я в мире жить могу.

Всё, чем эпохи наши схожи,  
Я понял, гнёт терпя;  
Мне скучно с теми, кто моложе  
И опытней тебя.

И нам легко сойтись о главном,  
Найдя ответ в добре, –  
В саду с окоченевшим фавном  
В дощатой конуре.

1977

#### АНГИНА

Лишь ангина и может вернуть  
Позабитые контуры, звуки...  
Заболеть – как в себя заглянуть,  
Суеты отрешиться и скуки.

Там, в гербарии счастья и бед,  
Вдруг живые отыщутся почки:  
Твой младенческий велосипед  
Или две хореических строчки.

Сколько лет ты их тщетно искал,  
Как шутила с тобой Мнемозина,  
Сколько важных ты слов пропускал,  
Среди них – ключевое: ангина.

Мимолётная гостья, твоя  
Правда! время тебя не заботит.  
Не хотел выздороавливать я,  
Но пришлось. Мой будильник заводят.



Ничего я не помню. Забыл  
Красоту, для которой трудился.  
Пробил час – оболочку пробил  
И в молочную вечность скатился.

1979

#### ДВА ПОЭТА

Пошлость вечна – и вечны стихи.  
Два поэта ко мне обратились.  
Непохожие их языки  
В переводе равно преломились.

Европеец, ты двадцать веков  
Ждал, чтоб мне прочитать наставленьё.  
Азиат, ты шестнадцать веков  
Надо мною стоял в отдаленьи.

Европеец, ты учишь меня,  
Как добиться известности лестной.  
Азиат, ты сидишь у огня  
На полу своей хижины тесной.

Европеец, ты, верен чутью  
К слову, стих мой оценишь без скидки.  
Азиат, ты мотыгу твою  
У терновой оставил калитки...

Оба правы. Но родственный гений  
Мне диктует сквозь толщу веков:  
Не хочу никаких поучений;  
Прост мой разум и беден мой кров.

1978

\* \*

\*

Томных беженок, вещей сестёр  
С берегов Адриатики дальней,  
Этот остров трапецеидальный  
Приютил с незапамятных пор.

Кто напутствует наших Сибилл?  
Кто нам время готовит на пробу? –  
Африканка глазеет в Европу.  
Европейка смотрит в Сибирь.

1974

\* \*

\*

Воробей – осторожная птица.  
Я хотел бы, когда я умру,  
Все забыв, в воробья превратиться  
На сквозном ленинградском ветру.

В нем природа, на шутки скупая,  
Многозначность явила свою:  
Всем он равен, во всем уступая,  
Чайке, ласточке и соловью.

Но не им, измельчая горбушку,  
Зимним днем, отрешась суеты,  
За окном наполняешь кормушку.  
Далека в человечестве, ты.

## ИЗ КАТАКОМБ

Не святых, но несчастных спасти  
Ты явился – и с нами остался.  
Прикажи, Провозвестник пути,  
Чтобы разум мой не помрачался,

Чтобы воля не меркла моя –  
Ибо замысел Твой был подробен:  
Ненапрасный фрагмент бытия,  
Я еще на служенье способен.

Я Тебя отыщу по следам  
Вековым и не знающим тленья  
И любые награды отдам  
За таинственный миг просветленья.

## ЭЛЕГИЯ

Когда я был молод, меня нищета привлекала.  
Казалось, для мысли она и для гордости место дает.  
Италия с ней уживалась: большое лекало  
В оправе тирренских и адриатических вод.

Предчувствие славы служило ей выгодным фоном –  
И Муза беспечно авансы ее приняла.  
Мне виделся дом с ионическим нежным фронтоном,  
Тропинка над кручей, – и вечность игрушкой была.

Тебя, приобщения пафос, я помню... – какие  
Картины являлись на твой вдохновенный призыв!  
Как сладостно вымолвить было: Чивитта-Веккия,  
Забыв перевод и акцент невзначай исказив.

Миланский мальпост (виновата французская проза)  
Таинственным образом мысли моей угождал,

И рядом с чеканкой имен – Ватикан, Бельджойозо –  
Подделкой и пошлостью выглядел звонкий металл.

Был беден Стендаль, и хотелось свободным, влюбленным  
Остаться (влюбленным – слегка, а свободным – вполне)...  
Но Герцен уже прокатил со своим миллионом  
По Корсо, и дальше, в Неаполь, и кланялся мне.

Когда я был молод, я бедность любил понаслышке,  
И не был понятен мне русский ее вариант.  
Но Бог справедлив, и судьба улыбнулась мальчишке,  
Патент неудачника выправив мне, как талант.

1980

## ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

В связи с попытками некоторых органов русскоязычной печати в эмиграции опубликовать отрывки из моей автобиографической книги «Галина», выпущенной в свет американским издательством «Харкорт и Брейс Иованович», считаю своим долгом предупредить возможных публикаторов, что русские права на ее издание отданы мною на равных началах парижскому еженедельнику «Русская мысль» и журналу «Континент» со всеми вытекающими отсюда взаимными обязательствами.

Что же касается мировых прав, то они целиком принадлежат вышеуказанному американскому издательству, и поэтому любой перевод с английского оригинала не может выйти в свет ни полностью, ни частично без его разрешения. К тому же, я считаю подобного рода обратный перевод книги не только юридически неправомочным, но и антихудожественным по существу.

*Галина Вишневская*

# Россия и действительность

Валерий Головской

## СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЦЕНзуРА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ?

*(О некоторых методологических проблемах изучения  
советской цензуры)*

### 1. СОВСЕМ НЕМНОГО ИСТОРИИ

Как известно, цензура была упразднена Февральской революцией 1917 года. Но уже в 1922 году большевики официально возобновили цензурирование печатной и зрелищной продукции, создав в составе Наркомпроса Главное управление литературы и издательств (Главлит), а в следующем году еще и Главный репертуарный комитет (Главрепертком).

Но еще в самом начале 1921 года нарком просвещения А. В. Луначарский выступил с большой статьей «Свобода книги и революция», в которой он обосновал необходимость цензуры в рабоче-крестьянском государстве. «Вторым условием, – писал он в этой статье, – одинаковым для всех областей искусства, в том числе и для книги, является сама борьба, а стало быть, и невозможность допустить свободу и особенно свободу слова. Слово есть оружие и совершенно так же, как революционная власть не может допустить существования револьверов и пулеметов у всякого встречного и поперечного, ибо этот встречный и поперечный часто есть злейший враг; так же государство не может допустить свободы печатной пропаганды. Рассказни о том, что революционеры-де добиваются свободы слова, когда старая власть им ее не дает, а потом сами ее отнимают, – сущая обывательская чепуха. (...) Цензура? Какое ужасное слово! Но для нас не менее ужасные слова: пуш-

ка, штык, тюрьма, даже государство... То же самое и с цензурой. Да, мы несколько не испугались необходимости цензурировать даже изящную литературу, ибо под ее флагом, под ее изящной внешностью может быть внедряем яд еще наивной и темной душе огромной массы, ежедневно готовой пошатнуться и отбросить ведущую ее среди пустыни к земле обетованной руку из-за слишком больших испытаний пути»<sup>1\*</sup>.

Изложенная здесь с максимальной откровенностью программа «либерала» Луначарского определила на долгие годы существование и совершенствование аппарата контроля над всей духовной жизнью в советском государстве. Страх перед свободой слова, перед любым проявлением интеллектуальной свободы был и остается краеугольным камнем культурной политики коммунистов от Ленина до Андропова.

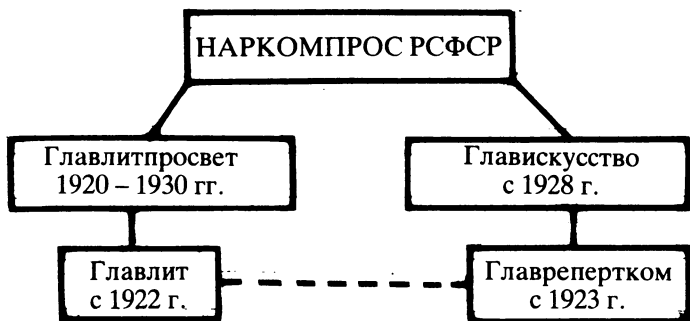
В 20-е годы цензура была еще в целом достаточно либеральной. Это объяснялось и организационной неразберихой, дублированием, нередко откровенным неподчинением местных органов центральным. Цензорами в те годы работали квалифицированные писатели, критики. Так, киносекцией Главреперткома заведовал Павел Бляхин, старый коммунист и автор сценария «Красные дьяволята». В определенной степени существовала и гласность цензуры: еще в 1926–1928 годах Главрепертком выпускал специальный бюллетень, публиковавший списки разрешенных и запрещенных фильмов, спектаклей и т. д. Критики-цензоры печатали рецензии на новые кинокартины, спектакли, эстрадные представления, объясняли причину запрета, указывали допустимые возрастные границы данного произведения<sup>2</sup>.

В конце 20-х годов структура цензуры в СССР выглядела следующим образом (см. схему на след. стр.):

До создания в 1928 году Главискусства Главрепертком подчинялся Главполитпросвету, как и Главлит.

---

\* Примечания даны в конце текста.



Теперь был сделан первый шаг к децентрализации цензуры. Главрепертком получил двойное подчинение – Главлиту и Главискусству. Этот принцип был в дальнейшем положен во главу угла в совершенствовании функций государственного контроля. На местах контроль осуществлялся: в пределах губернии – Гублитом, а в пределах уезда – уоно (уездным отделом народного образования). Главрепертком создал собственную вертикальную структуру политконтролеров на местах<sup>3</sup>.

В 30-е годы, наряду с общим процессом укрепления государственного контроля над всеми областями жизни страны, меняется и лицо цензуры, ужесточаются ее функции, исчезает гласность. Последними документами о цензуре, опубликованными в СССР, были сборники материалов «Действующее законодательство о печати» за 1931 год и «Кинофотопромышленность» за 1936 год<sup>4</sup>. После этой даты никаких публикаций на эту тему не было.

## 2. ЧТО СДЕЛАНО

Западные исследователи и эмигрантские издания время от времени публикуют работы о советской цензу-

ре. Но и сегодня можно согласиться с утверждением журнала «Посев» за 1968 год: «В Главлите есть большая группа цензоров. Но общая структура Главлита неизвестна. Об этом нигде не сообщается. Государственная тайна»<sup>5</sup>.

В послевоенные годы вопросы цензуры в СССР рассматривались в целом ряде политологических книг общего характера, в статьях, опубликованных в журналах «Посев», «Новый журнал», «Проблемс оф Коммюнизм», «Индекс он Сензоршип» и других. Единственная книга, специально посвященная этой теме, вышла в 1973 году, – «Советская цензура»<sup>6</sup>. Это не научное исследование, а стенограмма «круглого стола», состоявшегося в Лондоне в 1969 году. Участники «круглого стола»: Аркадий Белинков, Анатолий Кузнецов, Юрий Демин, Леонид Финкельштейн, Михаил Гольдштейн, Макс Хейворд, Леопольд Лабедз и другие – обсудили широкий круг вопросов, связанных с цензурой в литературе, кино, театре, музыке, науке. Особую ценность книге придают превосходно составленные комментарии и библиография (Мартин Дьюхерст). Естественно, это издание рассматривает положение дел в 50-е и в первой половине 60-х годов.

Другое важное издание, заслуживающее упоминания, – книга профессора Мерла Фейнсода «Смоленск под советской властью».<sup>7</sup> Это исследование анализирует так называемый «смоленский архив» – партийные и государственные документы, попавшие в руки немцев при отступлении красной армии и после войны оказавшиеся в военном архиве США<sup>8</sup>. В числе этих документов были и материалы смоленского областного управления цензуры. Однако в книге Мерла Фейнсода вопросам цензуры уделяется небольшое внимание, документы не воспроизводятся и анализируются достаточно бегло. То же самое можно сказать и о статье М. Фейнсода «Цензура в СССР»<sup>9</sup>.

Это единственный имеющийся на Западе оригина-



нальный комплект цензорских документов, и, хотя они почти пятидесятилетней давности, все же необходимость их более тщательного исследования, на мой взгляд, очевидна.

Проблемам цензуры (прежде всего, в области науки) в 50-е и 60-е годы уделяется немало внимания в книгах Леонида Владимировича (Финкельштейна)<sup>10</sup>.

Из недавних изданий назову исследования Пауля Лендвай «Бюрократия правды»<sup>11</sup>, где автор, в частности, рассказывает забавную историю заместителя начальника второго отдела Главлита Андрея Соколова, занимавшегося цензурированием зарубежных изданий, поступавших в СССР. Вместо того, чтобы, согласно инструкции, уничтожать их, он продавал книги на черном рынке и вел роскошный, по советским понятиям, образ жизни. Автор ссылается на материалы самиздата в связи с закрытым процессом А. Соколова.

Глава о советской цензуре включена в сборник «Контроль над прессой во всем мире» (1982)<sup>12</sup>. Немало материалов о советской цензуре можно найти в таком ценном периодическом издании, как «Индекс он Сензоршип», выходящий в Лондоне<sup>13</sup>.

Я не ставлю здесь своей задачей дать полную библиографию предмета, но должен заметить, что список книг и статей, особенно в 70-е годы, не будет слишком длинным. Сделано в этом отношении еще очень и очень мало.

Интересным и перспективным направлением работы может быть сравнительное изучение советской цензуры в Восточной Германии, Чехословакии<sup>14</sup>, Польше.

В 1977 году стал невозвращенцем краковский цензор Томаш Стшижевский. В том же году лондонское издательство «Анекс» выпустило двухтомное издание – «Черная книга польской цензуры»<sup>15</sup>, – содержащее уникальные материалы и документы, в том числе и полную

«Книгу запретов и рекомендаций», которую в СССР называют «перечнем», или «талмудом».

Хотя структура польской цензуры и ее административные функции существенно отличаются от советской (в Польше цензура централизована – в состав Главного управления прессы, публикаций и зрелищ включен и самостоятельный военный отдел, и отдел зрелищ, радио и телевидения), все же есть и очень много общего, особенно в методике работы, в ведении документации. И это понятно: польские партийные и государственные организации перенимали опыт у «большого брата».

Был также опубликован официальный бюллетень «S» Главного таможенного управления ПНР с перечнем запрещенных изданий. Бюллетень содержит 488 названий запрещенных для ввоза газет, журналов, выпускаемых на Западе, и 23 издательства. Список периодических изданий разделен на несколько групп (строгий контроль, особо строгий контроль и т. д.). Нет сомнения, что подобный бюллетень, имеющийся на советской таможне, включает в несколько раз больше названий.

Немало важных фактов о функционировании цензуры в социалистическом государстве можно почерпнуть, изучая дискуссию о роли цензуры в польской прессе 1980–1981 года. Не случайно профсоюз «Солидарность» среди двадцати одного требования поставил пункт о цензуре под номером три (первым среди политических требований).

Он был сформулирован следующим образом: «Соблюдение свободы слова и печати, гарантированных Конституцией ПНР; недопущение репрессий по отношению к независимым печатным изданиям; обеспечение представителям всех вероисповеданий доступа к средствам массовой информации»<sup>16</sup>.

Правительство согласилось также в трехмесячный срок представить в Сейм проект нового закона о контроле над печатью, публикациями и зрелищами, который включал бы право на обжалование решений орга-

нов цензуры в административном суде, открыл бы доступ прессы и рядовых граждан к официальным документам общественного значения, сделал бы прессу, радио, телевидение выразителем различных мнений и суждений<sup>17</sup>.

Знаменательно, что партия из всех сил боролась именно против этого пункта Гданьских соглашений. Закон о цензуре был принят лишь в августе 1981 года и значительно отличался от первоначальных требований общественности.

### 3. СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

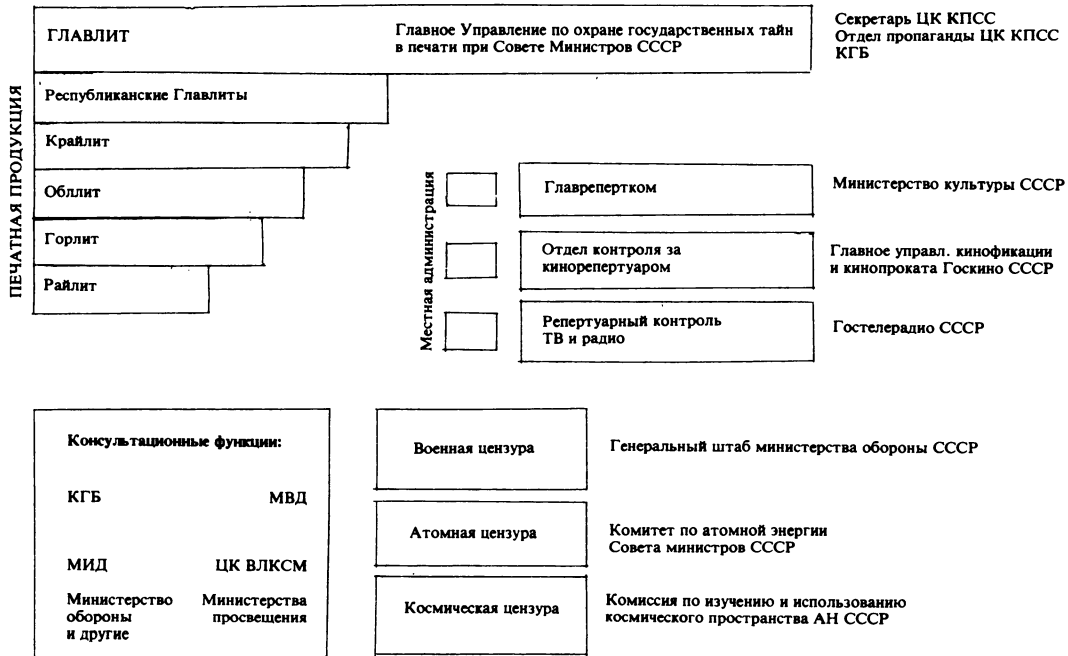
В течение примерно трех десятилетий структура цензуры в СССР оставалась без изменений (Главлит и Главрепертком), повторяя организационные формы царской цензуры<sup>18</sup>. Но в конце 50-х – в начале 60-х годов под влиянием многих факторов (процесс децентрализации, появление новых средств массовой информации, расширение книгопроизводства, возникновение новых научных областей и т. д.) организационная структура цензуры подверглась серьезным изменениям. Из системы Главлита выделился отдел военной цензуры. Из Главреперткома – цензура кино и телевидения. Были созданы также атомная и космическая цензуры.

В настоящее время аппарат цензуры выглядит следующим образом:

*см. схему на следующей странице*

А. Главлит (с 1966 года – Главное Управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР) является головной организацией, осуществляющей контроль над всей печатной продукцией в стране. Имеет разветвленную сеть местных отделов вплоть до района. По неофициальным данным, количество цензоров составляет примерно семьдесят тысяч человек.

## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНЗУРЫ В СССР



За Главлитом оставлено общее руководство всей цензорской службой и, прежде всего, методологическое руководство: публикация «перечней», специальных бюллетеней и приказов для цензоров и ответственных идеологических работников.

Главлит подчинен непосредственно Секретарю ЦК по пропаганде и Отделу пропаганды ЦК КПСС<sup>19</sup>. Главлит теснейшим образом связан с КГБ (один из заместителей начальника управления – генерал КГБ по должности).

Мы очень мало знаем об административной структуре Главлита, но все же на основании косвенных данных, можно попытаться представить ее следующим образом<sup>20</sup>:

1) начальник управления; два (или три) его заместителя;

2) секретариат;

3) отдел печати и агентств: а) сектор газет; б) сектор агентств;

4) отдел неперIODических изданий (книги и журналы): а) сектор научно-технической литературы; б) сектор общественно-политической литературы; в) сектор художественной литературы;

5) координационный отдел (координация деятельности ведомственных цензур);

6) методический отдел (подготовка всей документации – перечни, приказы и т. д.);

7) отдел проверки и контроля за выполнением директив центра;

8) отдел кадров;

9) финансовый отдел;

10) юридический отдел;

11) библиотека;

12) архив;

13) канцелярия.

Конечно, эта структура приблизительна. Весьма возможно, что есть и другие отделы (например, спе-

циальный отдел, курирующий цензуру подчиненных уровней – республиканскую, областную, городскую, районную).

Анализ работы Главлита затруднен из-за отсутствия документации. Существует лишь устное описание «талмуда» и работы цензоров с ним; тем более актуальным остается внимательное изучение материалов «смоленского архива». Ясно, что каждый имеющийся в нашем распоряжении документ должен быть подвергнут тщательному анализу.

Все книги уничтожаются по специальному акту, подписанному в присутствии нескольких лиц. В своей исполнительской деятельности цензура опирается на помощь административных органов МВД.

Известно, что работа газетных и книжно-журнальных цензоров строится по различным принципам. Газетные цензоры обычно сидят в типографии и читают гранки в течение всего времени, пока набирается газета. В крупных книжных издательствах имеется свой цензор, который читает также определенную группу журналов и всю остальную печатную продукцию, подлежащую цензурированию (например, тезисы диссертаций, визитные карточки и т. д.).

Б. Следующей по значению цензорской организацией является Главрепертком – Главное управление по контролю за репертуаром министерства культуры СССР. В ведении Главреперткома находятся театры, цирки, концертная деятельность, грампластинки, музыкальные произведения, предназначенные для общественного исполнения, все виды художественной продукции.

Главрепертком имеет широко развитую структуру местных отделений и инспекторов. Так, группа цензоров работает на Апрелевском заводе грампластинок. Инспекторы цензуры включены во все областные и городские управления и отделы культуры.

В отличие от Главлита, функции Главреперткома не ограничиваются только *разрешительно-запретительными* действиями. Главрепертком облечен также большими *контролирующими* функциями.

Недостаточно разрешить тот или иной спектакль, цирковое или эстрадное представление, необходимо постоянно контролировать соответствие их разрешенному, «залитованному» экземпляру. Поэтому инспекторы, имеющие постоянные места во всех зрелищных предприятиях, приходят на рядовые спектакли, цирковые и эстрадные представления, музыкальные исполнения, чтобы осуществлять текущий контроль.

Как уже сказано, Главрепертком, как и другие ведомственные цензуры, подлежит контролю со стороны Главлита. Но, в соответствии с прямой ведомственной подчиненностью, Главрепертком работает рука об руку с другими управлениями министерства культуры СССР, РСФСР и других республик. Причем деятельность Главреперткома характеризуется достаточной степенью децентрализации: зрелища на местах контролируются местными органами цензуры. «Москва» вмешивается лишь в спорных, сложных случаях.

В. В отличие от «главреперткомовской», киноцензура характеризуется гораздо большей степенью централизации, если иметь в виду разрешительно-запретительные функции.

*Отдел контроля за кинорепертуаром* находится в административном подчинении Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино СССР. Причем *абсолютно все* фильмы цензурятся в отделе контроля за кинорепертуаром, находящемся на киностудии «Мосфильм».

Основной документ цензуры – это «разрешительное удостоверение», которое следует за фильмом на всем пути его «жизни» на экране: начиная от печати копий и до демонстрации в кинотеатре. (См. документ на след. стр.)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО КИНЕМАТОГРАФИИ  
(ГОСКИНО СССР)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ И КИНОПРОКАТА  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗА КИНОРЕПЕРТУАРОМ

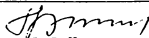
„18.. ноября 1980 г.

РАЗРЕШЕНИЕ № 411-Р80

Отдел контроля за кинорепертуаром разрешает для показа в пределах СССР  
рекламный кинофильм "ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ"

производство: Р/Б "Эстонский рекламфильм"  
Вариант: цветной  
Частей: I Метров: 39, I  
Заказчик: "Г. Вздохторгреклама"

Начальник отдела контроля  
за кинорепертуаром

  
О. О. Иванов

Тип. «Мосфильм», 82-10 000

Как и у Главреперткома, у киноцензуры есть разветвленная сеть инспекторов на местах (они находятся в системе управлений и отделов кинофикации), осуществляющих контроль за демонстрацией фильмов, изъятие запрещенных лент и прочее.

Г. Телевизионная и радиоцензура находится в системе Гостелерадио СССР. Каждая телевизионная студия имеет своих цензоров, так же, как и радио. Но, конечно, вся основная продукция, идущая через Всесоюзное радио и Центральное телевидение, проходит цен-



зуру в Москве. Здесь можно говорить о ведомственной цензуре, сочетающей местный и централизованный принципы.

В соответствии с особенностями работы телевидения и радиовещания, контроль здесь разделяется на передачи эфирные и фондовые. Эфирные передачи цензурятся по принципу газетной цензуры. А некоторые из них вообще не проходят цензуру (например, «Сегодня в мире», «Время»). Здесь основная контролирующая роль остается за ведущим, автором передачи и выпускающим редактором, который в любую секунду может нажать кнопку и прервать трансляцию.

Фондовые передачи проходят обычную цензуру, которую можно сравнить с книжной или журнальной. Например, подготовленный – и утвержденный цензором – фильм может потом ждать эфира несколько месяцев, а то и лет (таких тоже немало). Перед выпуском в эфир этот фильм или спектакль просматривает редактор, ответственный за выпуск всей дневной программы. Этот политредактор наделен неограниченными полномочиями: без всякой консультации с руководителями Комитета он может выбросить любую часть из программы или, что бывает гораздо чаще, вырезать какую-то сцену, монолог – словом, всё, что, как ему кажется, может прозвучать идеологически невыдержанно, именно сегодня может вызвать ненужные аллюзии.

Таким образом, здесь мы встречаемся с примером смыкания цензорского аппарата с редакторским, с аппаратом идеологического контроля.

Следующую группу представляют цензуры, которые можно было бы назвать *централизованно-ведомственными*.

Д. Военная цензура, выделившаяся из состава Главлита в 1966 году и входящая в структуру Генерального штаба министерства обороны СССР (наряду с Главным разведывательным управлением).

Военная цензура осуществляет полный контроль над издательской и зрелищной деятельностью армейских подразделений. Военные театры, демонстрация фильмов в военных частях, исполнение песен, репертуар военных оркестров и ансамблей – все это прерогатива военной цензуры.

Другая сторона деятельности военной цензуры носит межведомственный характер: газетно-журнальные статьи, книги, фильмы, радио- и телевизионная продукция, спектакли и прочее, касающееся военной тематики (включая историю гражданской и Второй мировой войн) подлежат предварительной цензуре советской армии. Без штампа военной цензуры произведение не получит разрешения Главлита или ведомственной цензуры.

Во всех публикациях о цензуре отмечается четкая работа военной цензуры и ее относительно либеральный характер, находящийся в разительном противоречии с консервативной позицией Главного политического управления. Это нередко приводит к конфликтам ведомств (особенно Госкино) с ПУРом. Так, фильм режиссера Чухрая «Трясина», выпущенный на экран, был затем изъят из проката под давлением ПУРа, а потом вновь выпущен в прокат, когда Госкино заручилось поддержкой ЦК партии.

Е. К этой же группе можно отнести *атомную цензуру*, находящуюся в ведении Комитета по атомной энергии Совета министров СССР, и *космическую цензуру*, включенную в систему Комиссии по исследованию и использованию космического пространства Академии Наук СССР<sup>24</sup>.

#### 4. НОВАЯ СИТУАЦИЯ

Итак, мы насчитали семь самостоятельных цензорских подразделений. Первое, что обращает внимание в

этой структуре, – это ее децентрализованность и ведомственный характер. Случаен ли этот процесс? Думаю, что далеко не случаен. Свидетельствует ли он об ослаблении цензорского контроля, как любая децентрализация в тоталитарном государстве? И на этот вопрос следует ответить отрицательно. Децентрализация стала необходима по ряду причин.

Во-первых, объем запретного все время увеличивается. То, что в 50-е или даже 60-е годы было разрешено показывать обществу, теперь оказалось под запретом. Разве может, например, цензор общего профиля ориентироваться в том, что можно, а чего нельзя говорить о космических программах или атомных испытаниях? То же самое относится и к военным проблемам. У цензоров Главлита есть только самые общие сведения на этот счет (список так называемых «почтовых ящиков», то есть оборонных предприятий и т. д.). СССР выпускает 150 художественных картин в год, не считая примерно тысячи документальных, мультипликационных, рекламных фильмов! Конечно, для контроля за таким количеством кинокартин необходим самостоятельный аппарат, достаточно квалифицированный именно в этой области.

Вторая причина заключается в гораздо большей близости цензуры к своему ведомственному аппарату, возможность решать спорные проблемы без шума и без вынесения их в высшие инстанции. На практике так это и происходит по большей мере.

Наконец, став придатком своего ведомства, цензура как бы растворилась, исчезла из поля зрения наблюдателей. Даже специализированные справочники на Западе не упоминают Главного управления по контролю за репертуаром министерства культуры СССР, не говоря уже о скромном отделе контроля за кинорепертуаром Главного управления кинофикации и кинопроката Госкино ССР и других тому подобных подразделений.

Стремительный процесс децентрализации и появления новых видов цензуры, начавшийся в 60-е годы, сопровождался еще одним новшеством: существенно изменился качественный состав цензорских кадров. Теперь большинство цензоров – молодые и среднего возраста образованные люди. Во всяком случае, так обстоит дело в центральных цензорских подразделениях. Свои кадры цензура черпает среди выпускников педагогических, исторических, философских факультетов. Конечно, все они члены партии. Работа в цензуре привлекает несколько большей зарплатой, некоторыми привилегиями. Но работа эта отнюдь не простая: целый день в небольшой, заваленной верстками и корректурами комнате он читает и сверяет с оригиналом, проверяет по «талмуду» все подозрительные слова и фразы. Вызывает редакторов в случае необходимости согласовать те или иные факты...

Каждую книгу или номер журнала цензор читает дважды: первый раз от подписывает корректуру «в печать», второй раз он дает разрешение «на выпуск в свет», предварительно проверив идентичность двух экземпляров.

В большинстве случаев отношения с цензорами складываются хорошие, даже дружеские. Так, например, цензор, долгие годы работавший в издательстве «Искусство», был по профессии историк. И он нередко помогал редакторам советами, если материал касался вопросов истории. Он делал это не как цензор, а как специалист-историк. В случае, если он обнаруживал идеологическую ошибку, он вызывал редактора и, как правило, необходимые изменения быстро вносились в текст. Но это не мешало ему, в случае необходимости, сообщать своему руководству о более серьезных ошибках. И тогда кто-то из сотрудников получал выговор или даже увольнялся с работы. Конечно, административные меры принимались не Главлитом, а отделом ЦК или

ведомственным начальством (Комитет по печати, Госкино, Гостелерадио, Министерство культуры).

К другому цензору – женщине, которая сидела в издательстве «Советский художник» и контролировала журналы «Искусство кино» и «Советский экран», где я работал, – я ездил домой, покупать дубленку, которую она привезла из Болгарии... Конечно, были и менее дружественные, более придирчивые цензоры. Но в целом сфера и объем вмешательства цензоров в рукопись книги, готовый фильм или принимаемый спектакль значительно сузились. О причинах такой ситуации мы поговорим ниже. А сейчас следует остановиться еще на одном спорном вопросе.

## 5. ЕЩЕ ОДНА ЦЕНзуРА?

Большинство авторов, пишущих о советской цензуре, называют КГБ в качестве одного из главных орудий советской цензуры. Нет сомнения во влиянии этой организации на литературу и искусство. Однако называть деятельность идеологического отдела КГБ или соответствующих отделов МВД цензурой, на мой взгляд, неверно.

К цензуре относятся те организации, которые, на основании законодательных решений, имеют право официально разрешать или запрещать произведения литературы и искусства. В случае разрешения они ставят официальный штамп цензуры или выдают официальный документ (разрешительное удостоверение).

Деятельность КГБ или МВД в этой сфере нельзя отнести к цензорской хотя бы потому, что эти организации как огня боятся гласности и какой-либо документации их деятельности. И КГБ и МВД предпочитают форму устной консультации, советов, предварительной работы с авторами и т. д. Заместитель министра внут-

ренных дел Ю. Чурбанов писал в журнале «Искусство кино», что коллегии Госкино и МВД приняли решение о предварительном рецензировании киносценариев в МВД, а также о назначении консультантов на фильмы. Это, однако, не кажется чиновнику достаточным. «К сожалению, – жалуется Ю. Чурбанов, – пока еще деловые связи с авторами сценариев у нас недостаточно прочны... Сценарист, как правило, трудится один, не прибегая в ходе работы к нашей помощи. С его производением МВД СССР знакомится в уже законченном виде, после чего нередко начинается довольно долгий и болезненный процесс устранения неточностей»<sup>25</sup>.

Таковы сегодня методы работы КГБ и МВД: устная консультация, бесконечные переделки. Ни одно произведение литературы и искусства, в которых затрагиваются проблемы, связанные с этими организациями, не обходятся без долгого и тщательного консультирования. И запрет осуществляется ведомствами на основании устного или телефонного «совета» с Лубянки или улицы Огарева.

Но точно так же обстоит дело с другими советскими и партийными организациями: если книга или фильм связаны с внешней политикой – они консультируются в министерстве иностранных дел. Если речь идет о молодежи, привлекаются ЦК комсомола и министерство просвещения... Такая консультация в 99% случаев предохраняет фильм, книгу, пьесу от каких бы то ни было «ошибок» и исключает возражения цензуры.

*Мне представляется методологически необходимым четко разделить цензуру и идеологический контроль, не прибегая к таким терминам, как официальная и неофициальная цензура, формальная и неформальная цензура. Мы должны каждый раз четко понимать, что послужило причиной запрета того или иного произведения или исправлений, искажающих смысл книги, фильма, пьесы (спектакля).*

Идеологический контроль я бы предложил разделить на две группы:

а) партийные и государственные аппаратчики – секретарь ЦК по идеологии, отделы пропаганды и культуры ЦК, руководящие работники издательств, киностудий, театров, творческих союзов; идеологические работники различных ведомств, оказывающие давление на деятельность творческих работников (военные, комсомол, КГБ, МВД и другие); партийная номенклатура обкомов, горкомов и прочих низовых организаций; соответствующие структуры во всех пятнадцати союзных республиках;

б) рядовые сотрудники идеологических учреждений (редакторы издательств, киностудий, комитетов, заведующие литературной частью театров и т. д.).

Понять роль и функции этого огромного идеологически вымуштрованного аппарата значит понять новую ситуацию, возникшую за последние двадцать лет, и верно оценить реальную, а не воображаемую сферу деятельности цензуры в этих условиях.

## 6. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЦЕНзуРА В СССР?

Талантливый американский исследователь Алекс Инкелес еще в 1950 году писал, что «Главлит всегда занимал второстепенную позицию. В газетах и журналах, в меньшей степени в издательствах, официальная цензура занималась больше технической работой»<sup>26</sup>. Далее он приводит высказывание советского комментатора из журнала «Партийное строительство»: «Успех большевистской печати решают кадры редакторов»<sup>27</sup>. В 40-е и 50-е годы это было еще задачей будущего, но основное направление подмечено абсолютно верно. Тот факт, что цензура передала значительную часть своих функций редакторскому аппарату, отметила в своих мемуарах Надежда Мандельштам: «У нас ведь не цен-

зура выхолащивает книгу – ей принадлежат лишь последние штрихи, а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку»<sup>28</sup>.

Между тем, во многих статьях и исследованиях происходит смешение этих понятий, и вмешательство редактора выдается за деятельность цензора. Этим недостатком грешат и многочисленные примеры, приводимые в книге «Советская цензура», и ряд статей в журнале «Индекс он Сензоршип». Приведу также любопытное заявление Валентина Распутина, сделанное им шведской журналистке в 1975 году: «Цензура – это ведь как на базаре: чем больше запросишь, тем меньше скинешь. Я отлично знаю, как редактируются книги. Я соглашаюсь с редактором в чем-то, но когда он говорит: «Это тоже надо убрать», – то я могу сказать, что я, мол, согласился вычеркнуть предыдущий кусок, а это я хочу оставить, – так обычно и получается»<sup>29</sup>. Здесь особенно очевидно смешение (может быть, намеренное) цензуры и редактуры.

Не в силах разобраться во всей этой путанице, Василий Аксенов предложил ввести специальный термин «совценз» (sovscens), чтобы объединить в нем все виды контроля над интеллектуальной жизнью СССР. Цензуру он считает принадлежностью авторитарного общества, а «совценз» характеризует деятельность общества тоталитарного!

Все же не думаю, что неологизм Василия Аксенова поможет разобраться в данной ситуации. Мы уже говорили, что цензура претерпела ряд изменений (ведомственный характер, перемены в кадровом составе, увеличение объема запретного материала и т. д.).

Пожалуй, более, чем внутренние перемены в структуре цензуры, важны перемены, происшедшие вне ее, но тесно с нею связанные. Я имею в виду, что в 60-е и 70-е годы возник гигантский редакторский аппарат, взявший на себя многие функции, прежде принадлежав-



шие исключительно цензуре. В московском издательстве «Искусство» работает примерно восемьдесят редакторов, не считая руководящего состава. На каждого редактора приходится 4-5 книг в год. Каждую рукопись читают (и не один раз) ведущий редактор, заведующий редакцией, заместитель главного редактора и главный редактор. В более сложных случаях рукопись читает и директор, она консультируется в Комитете по печати и в отделе ЦК. Такое же положение существует и в журналах. Редакторы – как правило, специалисты в своей области – должны обладать несравненно большей информацией, чем цензоры. Кто из писателей или деятелей культуры эмигрировал на Запад, подписал неуютное властям заявление? Какой фильм натолкнулся на сложности и, вероятно, будет положен на полку? Кто из западных писателей стал неуютным и не может быть упомянут в книге? Все это должен знать редактор, эти сведения не скоро появятся в «талмудах» цензоров. И в случае, если такие идеологические ошибки появляются на свет, наказание несет исключительно редактор книги, фильма, спектакля...

Приведу пример из собственной редакторской практики: в ежегодном сборнике «Экран», выпускаемом издательством «Искусство», были помещены материалы о фильмах «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и «Асино счастье» Андрея Кончаловского. Книга получила разрешение цензуры и была отпечатана. В этот момент директор издательства узнал, что оба эти фильма встретили серьезные возражения в ЦК и, возможно, не будут выпущены на экран. По распоряжению директора из готовой книги были выдраны три статьи и заменены другими. Содержание же книги не стали перепечатывать (убытки и так оказались очень велики), а лишь «забили» старые заголовки типографским способом и вставили новые. Это редкий случай в советской издательской практике (см. «Экран-68-69», М., «Искусство», 1969, стр. 317). Суровое наказание понесли ре-

И. Драч. Когда художник щедр	88
В. Комаров. Миниатюра	90
М. Кислицкая. Не моя, талант	91
Е. Громов. Пафос профессии	94



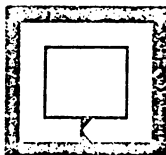
### Полемика

К. Щербаков. Только правда?	95
Н. Ильина. Я поверила...	101
Б. Галанов. Пропал смех	104
М. Долинский, С. Черток. Смех и печаль	107
Спор о фильме «Бегущий с волнами»	111



### Мир без игры

Ю. Герштейн. Слово о родине	118
В. Напалков. «Ташкент, з.м.легрессия»	121
В. Комов. Я говорю абсолютно серьезно...	122
А. Свободин. И потом, и кровью!	125
М. Долинский, С. Черток. И должен ни одной дольбой не отступать от лица»	127
Н. Колесникова. Удачное сазовство	130



### Размышления и обзоры

Ан. Вартаков. История, события, характеры	131
В. Ревич. Соратники Зорге	136
М. Блейман. Опять экранизации?	145
И. Левшина. Режиссура или антирежиссура?	148
А. Мачерет. Последний фильм Наана Пиррера	150

дактор книги и заведующая редакцией, а цензор, выпустивший книгу в свет, остался в стороне.

Когда прошел ложный слух, что выдающийся ученый Юрий Лотман собирается эмигрировать на Запад, его статьи перестали появляться в советской печати.

Естественно, этих сведений не было и не могло быть в цензорских «перечнях», но об этом знали редакторы изданий. Неофициальная консультация с вышестоящими организациями стала самой важной и результативной формой идеологической работы. Как результат – резко сократилось количество формальных цензорских запретов.

В отдельных случаях цензура полностью заменяется редактурой. Я уже упоминал о передаче «Сегодня в мире», идущей ежедневно по телевидению. Еще один пример: ежемесячный литературный журнал, издающийся в Москве на идиш, «Советише Хеймланд», не проходит цензуру. Его редактор Арон Вергелис выполняет по совместительству и функции цензора. Конечно, это уникальный случай, объясняемый тем, что в аппарате Главлита нет людей, знающих идиш! Но в целом процесс идет в направлении постепенного освобождения от цензуры некоторых видов издательской деятельности. Так, не проходят цензуры переводные книги, публикации издательства «Русский язык», идущие на экспорт, газеты, журналы и книги, предназначенные для зарубежного читателя. Более того, отдельные издания русских классиков и ряд книг (вторые, третьи издания) советских писателей также не имеют характерного знака цензора в выходных данных<sup>31</sup>. Между тем, в некоторых статьях по вопросу о цензуре все еще бытуют устаревшие представления о ней. В статье «Писатель и цензура в СССР» Роман Гуль пишет: «Сейчас в СССР предварительная цензура требуется для всех без исключения печатных изданий, какого бы характера и объема они ни были...»<sup>32</sup>. Как видим, действительность стала более сложной.

Значит ли все сказанное, что цензура в СССР прекратила существование или находится на пути к этому? Конечно, нет! Цензура существует, но формы ее деятельности меняются. Передавая часть своих запрещающих функций редакторскому идеологическому аппарату, цензура усиливает исполнительские, контролирующие задачи. Например, запрещенная книга, фильм или грампластинка изымаются из обращения по всей стране в течение одного дня. Это стало возможным благодаря разветвленной и вымуштрованной сети местных цензоров-инспекторов.

Конечно, сегодня советская цензура – уже не *tabula rasa* для независимых исследователей, но вместе с тем наши знания в этой области еще очень и очень незначительны. Вряд ли надо говорить о значении исследования этой области идеологической жизни СССР: цензура является одним из самых ярких и осязаемых проявлений тоталитарного характера коммунистической формы правления. Какие задачи стоят сегодня перед исследователем этой темы?

- Изучить все возможные документальные материалы цензуры (в том числе и «смоленского архива»).

- Провести социологическое изучение вопроса с помощью интервьюирования бывших советских журналистов, писателей, кинематографистов и т. д.

- Решить ряд методологических вопросов (цензура и идеологический контроль, формальная и неформальная цензура и т. д.).

- Анализировать деятельность низового аппарата (цензоров).

- Уточнить структуру руководящих звеньев цензуры (прежде всего, Главлита).

- Более активно изучать те виды цензуры, о которых мы знаем меньше всего (теле- и радиоцензура, атомная цензура).

- Общими усилиями устранять легенды и неточности о деятельности современной цензуры в СССР.

– Вести сравнительный анализ методов работы советской цензуры и цензуры в странах-сателлитах.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. В. Луначарский. Свобода книги и революция. – «Печать и революция», 1921, № 1, стр. 6-8.

2. «Репертуарный бюллетень Главискусства» за 1926-1928 годы. Полный комплект этого издания имеется в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

3. См. «Киносправочник за 1926 год». М., 1926. Имеется в библиотеке Музея современного искусства (Нью-Йорк).

4. Л. Г. Фогелевич. Действующее законодательство о печати. Систематический сборник. М., «Сов. законодательство», 1931. Кинофотопромышленность (Систематизированный сборник законодательных постановлений и распоряжений). М., Кинофотоиздат, 1936.

5. Главлит. – «Посев», 1968, № 8, стр. 50-53.

6. The Soviet Censorship. Ed. by Martin Dewhirst and Robert Farrell. New Jersey, The Scarcrew Press, 1973.

7. Merle Feinsod. Smolensk under Soviet Rule. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1958.

8. Архив находится в настоящее время в Army Record Center, Alexandria, Virginia. Среди документов, касающихся цензуры, имеются следующие:

а) «Бюллетень Главлита РСФСР и отдела военной цензуры» № 8 за 1934 г.;

б) секретные инструкции цензорскому аппарату, подписанные Главным цензором Западной области, за 1934 год;

в) список запрещенных книг и авторов;

г) копии директив Главлита органам печати.

9. Merle Feinsod. Censorship in the USSR. A Documentary Record. – Problems of Communism. Vol. V, 1956, Nr 2 (march-april), p. 12-19.

10. Л. Владимиров. Россия без прикрас и умолчаний. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1969. Л. Владимиров. Советский космический блеф. Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1973.

11. Paul Lendvai. The Bureaucracy of the Truth. Boulder, Westview Press, 1981. Лендвай ссылается также на: Nils M. Udgaard. Der ratlose Riese. Alltage in der Sowjetunion. Hamburg, 1979, S. 123-124.

12. Press Control around the World. Ed. by Jane Surry & Joan Dassin. New York, Praeger, 1982.

13. Укажу только несколько материалов журнала «Index on Censorship»: Janis Sapiets. Extolling the Party (1982, Nr 5, p. 14-15); Jeanne Vronskaya. Down the drain (1981, Nr 4, p. 12-15); Anna Tamarchenko. Theatre censorship (1980, Nr 4, p. 23-28).

14. См.: Ян Влох. За кулисами. – «Посев», 1968, №8, стр. 53. Dušan Havlíček. Czech interlude. The Rise and fall of Censorship. – «Index on Censorship», 1982, Nr 5, p. 19. См. также: Paul Lendvai, op. cit. Nr. 96-138.

15. Czarna księga cenzury polskiej. London, Aneks, v. 1-1977; v. II-1978. См. также: «Index on Censorship», 1978, Nr 4.

16. Цит. по: «Солидарность. О рабочем движении в Польше и о рабочем движении в России». Франкфурт-на-Майне, «Посев», 1980, стр. 120.

17. Там же, стр. 121.

18. Например, пьеса Н. Гоголя «Ревизор» получила сначала одобрение цензуры зрелищ, а затем прошла цензуру для печатных публикаций. Цензура зрелищ была тогда подчинена непосредственно III жандармскому управлению, что свидетельствовало об особой опасности зрелищ по сравнению с книгой. Сегодня действует тот же принцип: то, что можно напечатать, нельзя поставить на сцене; а то, что разрешается играть на сцене, запрещается снимать для кино или, тем более, для телевидения.

19. Подчинение Совету министров СССР носит лишь финансово-административный характер.

20. Directory of Soviet Officials-Nationals Organisation. A Reference Aid (July, 30, 1982) 1982. По данным этого издания, Главлит делится на восемь «директоратов», видимо, по аналогии с КГБ и МВД. Но «директорат» следует переводить как управление, а Главлит сам по себе является управлением, так что его структура, скорее всего, включает отделы и секторы. Тот же справочник не дает никаких сведений ни о военной цензуре, ни о Главреперткоме Министерства Культуры.

21. По данным вышеупомянутого справочника (июль 1982 года), Главлитом по-прежнему руководит П. К. Романов. Вряд ли это верно. Издание грешит ошибками: так, например, в числе руководителей «третьего директората» назван осужденный несколько лет назад Андрей Соколов!

22. Аналогичный документ опубликован в 1971 году журналом «Наша страна» (Тель-Авив) за 19 августа. Там речь шла об изъятии книг эмигрировавших в Израиль писателей Р. Баумволь, И. Келлер и З. Телесина.

23. См. интервью с ведущим передачи «Сегодня в мире» Владимиром Дунаевым в журнале «Time» (6. 23. 80), где он говорит об отсутствии цензуры его передачи, идущей в эфир «с колес».

24. О деятельности космической цензуры, кроме упоминавшейся книги Л. Владимирова «Советский космический блеф», можно прочитать в книге: J. Oberg. Red Star in Orbit. New York, Random House. 1981.

25. См. «Искусство кино», 1982, № 7, стр. 19. О деятельности КГБ и МВД в кино см. также в моей статье «Фарцовщик-марксист» – «Новое русское слово», 1982, 12 марта.

26. Alex Inkeles. *Public Opinion in Soviet Russia*. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1975 (6th print), p. 186.

27. «Партийное строительство», 1940, № 9, стр. 40.

28. Надежда Мандельштам. Вторая книга. УМСА-Press, 1972, стр. 133.

29. Цит. по тексту интервью со шведской журналисткой Дисой Хостад, напечатанному в газ. «Русская мысль» 1982, 17 июня (№ 3417).

30. Vasily Aksyonov. *Looking for Colour*. – «Index on Censorship», 1982, Nr 3-4.

31. Цензорский знак отсутствует на изданных недавно сочинениях Достоевского, Ильфа и Петрова, на книге В. Астафьева «Царь-рыба» и даже на «Учебнике военного перевода», вышедшем в Воениздате.

32. «Новый журнал», 1972, № 109, стр. 242.

ГОЛОВСКОЙ Валерий Семенович – родился в 1938 г. в Москве. Закончил Институт кинематографии, работал в течение 15 лет в качестве редактора в изд-ве «Искусство», журналах «Искусство кино», «Советский экран». Писал по вопросам советского, польского и западного кино. В США с 1981 года. Публикуется в русскоязычных и американских изданиях – «Обозрение», «Новое русское слово», «Russia», «Soviet Union», «Russian Language Journal» и др. Преполагает в Квинс-колледже, занимается научной работой.

## ПАМЯТИ БОРИСА СУВАРИНА

1 ноября в Париже скончался наш друг, наш постоянный автор Борис Суварин.

О Суварине кто-то однажды сказал: «Большевик – в течение пяти лет, антикоммунист – в течение шестидесяти...» Один из ведущих деятелей первых лет Коминтерна, основатель французской компартии, Суварин изнутри – за короткое время – понял железную логику того, что многие десятилетия спустя стало называться стыдливым термином «реальный социализм». Реалист по глубочайшему ясному уму, идеалист по бескомпромиссной этике, Борис Суварин не просто отошел от международного коммунистического движения – он посвятил всю жизнь серьезнейшему, документированному разоблачению его. Суваринский «Сталин», написанный в 1935 году, и до сих пор остается лучшей биографией ленинского наследника – готовя в 70-е годы новое издание, автор должен был лишь продолжить и завершить, но не пересмотреть историю. Как никто другой, Борис Суварин знал факты и, как никто другой, умел заставить их заговорить, обнажить то, что за ними скрывалось.

Основанные Борисом Сувариним французские журналы «Социальная критика», «Общественный договор», поныне существующий «Восток – Запад» остаются неистощимым источником для любого исследователя красного тоталитаризма.

Читатели «Континента» помнят печатавшиеся у нас статьи Бориса Суварина и, мы надеемся, вместе с нами разделяют скорбь утраты.

*КОНТИНЕНТ*



# Восточноевропейский диалог

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Александр Х а х у л и н

## ВСТРЕЧИ С АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧЕМ

Украинская литература понесла тяжелую утрату. Умер писатель Антоненко-Давидович. Вечно гонимый, вечно преследуемый, он не успел поведать миру о тяжелой доле своей. Ему не дали этого сделать.

В этой небольшой статье я хочу рассказать о своих встречах с Борисом Дмитриевичем.

### I

Рассвет еще чуть брезжил, когда заспанный вахтер колонны № 507 Востоклага, входящего в управление строительства № 500, Абдурахманов вышел из проходной с тяжелым, на длинной рукоятке, молотком в руках. Он несколько раз ударил в огромный кусок рельса, подвешенный на сооружение (столб с консолью), похожее на виселицу. В тени, отбрасываемой тенью вахты, и в серо-желтом утреннем тумане, закрывавшем его до половины, рельс был удивительно похож на только что повешенного человека, тело которого еще не умерло, жило и сопротивлялось насильственной смерти, судорожно и конвульсивно билось, не желая прощаться с тем, что дано ему, как и всякому другому живому существу, только один раз.

Глухой звон от рельса поплыл медленно, словно рождался он не на открытом воздухе, а в каком-то заточении, наполненном чем-то вязким и клейким, тормозящим распространение звука. Однако он был услышан в каждом бараке и в каждой секции. И живущие в этих

длинных приземисто неуклюжих сооружениях для жилья люди словно ждали этого звона, прорывающегося к ним в крепко зарешеченные квадратные окна, как нечто такое, что хуже всего на белом свете.

Сразу же из открывающихся с глухими ударами дверей барачков полились в заключенный с двух сторон и сверху высокий вольер перед двойными деревянными воротами, на века окованными ломовым железом, потекли черные живые ручейки, сливаясь в вольере в один широкий поток. Люди, маленькие частички этого большого потока, тихонько перешептывались, разбирались на ходу по пять, для того чтобы тем, кого они так ненавидели, было легче считать их. Ближе к воротам поток разрезался на черные, замершие в ожидании квадраты-бригады. А из-за ворот, с вольной их стороны, уже слышалось топанье солдатских сапог, похожее на хлопанье при закрывании крышек многих погребов.

– Ух! Ух! Ух!

И глухо и простуженно звучал голос ротного:

– Рязь! дьвя! Тр-ри! Рязь! Дьвя! Тр-ри!

Когда ворота тяжело закачались и, лязгнув массивными железными петлями, открылись, то первой против их ярко освещенной в темноте пасти оказалась бригада Бакума, широкого в костях и довольно толстого запорожца, с традиционно опущенными вниз мощными усами. Никто никогда не видел этого человека улыбающимся. Он вечно на кого-то дулся, ворчал и всегда что-то недопонимал. Выражение лица его было таким, что казалось: он до самого крайнего предела напрягает свой мозг и никак не может понять того, что хочет и что ему абсолютно необходимо понять. В то же время в отношениях с начальством он был послушен, исполнитель и дисциплинирован, и оно – начальство – считало его самым примерным бригадиром на колонне.

Строил свою бригаду для развода Бакум всегда ранее других, и, что особенно отличало его от других и что особенно нравилось начальству, строил он бригаду

по ранжиру. Прибывшего вчера и записанного в его бригаду новенького высокого роста он поставил в первую шеренгу и справа. Новенький был худ, бледен и до того тонок в поясице, что, принимая его вчера в бригаду и оценивая оглядывая, чтобы решить, какую ему дать работу, Бакум недобро улыбнулся:

– Да ведь тебя, хворостина ты стоеросовая, можно соплей перешибить!

Смешного в сказанном ничего не было, но Бакум любил, чтобы его шутки и остроты понимались бригадой, и потому бригадники громко захохотали на эту злую шутку бригадира.

С первого же раза Бакум проникся неуважением к новенькому за его никчемность, слабость и ненужность в бригаде. Особенно не нравились ему руки новенького, тонкие, длинные и с такими костлявыми пальцами, что лопату или кирку и тем более лом в таких руках никак не удержать.

Не понравилось Бакуму и то, что у новенького две фамилии, а это в лагере плохой признак. Но на блатного или на беглеца двухфамильный похож не был.

– Тачку будешь катать, – сказал ему Бакум после тщательного осмотра и продумывания, прикидывания в уме, – это совсем не тяжело, не то что ломом или киркой орудовать.

Еще больше, чем Бакуму, не понравился вновь прибывший оперуполномоченному оперчекгруппы Джабаеву, всегда присутствующему на разводе. Заподозрил что-то в нем и вахтер, когда первым вызвал по карточке.

– Антоненко... Давидович!

Произнеся «Антоненко», вахтер запнулся и слово «Давидович» сказал после довольно длительной паузы. Он тщательно, более тщательно, чем вчера Бакум, оглядел новенького с головы до ног. А новенький, как только назвали его фамилию, заученно, как робот, сделал несколько шагов за ворота и остановился в скреще-

нии двух кинжально острых ослепительных полос от прожекторов. Он вспыхнул в этом скрещении, как загорелся.

– А ну-ка, дай-ка, дай-ка! – обратился к вахтеру стоящий позади его Джабаев и взял из его рук карточку новенького. В кожаной тужурке, кожаных галифе, в сапогах с высокими прямыми голенищами, сшитыми подопотопному с козырьками над коленками, в свете прожекторов он так ослепительно блестел, что на него больно было смотреть. Одежда из кожи была только у Джабаева, и потому за ним прочно утвердилась кличка «Кожаный». Повертев в руках карточку, Кожаный подошел вплотную к новенькому и спросил:

– Двухфамильный, значит?

Тот молча кивнул головой, не понимая, почему всем не нравится его двойная фамилия. Он писатель по рождению Антоненко, жена его киевская артистка Давидович. Когда они поженились, оба стали Антоненко-Давидовичами. Что в этом можно усмотреть плохого? Кажется, ничего. Но плохое усматривалось.

– Сколько раз бегал? – строго спросил Кожаный, перекладывая из руки в руку карточку.

– Нисколько и ниоткуда я не бегал, – просто и естественно ответил Антоненко-Давидович.

– А почему две фамилии носишь? – снова спросил Кожаный и, не дожидаясь ответа – ему все уже было ясно, – крикнул в сторону внимательно слушавших этот разговор солдат: – Кто начальник конвоя?

Выбежавшему из строя и ставшему навытяжку ефрейтору, туго перепоясанному над самым крестцом зеленым брезентовым ремнем, он сказал, чеканя каждое слово:

– Во все глаза гляди за ним! Это беглец! Король тайги! Ему лесные тропы, как наезженная дорога!

И как-то уж очень независимым, почти генеральским движением повернулся к вахтеру, протянул карточку: – Возьми, вахтер!

В голосе его так и кричало самодовольство жалкого пигмея, возомнившего себя Гулливером.

## II

Прежний каталь, которого сменил Антоненко-Давидович, был переведен Бакумом на разработку грунта и погрузку его на тачки. Обиженный за это на новенького, хотя тот ни в чем не был виноват, он грузил его тачки с перекосом, то есть на одну сторону накладывал больше грунта, чем на вторую. Тачка от этого валилась и уходила вбок, ее трудно было везти. А трап, перекинутый по козлам через глубокую выемку, был шириной в одну доску, и толщина ее была меньше, чем полагалось. Такой трап дрожал, вибрировал, и даже опытному каталю невозможно было провезти по нему перекошенную тачку, а в руках Антоненко-Давидовича она оказалась впервые в жизни. На самой середине трапа тачка вырвалась из его рук и загремела на дно выемки. Потеряв равновесие, полетел за ней и неопытный каталь. Он крепко ударился боком, а потом и головой о чугунное колесо тачки.

Через день «короля тайги» привезли в лагерный лазарет. Его поместили в ту самую палату, в которой лежал я, на спаренную с моей койку. Это была моя первая встреча с Борисом Дмитриевичем, она была самой долгой. После нашего выздоровления сердобольная начальница лазарета Зинаида Васильевна Жданович, узнав, что Борис Дмитриевич уже признанный писатель, а я его начинающий коллега – до ареста я напечатал три рассказа, – оставила работать в лазарете и его и меня. Его фельдшером, а меня строительным десятником. Нас и поместили вместе, в небольшой комнатухе с трехъярусными деревянными нарами, его на третий ярус, меня – на второй.

### III

Рассказчиком Борис Дмитриевич был удивительным. Мы в иные ночи до рассвета слушали его новые рассказы. В особенном восторге мы были от его рассказа «За ширмою» о жизни и смерти матери, приехавшей к сыну-врачу с Украины в Среднюю Азию: она была добрая христианка, усердно молилась Богу, за что коммунистка, жена сына, невзлюбила свекровь, и по ее настоянию старушка была помещена в прихожей, у самых входных дверей, в углу, отгороженном ширмою, и не знала покоя ни днем, ни ночью.

По нашей просьбе, Борис Дмитриевич рассказывал «За ширмою» несколько раз, и всякий раз рассказ этот обрстал всё новыми деталями и подробностями, отчего казался нам совершенно другим, по-новому занимательным, более глубоким и ёмким.

Через несколько лет, уже освобожденный и реабилитированный, я проезжал из Симферополя в Краснодар через Керчь, сошел прогуляться в Керчи и, подойдя к книжному киоску, увидел только что изданную тогда книгу в скромной обложке, со знакомым названием «За ширмою». Над названием стояло имя Бориса Антоненко-Давидовича. Я купил тогда, не знаю, почему, все экземпляры этой книги, какие оказались в киоске. Их было ровно тридцать три. В основу книги был положен уже давно известный мне рассказ. Только место, где говорилось о богомольности матери, было изъято цензурой. И хотя содержание книги я хорошо знал, она все же захватила меня, так мастерски была написана.

### IV

В 1974 году я переехал жить в Киев, который был родиной моей жены Качаленко Анны Андреевны. Узнал адрес Бориса Дмитриевича и, предварительно

созвонившись, пошел к нему. Захожу в подъезд большого дома на ул. Ленина, отыскиваю нужную мне квартиру. Но каково же мое удивление, когда на звонок открыл мне двери не Борис Дмитриевич, а милиционер. Он как-то поспешно и неловко – он был слишком полный – посторонился, пропуская меня, и сразу же повел в комнату, в которой было еще несколько милиционеров и два человека в гражданской одежде, видимо, сотрудники КГБ. В углу, лицом к стене, в своем рабочем кресле, развернутом на сто восемьдесят градусов, сидел Борис Дмитриевич. Сидел так, словно это был не хозяин квартиры, а кто-то в нее случайно забравшийся и пойманный теперь милицией. Руки Бориса Дмитриевича, положенные на подлокотники кресла, дрожали, пальцы беззвучно отбивали чечетку по дерматину подлокотников.

Милиционеры, кроме одного, стоящего у дверей, были заняты просмотром рукописей писателя. Они копались везде: в шкафах, в столе, на полках, в разбросанных по полу каких-то ящиках и чемоданах. Они выбирали всё, что казалось им крамольным, и складывали это «крамольное» в свой чемодан, поставленный на середину письменного стола писателя. Чемодан этот был уже набит до верху, и милиционеры то и дело приминали ворох бумаг руками, при этом некоторые листы сминались, некоторые рвались.

Сразу же, как я вошел, один из одетых в гражданскую форму, бросив свое занятие, подошел ко мне, велел сесть, сам же остался стоять. Он долго молча и подозрительно осматривал меня, брал из папки какие-то фотографии и сличал мою личность с ними, потом стал выпрашивать, кто я, где живу, зачем пришел к диссиденту, к которому они бы не желали, чтобы кто-нибудь приходил. Он так и сказал о Борисе Дмитриевиче: «к диссиденту». Ничего не найдя в моем посещении криминального, он всё же записал мою фамилию, имя и

отчество, адрес и только потом велел милиционеру выдворить меня вон.

Уже из прихожей я слышал, как второй работник КГБ говорил Борису Дмитриевичу:

– Мы вас, конечно, не арестуем. Но у нас есть другие меры, равносильные аресту...

«Другие меры!» Кто в России, да и за границей, не знает, что это такое? Это помещение здоровых людей в психлечебницы или, как народ окрестил их, в психушки, в одни палаты вместе с действительно психически больными людьми, и губительное лечение теми же средствами, какими лечат действительно больных.

Обеспокоенный за судьбу товарища, с которым мне не удалось и словом обмолвиться, я отошел к ближнему гастроному и, затерявшись в толпе, стал наблюдать за тремя милицейскими машинами, стоящими у дома. Ждал я так часа два, может быть, даже больше. Наконец высыпались из подъезда все милиционеры и оба штатские. Они вывели и Бориса Дмитриевича. Проводив глазами машины, я походил по улице, носящей имя Ленина, еще минут тридцать и пошел домой.

Вечером того же дня я позвонил Борису Дмитриевичу. К телефону подошел он сам. Услышав его голос, я был вне себя от радости. Однако все же уловил в голосе товарища тревогу. Он понимал, какими мерами грозили ему кагебисты, и был потрясен происшедшим. Я не знаю, что за чувство овладело мною тогда, но я ничего не мог в тот раз сказать Борису Дмитриевичу по телефону. Подышал какое-то время в трубку и тихонько опустил ее на рычаг.

Позже он рассказал мне, что через своих осведомителей, пролезших в писательскую среду, молодчики из КГБ проведали о том, что он работает над мемуарами о своем пребывании в лагерях и ссылке. За этими мемуарами непрошенные гости и пожаловали к нему.



Мы сидели с ним в небольшом парке у Университета имени Шевченко, на затененной высокими каштанами скамейке. Он всё хотел прочертить на песке палкой прямую линию и никак не мог это сделать. Вместо прямой получались у него какие-то зигзаги и вилюшки. Так дрожали его руки. Левая бровь его подергивалась, а с лица не сходило выражение ожидания чего-то страшного и неизбежного.

Вдруг со стороны бульвара Шевченко в парк вошел милиционер. Блюститель порядка торопливо шел по другой стороне аллеи, на которой стояла наша скамейка. Он не обращал на нас никакого внимания. И я и Борис Дмитриевич понимали, что идет этот милиционер куда-то по своему делу и у него нет до нас никакого касательства. Однако Борис Дмитриевич, завидев его, весь как-то съежился, втянул голову в плечи, и палка выпала из его рук.

Он поднял откатившуюся в сторону палку и не захотел больше быть в парке, протянул мне руку, сгорбился и, глядя себе под ноги, зашагал домой.

В день моего отъезда из СССР Борис Дмитриевич с грустью признался:

– С того дня – (он имел в виду обыск в его квартире) – ни строчки не написал. Не пишется. Перо валится из рук. Сны какие-то кошмарные снятся. Будто за мною всё кто-то гонится, всё гонится, а я убегаю и никак не могу убежать. То вдруг снится, что я опять в лагере и уже не выйду из него никогда. А на днях со всеми подробностями психлечебница приснилась и врач в белом халате, с яркими погонами под халатом, которые просматриваются через редкую ткань, говорит мне голосом того кагебиста:

– Мы вас, конечно, не арестуем. Но у нас есть другие меры, равносильные аресту...

– Да разве это равносильные! Это самые бесчеловечные!..

При этих словах на глазах его появились слезы.

– Не за себя, за тех мучеников, которые там, вот слезы текут...

Да! За тех мучеников! Неисчислимы они на российской земле! Воистину неисчислимы. И одним из них был, ныне покойный, большой писатель земли Украинской Борис Дмитриевич Антоненко-Давидович.

Мир праху твоему, дорогой Борис Дмитриевич!

ХАХУЛИН Александр Акимович о себе: «Родился два года спустя после октябрьского переворота в семье поволжских немцев. Отец погиб вскоре после моего рождения в тюрьме.

До войны работал журналистом и заочно учился в Московском КИЖе (Коммунистический Институт Журналистики). Сразу же с начала войны стал подвергаться незаконным преследованиям, а вскоре и арестован. Получил расстрел. Был помилован, а позже дело было пересмотрено и завершилось полным оправданием.

После реабилитации отказался восстанавливаться в партии и потому уже не мог больше работать журналистом. Окончил Хабаровский строительный институт. Работая инженером-строителем в городе Усть-Кут, написал повесть «Наша юность», которая была опубликована в иркутском альманахе «Ангара».

Напечатал несколько маленьких рассказов в Краснодаре и в Киеве.

Эмигрировал за пределы СССР в 1981 году. В настоящее время проживаю в городе Мюнхене, ФРГ».

# Запад – Восток

Зофья Ш и к

## ДВЕ БЕСЕДЫ, или О ЧЕМ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИНЯТО

Мы живем во времена прямо-таки невероятного обесценивания слов. Радио, телевидение, пресса высказывают из слов их первоначальное содержание, опустошают их. Отсюда – тенденция к модным словечкам, к мнимо сжатым мыслям, к неоднозначным высказываниям, авторитетно произносимым псевдонаучным суждениям, блистательным фразам, которые в итоге служат лишь порабощению умов, лишению их способности мыслить самостоятельно. Старое слово *дискуссия* уже вышло из употребления с тех пор, как под ним начали понимать не обмен аргументированными утверждениями, но пустую болтовню на любую тему. Теперь его заменяют словом «беседа», но, записанная на пленку и предназначенная для публичного пользования, беседа теряет свой первоначальный человеческий смысл. Нет времени подумать, сделать более глубокие выводы – кассета крутится, и каждый старается как можно скорее сказать то, что в данный момент кажется ему самым важным, а поскольку каждый из собеседников считает самым важным что-то другое, все скользит где-то по поверхности.

Печально, что Генрих Бёлль, писатель, переживающий человеческое страдание и знающий цену слова, дал склонить себя к таким «беседам»\*. Две такие его

---

\* Увы – не впервые. Его беседы с тем же Львом Копелевым перед камерами западногерманского телевидения (сначала в Москве,

беседы со Львом Копелевым и Генрихом Формвегом опубликованы в довольно большой, 124-страничной брошюре под заглавием «Антикоммунизм на Востоке и на Западе». Первая беседа состоялась в доме у Бёлля в начале лета 1981 года, вторая, посвященная ситуации в Польше после введения военного положения, – в феврале 1982 года в студии западногерманского радио в Кёльне.

Эта беседа – как поучает нас вступительное разъяснение – не только обмен информацией; она не ставит целью и определить общие позиции; она куда сложнее всего этого, представляя собой средство взаимного понимания разного опыта, из которого вытекают различные позиции и взгляды. В беседах такого рода есть лишь одно обязательство – искренность, но в момент публикации, которая, в конце концов, имеет целью воздействие на общественное мнение, авторы становятся ответственными за каждое слово, и я не решаюсь помыслить, что они не сознают своей ответственности.

Что же такое антикоммунизм, который все три собеседника считают весьма вредным? В том-то и штука, что каждый под этим разумеет что-то иное.

Бёлль, до сих пор не простивший обыска, произведенного у его сына в 1977 году, и тогдашней кампании, связанной с его весьма противоречивым выступлением по делу террористов, когда его прямо обвинили в комму-

---

с любезной технической помощью советского телевидения, а затем в Германии), разумеется, также изданные книгой – «для публичного пользования», – уже вызвали ряд недоуменных и возмущенных реплик (в частности, со стороны телезрителей-поляков). Первая беседа передавалась по телевидению 1 сентября 1979 г., в сороковую годовщину начала Второй мировой войны, и участники ее: бывший офицер вермахта и бывший офицер Красной Армии – всерьез разбирали поставленный им «юбилейный» вопрос: «Почему МЫ стреляли друг в друга» – не дав себе труда вспомнить, что в сентябре 1939 года эти две армии отнюдь не «стреляли друг в друга», но, наоборот, были союзниками и с промежутком в 16 дней обе вторглись на территорию Польши. – Р е д.

низме, видит в этом, прежде всего, нетерпимость по отношению к инакомыслящим, попытку застраивания; антикоммунистические же настроения общества – на его взгляд, результат обработки общественного мнения политиками и прессой. Не зверские убийства, совершенные террористами, наименовавшимися «Фракция Красной Армии», вызвали эти настроения, но только политики и пресса использовали их для антикоммунистического балагана. Обезоруживающе наивно звучат в устах Бёлля слова оправдания по адресу полиции, которая-де была лишь жертвой господствующих настроений: можно подумать, что в то время еще не было жертв среди полицейских и что листовки той же «Фракции» не призывали убивать их.

Для Формвега антикоммунизм состоит в том, что всех, кто выступает против американской политики, изобличают как коммунистов.

Для Копелева же вся политика партийных властей в Советском Союзе, с их коррупцией, великорусским шовинизмом и империализмом, представляет собой антикоммунизм, и этот антикоммунизм преследует неких туманных «истинных» коммунистов. Впрочем, вскоре после этого он с грустью рассказывает о студентах из стран Третьего мира, которые покидают Советский Союз законченными антикоммунистами, и о тех советских эмигрантах, которые выступают как антикоммунисты. Тут уже появляется пресловутая каша в голове. Становится совсем непонятно, то ли советское правительство – антикоммунисты, то ли те, кто выступает против него.

Еще труднее понять, кто же такие истинные коммунисты, с которыми собеседники солидаризируются. Это не советское правительство, не компартии всего мира, не Куба, не Китай и не ГДР (при виде Хонеккера на телеэкране Бёлля чуть не рвет). И вот единственным представителем «истинных коммунистов» остается Лев

Копелев, да и тот, хоть называет себя таковым, признается, что он эклектик.

Но, в конце концов, речь не о терминах, да и не о низком уровне политических дискуссий в Германии, где взаимные обвинения в коммунизме или же в фашизме стали заурядны, но об укреплении мифа немецких левых как преследуемых за критику. Потому-то Бёлль, который видит разницу в положении оппозиционеров в Германии и Советском Союзе (здесь возможность мобилизации общественного мнения, правовой защиты – там полная незащитность, изоляция, угроза самой жизни), считает его сравнимым – правда, с сохранением всех пропорций, вроде как соотношение Трансильвании и Гималаев.

Я согласна с Бёллем: то, что происходило в 1977 г., было немаловажно. Но это ни в коем случае не был «захват власти», как он утверждает, и уж вовсе неприемлемо его высказывание:

«Мы все знаем, что человечеству террор ведом с тех пор, как оно существует. А тут делают вид, что внезапно возникло совершенно новое, выкованное определенными людьми явление».

Так же можно сказать, что человечество еще на заре своей знало жестокие войны и резню незащитных и что перед лицом этого нечего делать вид, будто газовые камеры были новым явлением.

Но дело не в полемике, а в подлинной ситуации тех лет. Именно этот род политического терроризма как в Германии, так и в Италии был-таки *новым* явлением для *демократических стран*, т. е. стран, гарантирующих своим гражданам гражданские свободы. Форма не была новой – ее заимствовали у мафии и печально знаменитых тайных судилищ. Новым было политическое обоснование. Под видом борьбы с несправедливостью и эксплуатацией, которые и в самом деле существуют, и с вымышленными, несуществующими методами фашистского террора – людей похищали, держали в бесчело-

вечных условиях, а затем «вершили над ними правосудие», т. е. попросту зверски убивали. Именно эта видимость «правосудия» и заимствование террористами некоторых обоснованных требований создавали сочувствие по отношению к ним среди реальной оппозиции, действительно борющейся за полную свободу и улучшение положения человека в существующем, далеком от идеала обществе. А поскольку каждая агрессия вызывает реакцию на нее, поскольку демократия, защищаясь, часто вынуждена отказываться от своих фундаментальных принципов, поскольку полицейские, чтобы не дать себя пристрелить, начинают стрелять первыми – постольку все вымышленные террористами обвинения становятся оправданными, а их преступные действия мистифицируются и возводятся в ранг геройства.

О том, что в стране с такими слабыми демократическими традициями, как Германия, такая тактика может привести к катастрофе, – об этом немецкие левые как-то никогда не задумались. Порожденные тогда настроения, нашедшие выражение в пресловутом высказывании «при Гитлере такое было невозможно» (и было невозможно как частная инициатива, ибо страной правили убийцы-террористы), – это всего лишь одно из опасных последствий террора. Бёлль – решительный противник смертной казни, и не потому, что возможны судебные ошибки, но потому (и это ощутимо в каждом его слове), что любая человеческая жизнь драгоценна и никакой суд, никакая власть не имеют права убивать. Но вот то, что при таком понимании всякий терроризм, независимо от того, какой идеологией он пользуется – правой или левой, – является отрицанием этой фундаментальной ценности и человечество следует от него защищать, прошло мимо внимания самых выдающихся представителей немецкой левой интеллигенции, к которым и Бёлль относится. На будущее это обещает мало что хорошего.

Почему, когда Копелев, подчеркивая разницу между условиями в Германии и Советском Союзе, рассказывает, что на территории университета в Геттингене полно надписей, плакатов и листовок разных коммунистических группок, прямо призывающих к насилию, и что за них ни одному студенту ничего не грозит, в то время как в Москве всего лишь за письмо прокурору с вопросом о правовых основах ссылки Сахарова студента исключают из университета, а профессора за то же «преступление» лишают не только работы, но и научного звания, – никто эту тему не подхватывает? Да потому, что в этом случае пришлось бы признать, что сравнение даже ограниченной свободы, в которой возможна борьба за ее расширение, с правлением террористической, ничем не сдерживаемой власти, – такой же абсурд, как сравнение свободы с неволей, ибо обе эти категории взаимоисключающи.

Вообще поразительно, как собеседники реагируют. Рассказ Копелева об угнетении насильственно присоединенных наций, о сотнях тысяч жертв на строительстве Байкало-Амурской магистрали (все еще не законченной, между тем как число жертв растет), о том, что Советский Союз тратит на вооружения куда больше, чем Америка, о замаскированных мероприятиях, об империалистической пропаганде – эти сведения выслушиваются весьма спокойно. Зато когда он говорит о коррупции или о том, что крестьяне и рабочие, чтобы прожить, вынуждены воровать, – затевается дискуссия морального толка, притом очевидна некоторая тревога: ведь это же – как образно говорит Бёлль, если кто-то нуждается в винтах и отвинчивает их с паровоза, – это же может привести к крушению системы.

Почему человек, столь равнодушный к людскому несчастью, как Бёлль, в поисках, с чем бы сравнить советский строй, изобретает какое-то государство прелатов, а не обращается к куда более близкому и хорошо ему знакомому примеру – к Третьему Рейху? В аппарате



власти цвела не меньшая коррупция, террор был не меньше и, насколько известно, не обошел стороной Кёльна. Да потому, что в основе его рассуждений – представление о том, что в Советском Союзе линия выбрана верно и достаточно сменить разложившуюся верхушку власти, создать меньшие территориальные единицы – и все будет прекрасно и ясно, будет построен социализм; потому что, как выразился Бёлль, дорога долга и далека, цель отодвигается все дальше и надо только задуматься, как бы так сделать, чтобы поменьше людей погибло на этой дороге.

Именно поэтому ни разу не звучит слово «диктатура» или, упаси Боже, «тоталитарное государство», а всё только такие псевдомарксистские термины, почерпнутые из печальной памяти «Краткого курса», как «феодализм», «ранний капитализм» или прямо «государственный капитализм» и даже такое ныне модное словесное чудище как «реальный социализм» (в отличие от нереального?). Потому-то собеседники так хотели услышать от Копелева, что там все-таки существуют «положительные герои», что те, кто демонстрировал на Красной площади, верили в «социализм с человеческим лицом»\*. Но почему Копелев, вместо того, чтобы обратить их внимание на ложь официальной литературы, рассказывает им трогательную историю какого-то инженера из Саратова, почему Копелев, который отлично знает, что лозунг «социализма с человеческим лицом», столь дорогой для западной левой интеллигенции, – пустое слово для людей в странах «реального социализма» и что на Красной площади демонстриро-

---

\* *Примечание Н. Горбаневской:* Не стану утверждать, что никто из нас семерых в этот самый ССЧЛ не верил, – замечу только, что Копелев не имел права утверждать обратное – по крайней мере, относительно всех. Возможно, кто-то из семерых (не я) в частном разговоре действительно сообщил ему о своей вере. Даже отдельные высказывания такого рода на суде (где надо было защищаться) не могут быть доказательством.

вали как раз те, кого считают «этими ужасными антикоммунистами», и что они выразили свою солидарность с подвергшимся нашествию народом, который ничего другого не хотел, кроме самоопределения и признания самоценности человека; что они были за это избиты и заплатили тюрьмой, лагерем или сумасшедшим домом, — почему он дает на всё это уклончивые ответы, которые могут быть поняты как подтверждение ошибочного мнения?

Почему Копелев, определяя большевистскую революцию как путч, одновременно говорит о «гениальном» Ленине и «талантливом» Троцком, словно не они создали эту форму государства, основанного на терроре и принудительном труде, словно не они открыто провозглашали принцип, согласно которому единственное доказательство «исторической справедливости» — «эффективное принуждение» (может быть, поэтому Копелев неоднократно цитирует Томаса Манна, сказавшего, что «антикоммунизм» — «величайшая глупость нашего века», ибо Манн тоже исповедовал принцип, по которому историческая правота определяется силой и конечной победой).

«Гений» Ленина состоял в том, что он очень рано поставил себе целью захват власти и захватил ее. Он знал также, как удержать власть (террор против всех инакомыслящих, регресс законодательства и даже славная 58-я статья были делом его рук), зато его экономическая политика, от которой как раз и зависели судьбы миллионов людей, обладала всеми чертами дилетантского экспериментирования и кончилась знаменитой фразой: «Надо учиться у капиталистов». Важнее всякого интернационализма была для него германская материальная база, которая, по его представлениям, должна была разрешить все экономические трудности России. Отсюда требование скорейшей революции в Германии, независимо от существующих возможностей, и именно Ленин несет немалую ответственность

за кроваво обошедшееся восстание «Спартак» и за трагические события 1923 года. Собеседникам стоило бы поинтересоваться историей германского рабочего движения – тогда они узнали бы, что вовсе не ортодоксальные марксисты добились прав для немецких рабочих (они только дискутировали о всеобщей забастовке да устраивали революцию на бумаге, словно Лазик Ройтшванц – свое кроличье хозяйство), но именно столь презираемые «реформисты» и «ревизионисты» в профсоюзах.

Речь идет не о поучениях, а о ликвидации опасных мифов, которые не позволяют разобраться в действительности. К этим мифам принадлежит и столь расхваливаемая всеми участниками беседы «разрядка».

Начнем с простых исторических фактов, свидетельствами которых мы все были. Начнем с того, что холодная война была фактически спровоцирована Советским Союзом (изоляция Восточной Европы – т. н. железный занавес; распространение мифа о германских реваншистах, которые уже готовы к агрессии; принуждение к отказу от помощи в рамках плана Маршалла таких разрушенных войною стран, как, например, Польша или Чехословакия). Следует еще отметить, что закрытию границ сопутствовал безумный террор в странах, зависимых от СССР, имевший целью полное их подчинение.

Не следует также воображать, что лозунг «мирного сосуществования» был результатом некоего «освобождения» советской политики после смерти Сталина. Как раз наоборот: если внимательно прочитать последнее «произведение» Сталина («Экономические проблемы социализма»), видно, что именно такую тактику он рекомендовал.

Разрядка тоже была выдвинута Советским Союзом, когда того потребовали экономические трудности. Не из любви к миру Брежнев ездил в Хельсинки или целовался с Картером. Его интересовал хороший бизнес и возможность получения валюты. Потому-то

все соглашения о разрядке были связаны с торгами о цене. И пошла действительно оживленная торговля – не только газом, но и людьми. Почему Копелев не рассказывает, сколько ему пришлось заплатить за свой выезд?

К сожалению, продолжение разрядки зависит не от нашей воли, а только от экономических и политических интересов властей Советского Союза. Когда Брандт в Варшаве стал на колени перед памятником защитникам варшавского гетто, откуда вывезли около полумиллиона евреев, большинство которых попало прямо в газовые камеры, – польское общество видело в этом акт покаяния, и это принесло ему симпатии поляков; для властей это было неважно – им нужны были признание границы на Одере-Нейссе да выгодный заем. И воображать, что следует сделать всё, чтобы не раздражать Советский Союз и не допустить «холодной войны», – такая же иллюзия, какую питали французские и английские либералы в 30-е годы, считая, что не надо провоцировать Гитлера, в доказательство чего печатали все его миролюбивые речи (он и такие речи произносил). Правда, Карл Краус тогда писал, что за этими речами скрывается «*si vis bellum, pax расет*», – но ни тогда, ни сейчас никто не попытался это понять.

Стремление левой немецкой интеллигенции к миру объяснимо, но мир обретается не любой ценой и уж, во всяком случае, не пряча голову в песок. Потому-то подозрительной кажется мне и весьма живая «ангажированность» в дела стран Центральной и Южной Америки, рассматриваемых как «тылы» Соединенных Штатов, при полном отсутствии интереса к Афганистану или Польше (тут Бёлль составляет похвальное исключение – он был, кажется, единственным из левых, кто ясно и недвусмысленно выразил свое возмущение). Но связана ли эта «ангажированность» с подлинным знанием проблем Латинской Америки? От писателей не требуется знать фундаментальные вопросы экономики или даже историю этих стран, где господствует неспра-

ведливость и эксплуатация, требуется, по крайней мере, понимать и помогать в разрешении их реальных трудностей. Общие же слова, псевдонаучные банальности ничего не объясняют, ибо из тех «трудов», о которых говорит Формвег, можно вывести, что не только Западная Германия, но и Франция, Австрия и Швейцария – колонии США, а такого, пожалуй, никто не осмелится утверждать.

Точно так же приводимый Бёллем пример «весьма серьезного и документированного» труда о страшном картофельном голоде в Ирландии содержит одну неточность и одну недоговоренность: в 1846–49 гг. Ирландия не насчитывала 11 млн. населения, как все три части разделенной Польши; а еще и потому нельзя сравнивать эти страны, что ирландцы (и не только в те годы) массово эмигрировали в США, где составляют весьма сильную этническую группу (у 45% американцев хотя бы один ирландец в семье); польские же крестьяне, даже если сдыхали с голоду в начале каждой весны, выехать не могли, потому что были освобождены от крепостного права позже (в Пруссии и Австрии после 1848 года, в России – только в 1864 г., т. е. на три года позже, чем в собственно России). Тут важно не только исправить, но и обратить внимание на то, что не всякое печатное слово непременно верно.

К тому же, и само свержение диктаторов и олигархов в странах Латинской Америки еще ничего не решает. Главная жгучая проблема стран Латинской Америки – перенаселение деревни, отсутствие промышленности и преобладание монокультур, что делает эти страны особенно зависимыми от колебаний цен на мировом рынке. Наилучшая аграрная реформа не решает этих проблем, тем более, что без внешней помощи индустриализация должна производиться за чей-то счет, и есть все основания опасаться, что именно несчастные индейцы станут сырьем для эксплуатации. Потому-то замечание Бёлля, что для голодной индей-

ской матери важна не цензура, а хлеб для ребенка, справедливо лишь отчасти. Для нее наверняка не имеет значения, может ли, к примеру, Бёлль публиковать всё, что захочет, но имеет значение вероятность, что никто не узнает о голоде и не поспешит на помощь, как поспешили с помощью Польше. А ведь в 30-е годы вымирали с голоду целые русские и украинские деревни, люди дошли до того, что ели трупы собственных детей, – но благодаря цензуре никто об этом не узнал; за границей же, в Германии, появлялись репортажи о том, как живет «семья Шмидт в Москве», и на фотографиях были полные тарелки колбасы, ветчины и других яств, о которых немецкие безработные давно позабыли.

Каковы благие намерения таинственного Координатора в Никарагуа, мы не знаем, но единственное, чего он пока достиг, был захват власти, вынужденная эмиграция сандинистов первого призыва и бегство целого индейского племени. В Сальвадоре же идет откровенная борьба за захват власти, и оказавшийся между молотом и наковальней индейский крестьянин платит кровавую дань.

В период гражданской войны в России от болезней и голода погибло семь миллионов человек, т. е. в три раза больше, чем на всех фронтах Первой мировой и гражданской войн. О них никогда не говорят, как уже не говорят и об Иране, про который столько дурного (и справедливо) твердили при власти шаха, но совершенно позабыли с тех пор, как там безумствует кровавый аятолла и число жертв раз в сто превысило число прежних жертв, о которых так волновались. И какая будет власть в Сальвадоре – об этом тоже никто не думает; главное, чтоб была антиамериканская.

А тех, кто обратит внимание на односторонность всех этих рассуждений, на то, что нередко они объективно поддерживают кремлевскую политику, – тех сразу крикливо провозгласят антикоммунистами, антисоциалистами, демагогами, а «терпимый» Копелев со

свойственным ему энтузиазмом назовет их воспитанниками Сталина, ибо они, мол, как Сталин, якшаются с фашистами, да и вообще такова их собачья неблагодарность по отношению к тем, кто им (чересчур негромко) желает свободы. Если Копелев еще не устыдился этих слов, то он, несомненно, устыдится в будущем.

Разговор о Польше шел в другом тоне. Даже Копелев, загоревшись тем, что это был первый подлинный «союз рабочих и крестьян», объявил движение «Солидарности» революцией (чем оно вовсе не было) и принялся отрешиваться от разрядки, которой уже не наблюдал. Формвег, правда, статистически подсчитал, что, по сравнению с Сальвадором, убитых мало, однако его пыл был разумно остановлен Бёллем.

Странно только, что люди, так волнуемые социальными проблемами, прозевали, что требования польских рабочих касались того, чего рабочий класс Европы добился еще в начале нашего века: права на объединение, права на забастовку. Они не обратили внимания на требование, возникшее в развитии движения, – требование самоуправляющейся Польши, предложение передать дефицитные предприятия в руки рабочего самоуправления. И ошибается Бёлль, объясняя религиозность польских рабочих сопротивлением протестантству или православию. Вероисповедание захватчиков никого в Польше не интересовало. Нынешний рост религиозности среди рабочих, тем более, этим не объясняется. Униженный, эксплуатируемый рабочий только в костеле, где был равен всем перед Богом, обретал свое человеческое достоинство. И это представление о человеческом достоинстве, столь важное для польского рабочего, не затронуло внимания интеллектуалов, таких чувствительных, когда кто-то задевает их собственное достоинство.

В заключение, еще одна горестная заметка. Копелев рассказал, как один молодой дипломат в Москве заявил, что два немецких государства будут существовать, пока

ГДР не дойдет до Рейна, – Бёлль воскликнул: «А не за Рейн? Меня это очень интересует: мы живем на левом берегу». То, что он, потрясенный, в первое мгновение подумал только о себе и о своих близких, а не обо всех живущих между Эльбой и Рейном, – вполне человечно. Но... Веймарская республика развалилась под ударом одного эсэсовского сапога, так как никто не хотел ее защищать. Если никто не хочет защищать свою свободу – он теряет ее. Назовите меня антикоммунисткой, но не говорите, что я вас не предупреждала.

Зофья ШИК – польский историк и педагог. Живет в Вене.



# ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Петр А б о в и н - Е г и д е с

## ФИЛОСОФ В КОЛХОЗЕ

(Фрагменты из книги)

Земную жизнь пройдя до половины,  
Я очутился в сумрачном лесу...

*Данте Алигьери*

### ОПЕРЕЖАЯ МЕМУАРЫ...

Честное слово, я не собирался писать мемуары: во-первых, очевидно, рано; во-вторых, как-то неудобно, не с руки: их пишут ведь люди именитые... Правда, я лично знал многих именитых: начиная с таких членов Политбюро, как «железный» Шурик (Шелепин), или «мягкий» Кулаков, или ряда зятьев (зять Сталина – Юрий Жданов, зять Хрущева – Аджубей, зять Косыгина – Гвишиани) и кончая такими титанами оппозиционного духа, как Твардовский, и «диссидентского» духа, как Сахаров, Григоренко, Орлов, – то соприкасаясь с ними, то общаясь, то сотрудничая.

Но что из этого? Об одних говорить просто стыдно, а другие лучше сами о себе скажут...

Правда, друзья настаивают, что есть много, так сказать, поучительного и в моей собственной жизни: начиная от убийства в 1920 г. большевиками, когда мне было всего лишь два года, моего отца – большевика же, – которое привело к тому, что я сам стал в 30 лет – в возрасте Христа – убийцей бандита, и кончая тем, что я – будучи социалистом и даже коммунистом – всю жизнь был вынужден лгать государству, называющему себя социалистическим, коммунистическим, чтобы... учиться, работать и, главное, стать философом, говорящим

правду во весь голос, а под занавес – лишенный детей и внуков – был изгнан с Родины на Запад, т. е. из Ада в Бардак, на диссидентско-эмигрантскую «ярмарку», где очутился в ситуации, граничащей с самоубийством... Но я думаю, что описание всего этого (в том числе и того, как я уходил добровольцем на фронт в Отечественную войну и как в результате этого провел восемь лет в концлагере на Воркуте при Сталине, а затем – три года в психических камерах при Брежнев) сейчас не самое необходимое: есть пока дела более важные...

Но вот об одном периоде в моей жизни, как уверяет меня мой друг Жан Кехаян, я обязан уже сейчас поведать – это период жизни в колхозе: ведь именно здесь, как в фокусе, высвечивается вся наша система, называемая очень емко... «реальным социализмом», – и поэтому я не жалею о годах, проведенных в деревне.

\*            \*  
\*

...Я оказался председателем колхоза, когда мне было около 40 лет, т. е. когда я прожил почти половину своей жизни: я уверен, что дотяну по крайней мере до 80-ти, – ведь мне еще многое надо сделать, чтобы выполнить то, что я себе наметил на остаток жизни, а уйти из нее, не выполнив намеченного, неприлично; к тому же, средняя продолжительность жизни сейчас все же больше, чем была при Данте.

Думаю, что мне повезло тогда: я очутился в самом типичном колхозе самого *глубинного* района самой *центральной* области Российской «Федерации» – Пензенской (которую издавна называли лаптежной, а ее жителей – толстопятыми пензяками) – и провел тут ряд лет, причем не в жуткую пору сталинского террора (когда колхозники получали за работу только «палочки», т. е. когда на трудовень выдавали им 0,0 = ноль целых и ноль десятых), а в сравнительно благоприятные

годы хрущевской оттепели (когда на столах у колхозников появился хлеб – и даже белый). И поэтому мне не надо, как другим философам и социологам, высасывать из пальца картины образа жизни в нашем обществе или вымучивать из головы его дефиниции: достаточно лишь голого описания *того, что было*. При этом я не стану описывать никаких ужасов (хотя я за свою жизнь видел их немало), дабы никто не мог сказать, что «это надо еще доказать», – о том, как был учинен физический геноцид крестьянства, как сбрасывали живых, опухших от голода, в овраги... Я расскажу лишь об *обыденной* жизни, о *буднях* обыкновенной советской деревни лучших лет колхозной действительности – хрущевских.

Вот первый факт всплывает из глубин памяти: когда меня привезли в колхоз на выборы председателя и секретарь райкома представил меня, одна баба – ее звали, как я потом узнал, Груня, после она стала «передовой» дояркой, – с места выкрикнула, обращаясь ко мне:

– А твой партбилет мочой не пахнет?

Раздался громкий гогот присутствующих, и я, по правде сказать, растерялся: ничего не понял...

Оказывается, бывший председатель колхоза, по фамилии Бывшев (его так затем и звали: «бывший Бывшев»), однажды пьяный гнался в поле на колхозном автомобиле за одним («отдельно взятым») зайцем прямо по бороздам – автомобиль сломался, и председателя нашли спящим возле убитого зайца в борозде; председатель валялся в луже собственной мочи, и в ней же рядом «купался» его партбилет. Пострадали заяц, автомобиль, партбилет – не пострадал лишь его носитель, сам Бывшев; с него «всё как с гуся вода»: он ведь «свой», «нашенский», «проверенный», «преданный» – и потому еще целый год продолжал пьянствовать, куролесить, куражиться над колхозниками, пока окончательно не доканал не только автомобиль, но и весь колхоз «целиком и полностью». Вот тогда на его место и привезли меня – очередного, как полагали колхозники, кота в мешке...

С чего же это все началось?

Я решил на собственной шкуре испытать колхозную жизнь из самого нутра (что, как я потом узнал, у современных социологов называется методом вживания) в качестве бригадира. Можно сказать, что бригадир – центральная фигура в колхозе, ибо он, а не председатель, имеет прямую связь с колхозниками, непосредственно общается с ними. Я видел, что бригадиры работают старыми, не демократическими, а самоуправскими методами, и хотел на деле испробовать другие методы.

Но тут я столкнулся с огромным противоречием: в стране колхозники ни в чем экономически не были заинтересованы, а уговоры, доброе слово на многих не действуют. Вот несколько семей категорически и систематически «нарушали трудовую дисциплину»: то вовсе не выходят на работу, то приходят после всех, то уходят, когда вздумают... Что делать? Обычно бригадиры поступают так:

- Лошадь на базар не получишь.
- Ну и ... с тобой, поеду с соседом.
- А, вот как! Тогда завтра же, ... вашу мать, выгоню вашу корову из стада!

Что сие значит? А вот что: каждая колхозная семья не может сама пасти одну свою корову весь день, да и негде, – а колхоз выделяет для коров всех колхозников данного села пастуха (которого, конечно, оплачивают сами колхозники) и пастбище. Если же выгоняют корову из стада, то семья обречена на голод: корова – главный кормилец.

Я видел однажды, как бригадир Виктор Зябликов изгонял чью-то корову из стада. Это была потрясающая картина. Корова не уходила, как он ее ни гнал батогами. Тогда он привязал ее за рога к своей телеге – и приволок к дому наказанной. Женщина выбежала в слезах, и проклятия сыпались на голову бригадира... Корова снова прибежала в стадо. Тогда Виктор увел ее на колхозный двор и привязал к столбу...

Мог ли я действовать такими методами – методами внеэкономического насилия? Мог ли позволить себе это я – сторонник самоуправления, желающий быть гуманистом? Что же было делать?

Чтобы заинтересовать колхозников высокой оплатой, надо, чтобы они хорошо работали (иначе откуда возьмутся деньги в колхозе?), а чтобы они хорошо работали, надо их заинтересовать оплатой. Но оплата будет лишь в конце года, и то неизвестно какая, – и колхозники уже никому не верят (у них опыт многих жутких лет), никаким посулам. Вот и получается заколдованный круг. Выход? Только один: платить ежемесячные гарантированные авансы, а окончательный расчет проводить не за погектарную работу, а за конечную продукцию – амбарный урожай. Но где взять средства для ежемесячного авансирования (ведь государство почти ничего колхозу не оставляет из его дохода)? И как ввести новую систему оплаты? Это можно сделать только в пределах всего колхоза – и то явочным порядком, т. е. не спросив райкома партии... А это слишком рискованно.

Поэтому для меня оставались только паллиативные средства: честность бригадира, справедливость, одинаковое отношение ко всем, прекращение взяток, вымогательства у вдов поллитровок или платы «натурой». Кроме того, мы создали совет бригады (нечто вроде самоуправления): решал все не бригадир единолично, а совет и собрание бригады. К тому же, я поставил вопрос об избрании бригадира вместо назначения. Но все это было не то, мало... Я чувствовал, знал, верил, был убежден, что можно с колхозниками «горы свернуть», но при одном условии – е с л и радикально изменить весь экономический стиль жизни колхоза...

И я понял: только самому стать председателем, только самому! Я хорошо знал, что всего сделать все равно не дадут, но многое все же можно успеть я в о ч н ы м порядком, а потом пусть выгоняют, исключают,

сажают – чёрт с ними. Но надо попробовать, испытать, чего можно добиться с нашими людьми, можно ли с ними соорудить настоящий (а не фальшивый) социализм, – вот что я должен был сделать ясным для себя. Но для этого – чтобы занять возможность экспериментировать в качестве председателя – надо было вступить в партию, в ту самую партию, которая взялась родить социализм, а породила лишь сталинскую опричнину...

\* \*  
\*

...Так тянулась тягомотина жизни, словно резиновая жвачка-тянучка во рту... Я считал, что знаю, вижу, что надо делать, как надо делать, но ничего не мог... И вот «грянул» XX съезд: трехлетние намеки о каком-то культе личности очертились в конкретные факты преступлений Тирана – король был, наконец, представлен голеньким на обозрение собственному народу и всему миру. Объявлен всеобщий колоссальный Реабилитанс миллионов заключенных. И дана была команда сверху: реабилитированные могут быть восстановлены или приняты в партию.

Меня вызвал Симаков:

– Открою вам теперь тайну: поскольку мы вами заинтересовались, то через наш райотдел КГБ установили, что вы были в заключении, но реабилитированы... Так вот, есть указание ЦК в отношении реабилитированных... Мы можем вас теперь рекомендовать председателем колхоза, если вы станете членом партии...

...В течение недели я был «оформлен» кандидатом в члены партии. А через месяц рекомендован председателем колхоза.

.....

Мы с Симаковым подъехали к Мачинскому клубу, когда там уже было полно людей. Люди ждали переыборного собрания заинтересованно: во-первых, бывший председатель Бывшев их зело допек; а во-вторых, я был для них не совсем «кот в мешке»: слух обо мне как бригадире-учителе, как «ученом-чудаке», защищающем женщин от их притеснителей, дошел и до этого села – через родственников, через колхозный базар. Вдовы уже ждали меня с надеждой, механизаторы – с опаской, а коммунисты – с явной настороженностью, с почти неприкрытым неудовольствием: всё, что они обо мне пронюхали, не сулило им ничего хорошего – и что я почти не пью, и что не иду на коррупцию, и что «ученый», и что фамилия какая-то нерусская...

С выяснения последней и началась выборная процедура:

– Это что за иностранная фамилия у вас, разрешите полюбопытствовать? – спросил, после того как Симаков представил меня, мужской голос, желая показать свою то ли грамотность, то ли деликатность (потом я узнал, что это председатель сельсовета Серебряков Василий, кажется, Федорович, если мне память не изменяет; в селе Телки, откуда он был, чуть ли не каждый пятый был Серебряков).

– Фамилия эта сам не знаю какая – то ли греческая, то ли литовская. Но сам я – еврей.

– А-а-а! – протянул он, не выдержав.

– Вот именно «а-а», – повторил я, покачав головой. Раздался смех в зале (если хибару, где проходило собрание, которая называлась клубом, можно наименовать залом).

– А про нас хоть татарин, лишь бы честный! – крикнула одна...

– А я думал, что евреи «хуже татар», что хуже

евреев вообще уж никого нет, – вставил я снова. И снова раздался смех.

– Да что тут калякать, – выкрикнула другая. – Для нас все люди одинаковые, коль они хорошие. Нам одно надобно: вилы в руки вот этим прохиндеям! – провела она указательным пальцем по ряду, где сидело колхозное начальство.

И бабы загоготали, зашумели, все сразу, перебивая друг друга:

– Верно, Дашка!

– Правильно!

– Замучали!

– Супостаты!

– Спасу от них нет!

– У-у-у-у-у!...

– А кто такие прохиндеи? – поинтересовался я.

– Ну, бригадиры наши, да завыв ферм, да вот этот – секретарь партии, Жирный! Он же – председатель сельсовета...

«Жирный» – это как оказалось, прозвище, а фамилия его была Серебряков (как уже упоминалось выше). Он, действительно, был жирный, толстый, мордастый, красный, мог выпить литр водки без всякой закуски и не быть пьяным (это было его, кажется, единственное преимущество, чем он очень гордился).

– Ну, а позвольте поинтересоваться всё-ткась, вы сельское хозяйство знаете хорошо? – спросил снова мужской голос (то был комбайнер Гордеев. Гордеевы была распространенная фамилия в Маче, втором крупном селе колхоза «Рассвет»).

– Плохо. Очень плохо. Даже лошадь запрягать не умею...

– А у нас председатели ноне на машинах ездят, – раздался снова женский голос.

– Так ведь Бывшев машину-то доканал, – вставил новый голос.



– А нам надобно одно: чтобы прохиндеям вилы в руки и чтобы...

– И чтобы председатель честность блюл!

– А сельское хозяйство мы и сами знаем, – подхватили многие голоса.

Я понял, что здесь еще больше, чем в Варварино, шла «классовая борьба» между новыми социальными слоями – мужчинами и женщинами, прохиндеями-коммунистами и некоммунистами, механизаторами и немеханизаторами...

Симаков вмешался:

– А может быть, вы по очереди выскажетесь?

– А мы по очереди не умеем...

– Вот у меня вопрос: пушай новый председатель расскажет, кто он и что он.

– Вот это уже дело, – одобрительно покачал головой Симаков.

Я рассказал: воспитывался в детском доме... окончил университет... философ... был на фронте – воевал... сидел... реабилитирован...

Кто-то крикнул:

– О, это нам гоже.

– Особливо что ученый!

– И городской, культурный!

– А эти наши пьянчуги замордовали нас туточки.

– А за что сидел-то? – это снова голос из угла «прохиндеев».

Симаков встал:

– Сейчас это уже не имеет значения: есть указание ЦК партии – раз реабилитирован, значит, был невиновен...

Он явно не хотел, чтобы я рассказывал подробно об этом: стыдно ведь за партию, за режим, – да и мало ли что скажут «наверху»: зачем-де допустил разговоры, которые могут «развратить» колхозников?..

Кто-то крикнул:

– А ведь надобно, чтобы Бывшев отчитался за

свою работу... Может, мы его еще оставим председателем, а?

Раздался гул:

– А где ж найти его?

– Пьянствует небось.

– А может, снова валяется в своем дерьме...

Эти слова вызвали взрыв гомерического смеха.

Закончилось это не совсем обычное собрание голосованием. За меня голосовали не все: ряд мужиков голосовал против. Но подавляющее большинство – за. «За» голосовал угнетенный «класс» – прежде всего, бабоньки; против голосовал угнетающий «класс» – все бывшие председатели (их было с десятков), некоторые бригадиры и завыв ферм, часть механизаторов, значительная часть партийцев (они всё те же – бригадиры, бывшие председатели и их шлейф...)

Симаков отозвал меня в сторону:

– Видишь настроение коммунистов? Они опасаются, как бы ты не повел дело «не туда» (что означало это «не туда» в устах Симакова – было не совсем понятно). Надо найти с ними общий язык: они еще не совсем поняли нового курса... Но они – наша опора. Сложно, брат... Мы с ними провели предварительное партийное собрание, они топорщились, но, наконец, обещали поддержать предложение райкома, да вот видишь, кое-кто пошел не туда (это новое «не туда» мне было уже более понятно)...

– Общий язык я буду искать с *настоящими* коммунистами.

– ?? – Симаков посмотрел на меня в некотором смятении: слова мои были для него загадочными, необычными, нестандартными, а потому странными, подозрительными: в самом деле, кого я зачисляю в *настоящие* коммунисты? А вдруг и его самого к ним не причисляю...

– Гм... Ну, ладно. Смотри только – отсебятиной не занимайся, во всем советуйся с райкомом. А то еще,

чего доброго, дров наломаешь. Без опоры на коммунистов, на парторганизацию работать ведь нельзя.

Я молчал. Он уехал.

### КОРОТЫШКА

Меня приглашали к себе жить именно эти самые прохиндеи: у них хорошие дома, большие хоромы, мясо, сало, самогон, водка, красивые сестры или дочери, которые подмигивали мне... Но я предпочел поселиться у Коротышки. Его прозвали так за низкий рост, и изба у него была приземистая, в приземистом месте. Кроме него, в семье были старуха – его жена, добродушная, худенькая, бледная (почти воскового цвета), две взрослые дочери (одну звали Таня, а другую... забыл) и внучонок (дочь родила без законного мужа). Вторая дочь была замужем за «приблудным» трактористом («приблудил» он сюда с Западной Украины – каким образом, уж не помню, хотя он мне об этом рассказывал). Жила эта семья не в Маче, где находилось правление колхоза, а в Телках. Хотя село Телки было гораздо больше Мачи, но правление почему-то было не тут – видимо, потому что Мача была более зажиточным селом. Я предложил перенести правление в Телки – где жило большинство. Предложение это колхозникам понравилось. Вначале правление поместилось в ту комнатку, в которой жил я, – у Коротышки. Прохиндеи бесились: ведь они должны были приходиться на заседание правления в избу к тому самому «парию», которого изгнали из партии. Масса же колхозников это восприняла как хорошее знамение – как вызов силам Зла...

.....

Мои первые – «странные» – шаги колхозники восприняли одобрительно, в их наболевших сердцах вспыхивали искорки надежды:

– Председатель этот ест нашу пищу, не стал жить у прохиндеев...

– Он, знамо, наш человек.

А пища у Коротышкиной старухи была такая: утром вареная картошка «в мундире» или печеная в золе и молоко; в обед «похлебка» опять с картошкой или крупой, а раз или два в неделю – с кусочками сала или кусками мяса. Эти куски вареного мяса вынимали, разрезали и клали в миску вместе с солеными огурцами и квашеной капустой – это считалось вторым блюдом. Вечером ели то, что оставалось от обеда...

Так было во всех колхозных семьях Пензенщины (да и всей центральной России). Так питалась «господствующая» в Империи нация. Что такое котлеты, гуляш и прочие блюда, здесь не ведали. «Прохиндейские» семьи отличались лишь тем, что сало и мясо клали в похлебку каждый день да в большом количестве, да и самогон стоял на столе в изобилии; и избы у них были добротные, бревенчатые, а не из брикетов, сделанных из смеси глины с навозом, как у остальных сельских пензяков.

В последние годы – после смерти Сталина – появился у тамалинских колхозников на столе и белый хлеб: хотя часть Пензенской области – черноземная степь, т. е. край пшеницы, но так как при жизни Сталина всю пшеницу у колхозов забирало государство (это раньше называлось «госпоставка», а потом «обязательная продажа хлеба государству»), то колхозники ели только ржаной хлеб и запивали молоком (которое давала им собственная корова) – ни белого хлеба, ни мяса тогда они вовсе не имели на столах. «Лишь Маленков, – говорили они после смерти Тирана, – дал (!) нам белый хлеб»...

Осенью, когда поспевали помидоры и огурцы на приусадебных участках (они были размером в четверть гектара – 25 «соток»), ели и их. Вот, пожалуй, и всё (да, забыл: употребляли лук и чеснок). Фруктов – никаких.

Ягод – *никаких*: в степи нет ведь диких ягод, как в лесу. Грибы – тоже редкость. Да и деревья – редкость: по берегам речушки, которая летом почти пересыхала, росли редкие кустарники и ива – больше ничего. Это, можно сказать, ивовый край. Когда-то в каждом дворе были сады, но во время коллективизации всё заустело, засохло. Перед самой войной попробовали вновь завести сады, но в ходе войны все замерзло, заустело, и деревья порубили на дрова... Больше уже сады разводить не пробовали (да и не только в Пензенской области – был я уже в 70-е годы в новгородской деревне, так там тоже сады пересохли, в магазинах тоже одни слипшиеся конфеты-«подушечки», как и в 30-е, и в 50-е годы, да по улицам часто наткнешься на полудебилных людей, уродливых женщин: все умное, красивое, маломальски способное сбежало в города; поэтому не только отдельные избы заколочены досками, а целые деревни заустели, стоят без жителей, лишь валяются кое-где в избах книги, тетради, пожитки, как после нашествия иностранных полчищ).

При помещике, до революции, в Телках был большой пруд и мельница – от всего этого осталась только насыпь с двух сторон речки, а вместо плотины – в том месте, где ее прорвало, – сделали деревянный помост, «временный», который так и остался на целые десятилетия и латается время от времени. В пруду этом когда-то водилась рыба, а сейчас колхозники даже ее вкуса не знают...

Я спросил Коротышкинскую старуху:

– Почему из того же мяса не пробуют хозяйки сделать котлеты или пельмени?

– А что это такое «котлеты»? У нас тут этого сроду не едали. Нешто нам, бабам, есть когда это делать, вымудрять? Встаем в 4 часа утра, доим корову, потом ставим в печь тяжелые горшки рогачами и – на усадьбу свою подаемся, полоть, поливать... Потом, намаявшись на усадьбе, плетемся еле-еле на работу в колхоз... А

вечером мы уже без сил – кормим семью (в селе говорят не «семью», а «сэ́мью», не «стаканы», а «стакань»), быстро стираем белье или штопаем одежду и заваливаемся спать. А серед ночи молодых баб еще и мужики донимают, своё требуют. Вот так кажинный день... – вся наша бабья жизнь так и проходит... Ну, а ежели еще из сырого мяса энти котлеты делать, то когда? Да и то еще: чем же тогда похлебку заправлять, если не мясом – хоть раз-два в неделю? А на то и другое мяса-то не хватит...

– Ну, а до колхоза тоже похлебку варили?

– Знамо... И тогда разваривать всякие блюда некогда было: сейчас на работу в колхоз ходим, а тогда – на своё поле ходили, его же обработать надо было... Но тогда – в годах двадцатых – хоть мяса много больше было, да сала, да и яйца ели, а нонича, когда соберем немного яиц от своих нескольких кур, везем их на базар: надо же что-то купить из обуви, да одежду кой-какую... Да и пряники с базара везли до колхозов – и бедняки когда-никогда...

– А сейчас разве нет на базаре пряников?

– Есть, хотя и не такие, как тогда... Но у нас денег же нет: на трудодни денег почти не дают, а один только хлеб – и то еле-еле хватает до нового урожая. А при Усатом и этого не давали – одни только «палочки».

– Ох, уж эти «палочки»...

И я решил посмотреть, все ли так живут. А может, всё же лучше?... И решил обойти все избы (все «дворы»), поговорить с каждой семьей в отдельности, выяснить настроение: ведь на собрании они стесняются друг друга да начальства...

И пошел. Ходил вечерами. И куда бы ни пришел, всюду, кроме семей коммунистов-начальников и некоторых механизаторов (комбайнеров, трактористов), говорили почти одно и то же: «вилы им в руки», «замучили, затерзали они честной народ», «хотим, чтобы кол-

хоз был нашенским, а не райкомским, чтобы мы сами, кто работает, были в нем хозяева».

– А что значит «хозяева в своем колхозе»?..

– А чтобы, – подхватил 10-летний сын тетки Матрены-свинарки, которая возилась рогачами у печи, одновременно разговаривая со мной, – чтобы мы могли брать в колхозе что хотим, не спрашивая ни у кого, коль это наше.

Тетка Матрена рассмеялась:

– Нет, наше, детка, это значит общее, а коль это общее добро, то спрашивать надо, но не у прохиндеев и не у Симакова и Бутузова, а у общины – у самих себя, знамо, у артели, у собрания колхозников...

В жерле печи я обратил внимание на то, что там было много горшков и ведер с водой, а тетка Матрена запихивала еще одно ведро...

– А для чего столько воды греете?

– Как же, сегодня суббота – купаться будем.

– Где?

– Как где? Знамо тут, в печи.

– Как в печи?

– А просто: залезают в печь и шпарятся вениками.

– А бани у вас нет?

– Бань тутачки ни у кого отродясь не было.

Оказалось, почти все тут топили по-черному и купались в жерлах печей (кроме некоторых семей, у которых были уже голландские печи – с лабиринтными дымоходами), как в Полесье, где я учительствовал в 30-е годы... А ведь это был уже конец 50-х годов... Думаю, что и поныне бань в степной пензенской деревне нет...

Ну, а как я буду? – подумал я, улыбнувшись про себя. Нет, в печь не полезу, буду отмываться около печи – из лоханки...

Обойти всех я так и не сумел, подсчитал, что на это должны уйти многие месяцы: ведь с каждой семьей поговорить надо, а не просто «здрасьте – до свиданья»... Но обошел я все-таки многих.

Картина в целом все же для меня прорисовывалась: хотя жизнь у всех тут тяготящая, почти скотская, беспросветная, но неверно, что они не ощущают этой беспросветности, как полагают иные мыслители: они тягуются этим. Ведь грамотность все же в какой-то мере открывает им глаза на свое существование (и я вспомнил, как Толстой в свое время полагал, что несчастному мужику впору оставаться неграмотным, дабы не осознавать своего несчастья, – когда я это у него читал, воспринимал лишь абстрактно эту мысль, как некое чудачество графа). Здесь прояснилась для меня уже совершенно отчетливо схема нового социального расщепления на селе: вместо старого – намного раздутого сталинскими опричниками – расщепления «доколхозного периода» на кулаков, середняков, бедняков-безлошадных и батраков (на самом-то деле кулаков настоящих на Пензенщине и не было: в них зачисляли зажиточных, крепких середняков для выполнения плана-разнарядки по «раскулачиванию», а когда для этого и их не хватало, то в списки вставляли и просто середняков и тех, кто был не то середняком, не то бедняком, чем-то «между») сейчас сельское население делилось так: коммунисты и масса некоммунистов, механизаторы (плюс учителя, фельдшеры) и масса немеханизаторов, мужчины и женщины, жены и вдовы. Коммунисты, механизаторы, сельские «интеллигенты» (учителя, врачи, агрономы, зоотехники, ветеринары) – это была элита, остальные были в роли илотов.

Коммунисты-начальники и механизаторы (т. е. процентов десять всех колхозников) жили в деревянных домах (на хороших, возвышенных местах) с голландским отоплением; остальные жили в мазанках, сделанных из плиток (размером в два кирпича), смешанных из глины и кизяков (лошадиного навоза). Кизяки эти сушили на солнце и употребляли зимой также в виде топлива – вместе с соломой (дров тут нет).



Механизаторы жили намного лучше остальной массы колхозников главным образом потому, что получали оплату не от колхоза, членами которого считались, а от МТС (от колхоза же они получали только усадьбу да участвовали в колхозных собраниях), – и поэтому могли председателя колхоза и правление послать на ..., когда от них требовали сделать работу качественно или вообще что-то сделать: по работе они подчинялись только МТС... Учительницы, как правило, выходили замуж за механизаторов – главным образом, это были браки по расчету и по престижности.

Ниже механизаторов в социальной иерархии села стояли остальные мужчины: они были ездовыми (возили зимой корма к фермам со стогов, которые находились в степи), конюхами, прицепщиками, работали в столярной мастерской, караульными (сторожами) ночью.

Самую же тяжелую, ручную физическую работу – в поле, в животноводстве – выполняли женщины: они пололи, выкапывали и чистили от ботвы сахарную свеклу, сгибаясь в три погибели, сидя на сырой земле (часто до самой зимы, ибо работы по сбору свеклы затягивались до глубокой осени, а то и до выпадения снега); перелопачивали зерно на токах, в зернохранилищах, пололи кукурузу, картошку, грузили лопатами хлеб на грузовики, собирали сено и солому в стога́ (это уже вместе с мужчинами)...

Особенно все это доставалось делать вдовам (а их долгие годы после войны осталось много), ибо замужних женщин все же защищали мужья (хотя и лупцевали их время от времени, так сказать, от любви). Вдовы же были на селе самым низшим сословием, они стояли на самой низкой ступеньке социальной лестницы, их было в колхозе процентов 30.

«Эмансипация» женщин, их равенство с мужчинами, разрешение «женского вопроса» в селе (да и в стране в целом) выглядели так: девочки учились в школе на-

равне с мальчиками; но и работы тяжелые женщины должны были делать «наравне» с мужчинами, а на самом деле делали их вместо мужчин. Все черные работы делали женщины (да и по сей день это так и остается). «Великий отец, вождь и учитель» провозгласил: «Женщины в колхозе – великая сила», – эти внешне красивые слова Сталина (он был мастером одевать мерзости в красивые девизы) означали в действительности вот что: то, чего за низкую оплату или почти бесплатно не хотят делать мужчины, можно заставить делать женщин, ибо они, мол, податливы, как скот: так же, как во время войны заменяли лошадей коровами, впрягая их в хомуты, так и женщин «впрягают в хомуты», когда не хватает мужчин или когда мужчины предпочитают в них не лезть...

*Поднять с колен вдов* – вот первая задача, как стало мне ясно, как сформулировал я ее себе. Дать им вздохнуть: освободить от бригадиров-мародеров, построить им силами колхоза хорошие деревянные избы с большими окнами вместо покосившихся темных мазанок (с крохотными оконцами), в которых, между прочим, зимой вместе с людьми находились и телята, и поросята, ибо в хлеву они бы замерзли и подохли. Иногда, если хлев был совсем ветхий, то и корову держали в избе – особенно в морозные дни. Словом, картина была такая: в одном углу корова и теленок, в другом – поросята, а в третьем дети делали уроки или играли в тряпки, которые назывались куклами, а у печки ворочала рогаками кувшины и горшки мать... Темно, неудобно, холодно, сыро. Работа, работа, тоска, морока – и никаких положительных эмоций... Можно ли считать, что подобная жизнь имеет хоть какой-либо смысл? Ведь это же хуже, чем небытие, это же минус-жизнь...

Начали мы с того, что на ближайшем заседании правления колхоза был поставлен вопрос о поведении бригадира Сухова Трофима: на него было больше всего нареканий, жаловались женщины-вдовы, что он требует от них поллитровки или плату «натурой», т. е. при-

нуждает к сожительству, иначе не дает лошадь, например, привезти солому с поля. Когда он напивается, становится красным как рак и свирепым, глаза наливаются кровью – и он может избить тогда любого; избивает свою жену нещадно, а она – мать пятерых детей. Она буквально высохла от его истязаний...

Явиться на заседание правления он отказался: «Не пойду больше в избу к врагу партии – к этому Коротышке»... Тогда член правления Шишов Петр (коммунист, скромный, очень честный и на редкость бескорыстный человек) предложил:

– Пусть решит это сама бригада на своем собрании.

Это демократично было и давало возможность правленцам избежать прямой враждебности к себе этого свирепого человека – «опоры райкома».

Собрание бригады большинством проголосовало за снятие. Бригадиром был избран родной брат Трофима – Сухов Михаил, который во всех отношениях был полной противоположностью Трофиму: беспартийный, обходительный, трезвый.

...Раздался снова звонок из райкома:

– Что же, стал коммунистов разгонять с руководящих постов!.. А ведь Трофим старый, проверенный бригадир, дисциплину крепко держал... Развалишь ты так дисциплину...

– Но решило ведь собрание бригады. Демократия же...

– Допрыгаешься ты со своей демократией. Куда только она тебя заведет?.. Плохо начинаешь, плохо... Самым умным себя считаешь. – Нетрудно догадаться, что у телефона был председатель райисполкома Булыгин (член бюро райкома, второй человек в районе), так как это было его любимое выражение, когда он был чем-то недоволен.

## ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Столкновение с райкомовским начальством началось (вернее, продолжалось) с первых дней уборочной.

... Приехал Булыгин:

– Сколько хлеба будете сдавать сверх плана?

– Два-три процента, – отвечаю.

– Это почему же так мало? Ведь хороший ныне урожай...

– А потому что колхозников тоже досыта кормить надобно.

– Но патриотизм, патриотизм где?

– А разве колхозники вне «патрии» живут?

Отправились по полям, где работали комбайны.

– Почему не убираете пшеницу?

– Не совсем созрела. Надо еще пару дней подождать.

– Но нам же сводку надо передавать, а не демагогией отделываться. От нас «наверху» сводку ждут, по ней судят о нашей работе, а не по словам...

– Да, но мы пока убираем овес: он созрел раньше.

Подъезжаем к буртам с овсом. Булыгин взял горсть, просыпая сквозь пальцы:

– Да, овес созрел. Это верно.

Поехали к пшеничному полю. Булыгин пробует колосья и – почти соглашается (в сельском хозяйстве хорошо разбирается): не совсем созрела... Едем дальше, снова мимо овсяного поля.

– Но как же быть со сводкой? – возвращается предисполкома к своему вопросу (ради которого он и приехал), ожидая от меня какой-то «инициативы», какого-то «рвения»...

– Сводка?... По-моему, государству нужна не ежедневная сводка, а конечная, не сводка ради `сводки... Государству нужен качественный хлеб – мы и сдадим чуть позже, зато добротное зерно и в полном количестве – согласно плану заготовок.

– Но нам уже надо передавать сводку. Обком ждет ее от нас, – Булыгин начинает прижимать на голос. – Уборочная началась, и обком судит о нашей работе как раз по *ежедневным* сводкам, а ЦК того же требует от обкома. Симакова уже вызывал по телефону Бутузов, а его – по вертушке – спрашивает ежедневно ЦК... Понимаешь? – он многозначительно косит глаза в сторону бурта с овсом.

– Понимаю. Но сводка ведь не самоцель для государства: государству нужен настоящий хлеб, качество...

– И количество!

– Да, и количество. А мы выполним и его, но начнем через пару дней!

– Но у тебя же есть овес, – не выдержал, наконец, Булыгин.

– Что?

– Овес, овес.

– ??

– Да, овес – это тоже хлеб. Можно сдавать пока овес, раз не поспела пшеница.

– Но овес – это фураж. Овес мы сдавать не будем.

– Почему же?

– Потому что у нас достаточно пшеницы. Государству нужен для людей хороший хлеб, а не суррогат; овес же нужен скоту.

– Это демагогия. Самым умным себя считаешь! Забываешь о первой заповеди: первый хлеб – государству. Госпоставки – вот первая заповедь коммуниста. Из овса тоже кашу варят – хорошую...

– Но мы вот будем сдавать пшеницу в полном объеме, а овес оставим скоту. У нас много пшеницы и мало овса. Первая заповедь подлинного коммуниста – по-моему, – отказаться от бесхозяйственности, формалистики, очковтирательства, самообмана. Самообман – вот действительная демагогия.

– Вот и видно теперь, что мы зря пошли у тебя на поводу, не послав к тебе в колхоз уполномоченного. Ты

обещал сам все выполнять, требовал самостоятельности, а теперь подводишь район. Не допустим!

– Но поймите же: овес нужен скоту на зиму. Вы же сами смеялись на пленуме райкома над теми колхозами, которые ранней весной снимали соломенные крыши, чтобы кормить скот. Весной будете ругать, зачем мы сдали фураж, а сейчас ругаете, почему мы не сдаем фураж. Где же логика?

– А логика в том, что с нас требуют выполнения первой заповеди. Вот и вся простая логика! Сводку надо! А не словоблудием заниматься.

– Кормить зимой скот – это словоблудие? Ведь это нужно государству же, как и колхозу. Надо серьезно думать о животноводстве, а не о формальной сводке...

– Ну, это уж слишком: называть сводку формальностью – значит идти против линии партии.

– Вот это и есть настоящая демагогия.

– Словом, так: если не начнете сегодня же сдавать хлеб – либо овес, либо косить пшеницу; если сегодня же не будет сводки, то завтра положишь партбилет. Ясно?

– Нет, не ясно. Партбилет выдавал мне не Булыгин, и Булыгин у меня его отнять не может.

– Райком отнимет.

– Посмотрим.

Он хлопнул дверкой автомобиля, и шофер укатил его восвояси.

...Вечером, как я и ожидал, звонит Симаков:

– Ты что же? Хлеб сверх плана сдавать не собираешься! Пшеницу не косишь! Овес тоже не сдасешь! Подводишь ведь меня, район...

Я объяснил всё снова.

– Но это уже пахнет саботажем, как скажет Бутузов... Глядя на тебя, и другие председатели начнут бунтовать, отсебятиной заниматься.

– Неужели Бутузов – дурак, не понимает, что полезно, а что вредно для социализма, для советской власти?

– Пойми же, в дураках всегда тот, кто ниже рангом...

Ночью меня вызвали на бюро райкома: такое у них обыкновение – брать измором...

И все же овес мы так и не стали сдавать: пока шла «война» и сыпались угрозы, поспела пшеница. Буря несколько утихла. Однако зарубка («пункт») в моем «досье» осталась и забыта не была: она легла в кучу других зарубок, которые мне припомнили, когда «пришло время» (о, у нас «ничто не забыто, никто не забыт»)...

### ВОН С ТРИБУНЫ!

В Пензе состоялось собрание облпартактива по итогам сельскохозяйственного года. Я решил: раз прямым путем пробиться к «сердцу» ЦК не удалось, то надо попробовать сделать это на облпартактиве. К тому же Бутузов все равно после партактива проведет решение об отмене производимого «пиратским» путем (как он в обкоме выразился и о чем мне рассказали) нашего эксперимента по новой системе оплаты. Поэтому, как бы Бутузов ни повел себя на самом партактиве, надо, подумал я, именно тут «давать бой». И я стал тщательно готовить свое выступление.

Доклад же Бутузова лишь утвердил меня в моем намерении. Дойдя до нашего колхоза, он разразился таким пассажем:

– А вот некоторые председатели полагают, значит-понимаете, что если их колхозы добились каких-то хороших результатов, то они могут позволить себе творить произвол, отсебятину, не спросясь согласия, значит-понимаете, у нашей родной партии, значит-понимаете. Они допускают, значит-понимаете, кустарничество, нарушая тем самым партийно-государственную дисциплину, значит-понимаете.

Зал притих: в кого же это «хозяин» метит? Но тут же наступила «разрядка»:

– Вот, к примеру, – продолжал, все больше возбуждаясь, первый секретарь обкома, – председатель колхоза «Рассвет» Тамалинского района Игидэс – (он так и не научился правильно выговаривать мою фамилию) – то какие-то бюрократические приемные дни, видите ли, одумал – и где? В колхозе! Решил, значит-понимаете, отгородиться от колхозников, от трудящихся масс забором в виде приемных дней – (в зале несколько подхалимов хихикнули...), – то коммунистов, значит-понимаете, с руководящих должностей повыгонял, понимаете ли, ком-му-ни-стов! – и он потряс в воздухе своей волосатой рукой. – То колхозников начал из колхоза исключать, то платить колхозникам-строителям, как шабашникам, большие деньги, значит-понимаете, в то время как остальные колхозники столько получать не могут, а теперь дошел до того, что произвольно, самочинно стал проводить эксперимент по введению новой системы зарплаты – все это в угоду, значит-понимаете, мелкобуржуазной, значит-понимаете, стихии. Дешевый авторитет себе у отсталой массы зарабатывает... А какой ценой? Ценой того, что замахнулся на руководящую роль партии, значит-понимаете, – и потряс снова своим кулачищем, но уже с таким остервенением, что у него даже золотые очки на переносице запрыгали.

Я тер себе висок: почему Бутузов решил все это проговорить именно здесь, на партактиве? Очевидно, хочет основательно подготовить «удар» на бюро обкома – посмотреть, как на это прореагирует «партийная масса», чтобы показать затем членам бюро обкома и особенно председателю облисполкома Кулакову, который единственный позволял себе ему, «хозяину», оппонировать (и который, как мне потом поведал замзава сельхозотделом обкома Огарев, следил внимательно и с симпатией за тем, что мы делаем в нашем колхозе), что этого «профессора» гнать надо, вопреки то-



му, что колхоз оказался передовым. Это последнее обстоятельство и было «ахиллесовой пятой» бутузовской «атаки» – и я решил уже твердо: всё обнажу первым и тут же на партактиве раздену этого сатрапа догола (хотя он, конечно, и не подозревал, что подобное вообще в природе возможно).

Я послал почти первый записку, требуя, чтобы мне дали слово. Но Бутузов давал слово другим, а мне все нет и нет. Я понял, что он вообще может слова мне не дать: кто-то из его окружения предложит «подвести черту», «выступило уже столько-то человек, а записалось много, но время уже позднее»... Кто-то из подхалимов подхватит и крикнет, как обычно: «Дать заключительное слово первому секретарю!» – и все заплодируют: никому не охота слушать эту бесконечную тягомотину, всем охота послушать концерт...

Зная из опыта все эти повадки, я поднял руку, когда кто-то кончил свое выступление. Бутузов проигнорировал мою поднятую руку, делая вид, что не видит. Тогда я поднялся «явочным» путем и заявил с места:

– Я послал записку вторым, а мне до сих пор не дали слова. Я же хочу сделать партактиву важное заявление и посему настаиваю, чтобы мне дали слово до того, как товарищ Бутузов (я не стал называть его по имени и отчеству, как это делали все в своих выступлениях) или кто-либо за него предложит, как обычно, «подвести черту»...

Кое-кто рассмеялся. Раздались возгласы:

– Дать! Дать!

(И мне – почему-то помню это очень отчетливо – пришла тогда в голову мысль: вот если бы Твардовский явочным путем встал на съезде партии и заявил о том, что у него на душе!.. Или вот на 4-м съезде писателей Евтушенко и другие имели поползновение что-то сказать в защиту открытого письма Солженицына – но, видите ли, тот писатель, который должен был председательствовать на съезде на следующий день и с которым

Евтушенко договорился, что тот даст ему слово, «срочно заболел» и на данное заседание съезда не явился. И поэтому-де, пишет Евтушенко в своей Автобиографии, он так и не смог выступить... Но почему бы ему не встать и явочным путем не обратиться к съезду? Ведь съезд крикнул бы: «Дать!..» Или он просто стал бы говорить – и никто не стал бы его лишать слова. Так в чем же дело?... Сколько я мечтал, что найдется же на Руси Великой хоть один именитый человек – Твардовский ли, Евтушенко ли, Окуджава ли, академик Капица ли, – который встанет на очередном партийном съезде, или на сессии Верховного Совета, или на съезде писателей, или на профсоюзном съезде и «врежет правду-матку» о том, что пора же кончать с диктатурой Политбюро, что пора ввести подлинную демократию, самоуправление, подлинный социализм... Но, увы, не нашлось ни одного такого человека, вхожего на эти съезды... И ведь нельзя сказать, что никому из этих людей такая мысль в голову не приходила: ведь написал же Евтушенко даже стихи «Три минуты правды» – ну, а сам что же? Почему не последовал Монсане – герою этих стихов? Ведь никто бы ему за это «вместо точки пулю» не всадил, как сделали на Кубе с Монсаной, да и в тюрьму даже не посадил бы: слишком велик был бы мировой скандал... И лишь ряд лет спустя только один человек из академической элиты оказался способным на это – Сахаров. Но и ему так и не выпала возможность обратиться к народу своему через съезд ли, по радио ли или телевидению. Так и не знает народ, чего же хочет Сахаров, хотя чувствует, что хочет добра он...)

...Бутузов вынужден был дать мне слово. Но тут же предупредил:

– Времени мало, поэтому покороче и поконкретнее.

– Если не будете перебивать и мешать, то уложусь в отведенные по регламенту 10 минут. Буду говорить только о фактах. Начну с короткой справки. То, о чем

говорил здесь товарищ Бутузов в адрес колхоза «Рассвет», делал не самочинно председатель его, а высший орган колхозной демократии – колхозное собрание. Конечно, ряд предложений вносил председатель, но, подчеркиваю, его инициативы тщательно обсуждались собранием, над которым в колхозе не должно быть *нико-го!* Что же касается того, что колхозники повыгоняли кое-кого с руководящих постов, то это были не коммунисты, а лжекоммунисты – пьяницы и мародеры (или, как колхозники их называют, прохиндеи). Не понимаю, какой смысл товарищу Бутузову брать под защиту людей, позорящих имя коммуниста? Далее. Мы не исключали из колхоза колхозников, как опять-таки, нежно говоря, неточно информировал товарищ Бутузов – (я подчеркнуто говорил «товарищ Бутузов», а не «Сергей Иванович» или «первый секретарь обкома», как все выступающие его называли, – желая этим показать, что он – обыкновенный член партии, как и все другие). Собрание исключило лишь одного колхозника за отказ ехать со всеми в лес – хотя я это предложение не поддерживал, а когда он в лес, наконец, приехал, его собрание же – кстати, по моему же предложению – восстановило. Непонятно, почему товарищ Бутузов забыл поведать партактиву эту «деталь».

Зал затих: никто еще так никогда тут не говорил с «генерал-губернатором». И они чувствовали, что главное еще впереди.

– Точно так же, – продолжал я, – допустил логические передержки товарищ Бутузов и в отношении других фактов...

– Это уже оскорбление в адрес первого секретаря! – крикнул какой-то подхалим из первого ряда. – Я предлагаю лишить товарища Игудэса слова.

– Моя фамилия не Игудэс, а Егидес. Прошу запомнить это, товарищ...

– Камов – моя фамилия.

– Ну, вот: а как бы вам понравилось, если бы я вместо Камов назвал вас Хамов или Подхалимов?

Зал прыснул от смеха.

– Теперь по существу дела, – поторопился я использовать ситуацию, чтобы сказать главное. – Я считаю (и мой опыт в колхозе подтверждает это), что сельское хозяйство будет у нас хронически хромать до тех пор, пока колхоз не станет колхозом, т. е. пока колхозы не станут кооперативными хозяйствами – в соответствии со своей идеей, пока план-заказ не превратится из слова-вывески в действительный заказ, т. е. пока колхоз не получит права принимать или не принимать заказ...

Партактив буквально замер: чувствовалось, что представителям колхозов это абсолютно по душе, что они это где-то в дальних уголках души вынашивают, как какую-то далекую несбыточную мечту-фантазию. Бутузов же не сразу решил, как ему со мной поступить...

– Первым же шагом на этом пути, – продолжал я, стараясь не глядеть на президиум, – является осуществление права колхоза ввести ту систему оплаты труда, которую он считает нужной для подъема урожайности и животноводства. Так, все вы знаете, что при погектарной оплате работники заинтересованы в количестве гектаров, а не в качестве работы.

– Верно! Верно! – раздались голоса.

– Так вот мы встали на путь замены этой оплаты оплатой за амбарный урожай. И положительные результаты уже налицо.

– Но... – открыл рот Бутузов.

– То же самое, – нажал я на свой голос, – со строительством: это же смешно, несправедливо да и – согласитесь – глупо, когда колхоз имеет право выплачивать за строительство огромные суммы денег чужим людям-шабашникам и не имеет права даже 50% этой суммы платить своим же колхозникам. Получается такая нелепость, что наемные-шабашники эксплуатируют нанимателей-колхозников.

Раздался снова смех.

– А вы бы хотели, чтобы эксплуататорами стали колхозники, чтобы они эксплуатировали наемников, чтобы колхоз превратился в кооперативного капиталиста! Вот это и есть ваша тенденция потакать мелкобуржуазной стихии! – отыгрался Бутузов и встал, полупротянув вперед руку: мол, нечего смеяться...

– Вот! Вот! Верно! – подхватило несколько подхалимистых голосов.

– Нет, не верно: мы ведь от шабашников начисто отказываемся – значит, ни нанимать, ни эксплуатировать никого не собираемся. Что же касается мелкобуржуазности, то это просто вздорный жупел: колхоз, как известно каждому грамотному человеку (даже пионерам, школьникам) – это одна из форм *социалистической* собственности.

– Но низшая! – лицо Бутузова все больше мрачнело и наливалось особой злобой.

– Низшая или высшая – не об этом сейчас речь. Важно, что это *социалистическая* форма. И поэтому называть то, что укладывается в эту форму и что принимается – не в обход законодательства, Конституции и Устава колхоза – на колхозном собрании, т. е. колхозной демократией, потаканием мелкобуржуазной стихии, по меньшей мере безграмотно...

– Вон! Вон с трибуны! – вдруг, словно гром небесный, раздалось рычание Бутузова, сорвавшегося, наконец, с цепи. – Вон!!

Он встал, оперся волосатыми ручищами (точнее: кулачищами) о стол. Его глаза сверкали, лицо и лысина налились кровью...

– Но я не кончил, – и я решил, что надо успеть громко бросить в зал еще пару фраз. – Мне еще надо было рассказать тут о том, как первый секретарь нашего обкома превратился в князя, потакающего очковтирательству во время своих поездок по районам и

как по-барски относится к бюджету времени председателей колхозов, которых считает париями!..

– Вон!!!

У собрания наступил шок – у всех буквально отнялся язык: никто (даже прямые подхалимы) не выкрикнули ни одного слова в поддержку сатрапа, но – увы, увы, увы – никто и не осмелился в этой «опасной» ситуации возразить «взбесившейся посредственности» в чине первого секретаря: сживет ведь тогда, чего доброго, со свету...

Я посмотрел с тоской на последнюю надежду – на Кулакова: «вмешайтесь же хоть вы», но... он сидел с опущенной головой...

И я ушел с трибуны при гробовой тишине, но... не в зал, а за кулисы, а оттуда уже буквально выскочил на улицу, не оглядываясь на здание областного театра, где проходил партактив.

Мне потом сказывали, что вскоре поднялся Кулаков и тоже вышел за кулисы... Быть может, он меня-то и искал, но, как говорится, след мой простыл... Партактив уже «не клеился». Выступил второй секретарь обкома, старался увести собрание в другую сторону – в обычную тягомотину о «наших задачах»... И тут же «подвели черту». От заключительного слова Бутузов отказался, сославшись на выступление второго секретаря, который, мол, «все подытожил», – люди переглядывались: явление всё же необычное. Затем зачитали текст резолюции, проголосовали «одностайно» и... остались на концерт.

...Я шел по улицам, не ведая куда: я был ошеломлен, убит – но не неудачей (семена посеянные всё же запали присутствующим в души) и не просто садизмом сатрапа, а *безнаказанностью* его, тем, что такое возможно в нашей стране, тем, что собрание промолчало, допустило подобный садизм, что не нашлось никого, кто бы встал и одернул самодурство, кто бы пристыдил

Бутузова, ну, хоть бы замечание сделать осмелился... Правда, пытался я себя затем успокоить, хорошо уже то, что никто не поддержал его, не стал кричать, что «распоясался», «зарвался» я, – и он это-то, конечно, понял, что партактив не с ним... Но как это все же мало, как это было бесконечно мало, чтобы сдвинуть с места запуганную, забитую, зачумленную, доведенную до летаргического сонного состояния Россию – Родину мою...

Долго бродил я по улицам Пензы, не находя в голове ни одной цельной мысли: какие-то огрызки фраз роились в ней, выскакивали наружу, наскакивали друг на друга, так что не за что было уцепиться...

...О, если бы выходка Бутузова была исключением! Так, увы, нет же: в жизни своей и до и после мне выпало сталкиваться с рядом первых и вторых секретарей обкомов – Иркутского, Брянского, Львовского, Киевского, Ростовского, каждый из которых – это гауляйтер, генерал-губернатор, «хозяин» огромной территории, равной такой стране, как, допустим, Дания или Швейцария.

...И вот перед моим мысленным взором пронесся образ, например, Щетинина – первого секретаря Иркутского обкома (ставшего затем послом в Монголии), похожего своим характером, как две капли воды, на Бутузова. Однажды в Иркутске, где я оказался как раз сразу после колхоза и где тогда работал ассистентом на кафедре философии медицинского института, должна была состояться женская конференция всей Восточной Сибири. Она должна была начаться в 10 часов, ее должен был открыть и вести «сам» Щетинин (почему не кто-то из женщин, одному Богу известно). Но он опаздывал, как часто бывало. Женщины в ожидании начала стали петь... Но вот явился «Хозяин» и – вместо того, чтобы по-простому да по-умному зайти в зал к женщинам и присоединиться к их пению, – взошел сразу на трибуну и вскинул, почти как Гитлер, вперед руку, что

означало: «Хватит! Довольно! Замолчать! Закрывать!»

И... началась обычная тягомотина: скучнейшее вступительное слово Щетинина, конечно, по шпаргалке (причем с искажением произношения слов), затем «предложение» – избрать президиум. И все дальнейшее по стандартному сценарию, где заранее все расписано:

– Кто имеет слово по составу президиума?

– Я! – встает заготовленный человек и зачитывает заготовленный список.

– Будем голосовать по отдельности или списком? – спрашивает Щетинин, зная заранее ответ.

– Списком! – выкрикивает другой заготовленный человек.

– Кто за? Кто против? Воздержался? Нету. Принято единогласно.

Спектакль продолжается:

– Есть предложение избрать почетный президиум – в составе всего нашего ленинского Политбюро!

Бурные аплодисменты...

– Членов президиума прошу занять места.

Названные в списке лица поднимаются и направляются к сцене... В это самое время духовой оркестр (он состоял из подростков из ПТУ), находившийся возле сцены, заиграл «Варшавянку».

И вдруг – гром среди ясного неба: Щетинин вскочил на ноги, и, стукнув со всей силы кулаком по столу, бешено заорал в сторону седовласого дирижера:

– Вон отсюда!!!

Музыка оборвалась на полутоне... В зале – шок: никто ничего в первые мгновения не понял. Оказывается, перед Щетининым лежала «программа» конференции, где все было расписано: «После приглашения членов президиума занять свои места, оркестр заиграет Гимн Советского Союза». А он – о Боги, о грех! – заиграл другое... Это Щетинину померещилось кощунством – возможно, он испугался, что кощунством это



покажется в ЦК, если вдруг «узнают Там». Но, как бы то ни было, он полностью обнажил свой идиотизм. Да если бы только он!..

Когда женщины несколько пришли в себя, они загудели, недовольные этой дикой истерикой тирана. Но опять-таки: хотя загудели почти все, но вот никто (никто!) так и не встал и не возмутился, не заявил пусть бы удивление, если не протест или осуждение. Никто не потребовал от Первого секретаря извиниться перед дирижером... Оркестр встал и покинул зал...

И лишь когда «Хозяин», наконец, сел, кто-то из «близкого окружения» что-то шепнул ему на ухо... И – был объявлен перерыв.

После перерыва Щетинина уже не было: вел конференцию второй секретарь обкома Меркурьев. И никто не счел нужным извиниться перед собравшимися. Никто не сообщил об этом в ЦК. Никто не сделал Щетинину даже замечания. Больше того, Щетинина вскоре направили «на более ответственную работу» – послом (т. е. опять-таки генерал-губернатором!) в страну-сателлит Монголию (неофициальную 17-ю республику СССР).

.....

Не менее тупыми и самодурными были и секретари Брянского обкома. Так, секретарь по пропаганде Смирнов на собрании в машиностроительном институте, где я тогда работал доцентом на кафедре философии, заявил:

– По секрету скажу вам: рано вписали в программу партии отмену диктатуры пролетариата. Разве можно без диктатуры?

(Тогда был период, когда член ЦК Демичев, рупор Шелепина и К<sup>о</sup>, повел – после снятия Хрущева – атаку за возврат к формуле диктатуры, т. е. по сути за ресталинизацию.)

А в ответ на записки, где задавались ему вопросы о Евтушенке, Шолохове, Пастернаке, он отвечал:

– Шолохова мы успешно лечим от алкоголизма;

Евтушенко допрыгается... А Пастернак? Ну, что Пастернак? Сидит себе и пописывает. – (Это в то время, когда Пастернак уже умер.) Было ясно, что Смирнов не знает даже, кто такой Пастернак. И это идеологический вождь целой области, равной по величине какой-либо стране в Западной Европе, – и не знает крупнейшего нашего поэта. «Такой неуч, – думал я. – Боже мой, кто же нами правит!..»

...Словом, поведение Бутузова на областном парт-активе не было ни исключением, ни случайностью: оно типично для того звена партийно-государственной иерархии, к которому он принадлежал. Трагедия же в том, что уровень поведения и первого звена этой иерархии – т. е. членов Политбюро – не намного выше в большинстве своем. Таков, к примеру, Гришин; таков был и Шелепин, хотя он казался более хитрым (его я знал со студенческой скамьи); об уровне Брежнева, Суслова, Кириленко, Алиева, Бодюла, Андропова и К<sup>О</sup> можно судить по их бесцветным «историческим» речам на съездах, пленумах, перед избирателями (к сожалению, других прямых критериев их «гениальности» у нас нет).

Каким-то приятным исключением представлялся Кулаков. Об этом я давно догадывался, но убедился лишь тогда, когда он два дня спустя после злополучного облпартактива пригласил меня к себе в Пензенский облисполком:

– Я давно слежу за вашей деятельностью, знаю все ваши шаги, ценю вашу хватку и ум... Я хочу поговорить с вами серьезно, так сказать, по душам. – Он едва улыбнулся. – Прежде всего мне хотелось бы снять налет недоумения у вас по поводу того, что и я оказался таким, как все, и не вмешался в выходку Бутузова на партактиве: я надеюсь, что вы понимаете, что председатель облисполкома – не первый человек в области...

– Понимаю, увы, не только это, но и то, что за этим скрывается: ведь если у нас действительно советская

власть, т. е. власть Советов, то именно председатель Совета и должен быть первым человеком.

После тягостной паузы Кулаков вдруг сказал:

– Вот видите – парадокс: советская власть без власти Советов...

– А не лучше ли нам называть вещи своими именами... (Я хотел сказать: «Никакой советской власти у нас нет».).

– Возможно, но не будем сейчас об этом... так вот: не мог я прилюдно «подорвать» авторитет первого секретаря обкома, ибо он-то и есть первый человек в области...

– Гм... Всё, конечно, зависит от потолка, до которого человек – даже такой, как вы, – готов подняться в своей решительности...

– Вы можете, конечно, о моем потолке думать что угодно, но вы должны по крайней мере знать, что если Бутузов не осмелился ни самолично, ни через нажим на областного прокурора отменить ваш эксперимент по введению новой оплаты труда и если он до сих пор не поставил вопрос об изгнании вас с председателей колхоза и исключении вас из партии, то лишь потому, что именно я ему возражаю, а некоторые члены бюро обкома согласны со мной, полагая, что если я осмеливаюсь возражать, то за мной стоит в ЦК какая-то сила! И как реагирует ЦК, на чьей стороне он окажется, ни Бутузов, ни кто-либо иной в обкоме не знает... Поймите же: в душе своей я целиком с вашей позицией в отношении сельского хозяйства. Если когда-нибудь появится у меня большая возможность (а я на это реально надеюсь), буду эту позицию отстаивать... \* Но пока – скажу прямо – лезть в открытый, прилюдный, публичный бой с Бутузовым

---

\* Я не мог тогда знать, что за этим скрывается; очевидно, и он сам не надеялся, что окажется не просто секретарем ЦК, а даже членом Политбюро... А может быть, и надеялся на какую-то «руку», на какие-то подводные силы, на какую-то расстановку их... Но когда он стал членом Политбюро ЦК, а я уже давно был диссидентом, у меня

не буду: я хочу попробовать выиграть... Пока я лишь сказал Бутузову, что он был не только неправ, согнав вас с трибуны, но что при этом его акции в глазах актива коммунистов области упали намного и что, прежде чем отменить ваш эксперимент, нужно хорошенько все взвесить... Он понимает, что это означает, что я – на вашей стороне...

Это был неожиданный для меня сюрприз – и я не мог, да и не хотел скрыть своего возбуждения:

– Я, конечно, страшно рад, что у меня и такого человека, как вы, сходные взгляды по главным проблемам нашего социального бытия. Но... разрешите уж быть откровенным до конца – думаете ли вы, что если бы оказались в Политбюро (чем чёрт не шутит, – улыбнулся я), то смогли бы повернуть дело?..

Кулаков криво усмехнулся:

– О, это почти невозможно.

– Что?

– Оказаться в Политбюро: степень вероятности бесконечно мала.

– Ну, а повернуть его?

– Оказавшись там, степень вероятности повернуть его несколько бóльшая, но и риск бесконечно бóльший. Но тогда бы я уж на него пошел наверняка, правда, не сразу... Иначе ведь жизнь потеряла бы смысл: если человеку выпала бесконечно редкая большая судьба, то надо оказаться достойным ее. Не попытаться максимально использовать ее – это уже преступление.

---

мелькнула надежда на этого человека. И вдруг Кулаков внезапно скончался, умер, исчез, – а ведь он был здоровяк, крепкий мужчина. И меня, конечно, не покидает версия, что он оказался кремлевской мафии не ко двору и его «испарили» по-Орвеллу... Иными словами: это показывает, насколько неправ, например, Рой Медведев, ожидая, что кто-то может наверху что-то изменить, провести какие-то реформы: пока существует система номенклатурной матрицы, последняя будет из себя выплевывать в «брак» всякое «инородное тело», т. е. любого, кто начнет мыслить хоть чуть-чуть не так, как этого требует матрица, – таких, как Кулаков или Резаков...

– И вы не боитесь мне это говорить?

– Вам – нет: ведь, судя по тому, как вы бьетесь, это смысл вашей жизни: не станете же вы предавать смысл своей же жизни, предавать самого себя...

«Да, он, оказывается, очень умен – этот номенклатурщик», – подумал я. Таких я ни до того, ни после никогда больше не встречал, к великому сожалению. Он был исключением, которое подтверждает правило.

...Я согласился с его предложением, что он попытается устроить так, чтобы в наш колхоз была прислана комиссия во главе с замзамом сельхозотдела обкома партии О-вым, который близок к нему, Кулакову, и разделяет его позицию. И эта комиссия, проведя объективное расследование, поможет утвердить наш эксперимент...

#### ГДЕ ЭТО ЕЩЕ ЕСТЬ?

Но об отношении ко мне Кулакова Симаков и райкомовцы не знали, а если бы и знали, продолжали бы все делать в угоду Бутузову, ибо «хозяйном» области все равно считался первый секретарь обкома, а не председатель облисполкома, равно как «хозяйном» района – первый секретарь райкома, а не председатель райисполкома (иначе дело обстояло и обстоит лишь на самом низу – в хозяйственных, производственных единицах: на заводах, в колхозах, равно как в учебных заведениях, т. е. в «первичных коллективах», – тут первым человеком был – и есть – директор завода, школы или председатель колхоза, а не секретарь парторганизации, равно как и не председатель сельсовета или месткома. Так менялась субординация между партийными, хозяйственными и советскими звеньями в иерархической лестнице. Так обстоит дело и по сей день. Сложилась эта традиция спонтанно, но в зависимости от исходной посылки – от

принципа однопартийности: диктатуру Политбюро именно такая субординация устраивает).

И вот, когда я глубокой осенью, перед самой зимой, обратился к Симакову с нашим новым предложением, он, еще не дослушав до конца, тут же взорвался (наши предложения – особенно после облпартактива – стали действовать на него, как красное полотно на быка):

– А где это еще есть?? – пустил он в ход свой обычный в таких случаях вопрос.

Предложение же было совершенно «безобидное»: надвигается зима; зимой колхозные тракторá с санными прицепами и цистернами на них едут за 30 (!) километров (наш колхоз был самым дальним в районе) по снежным перекатам в Тамалу – брать жом на свеклопункте и барду на спиртзаводе для скота; причем туда они идут порожняком (без груза), обратно же – даже при добро-совестном отношении трактористов – часть барды по дороге расплескивается (в зависимости от величины образовавшихся после поземок перекатов), а жом, конечно, замерзает, пока его везут. Да и привозить тракторами столько, чтобы хватило всем фермам, нет возможности. Ввиду этого правление колхоза поддержало следующий план: построить в райцентре, на территории спиртзавода (а она огромная и заливается без толку бардой), две фермы нашего колхоза – коровник и свинарник, благо лес у нас для этого есть, имеется в достаточном количестве и цемент, и шифер. С директором спиртзавода мы договорились легко: «Мне что? Территории не жалко. У нас ее хоть отбавляй... Но все же с райкомом согласовать надо». Договорились мы и с молодыми комсомольцами – они охотно согласились провести зиму в райцентре: и деньги заработают, и в кино, и на танцы в райцентре ходить будут (наш новый клуб еще построен не был)...

Вот это все я и изложил спокойно Симакову. На его взрывной вопрос: «А где это еще есть?!» – я тихо ответил:

– Нигде. Нигде, Федор Васильевич, этого еще, очевидно, нет. Но если мы это сделаем, то польза от этого будет большая и государству, и колхозу, и «сводкам» – всем.

– Но земля на спиртзаводе ведь государственная...

– Ну и что? Я договорился с директором завода...

– «Договорился, договорился...» А он что, хозяин, что ли?

– Но вы же заинтересованы в «сводках» – ведь надой увеличится и мяса будет больше...

– Возможно. Возможно. Но без обкома больше ни шагу!..

Мы бы, конечно, свои фермы могли построить явочным порядком (т. е. без разрешения «свыше»), но я знал, что директор завода без согласия райкома строить их не позволит, а райком не позволит без обкома, и т. д.

И хотя колхозники – особенно бабоньки – меня утешали: «Мы своего председателя в обиду не дадим» (они после скандала на партактиве уже учуяли, что надвигается беда, гроза), но я все полнее осознавал, что ничего больше того, что мы успели сделать в нашем колхозе, в этих условиях – в условиях наличного в стране режима – уже достичь невозможно. И мне становилось все более и более ощутимо, что дело не в личности Бутузова или Симакова, а во всём стиле жизни, выработанном при системе данного режима, в социально-психологических установках, адекватных этой системе.

И хуже того: съездив вскоре после облпартактива в Москву, «пронюхав» подробно «расстановку сил» там, Бутузов определил, что Кулаков – по крайней мере «пока что» – не выражает «мнение ЦК» (даже если у него и есть там «рука»), что там не готовы поддержать новую систему оплаты и «всякие выверты» и «отсебятину»... И Бутузов обозвал себя (про себя, конечно) дураком, что зря сразу не запретил эту «чертовщину». В душе он чертыхался и на Хрущева за то, что трудно было при нем «потрафить в точку»: то ли дело было при

Сталине, когда всё было так ясно. Чертыхался он сильно потому, что опасался, как бы ему теперь не попало за то, что он так долго «не реагировал» на «вывихи», миндальничал и не запретил сразу «вредные эксперименты» – и всё из-за этого «фигляра» Кулакова, которого «гнать надо и чем побыстрее», а то он «способствует разложению дисциплины среди председателей колхозов».

...Словом, была спущена нам предельно «ясная» директива: эксперименты с амбарной системой оплаты отменить, равно как отменить доплату строителям-колхозникам вне системы оплаты по трудодням – как явления, «не соответствующие социалистическому принципу распределения и разжигающие мелкобуржуазные поползновения».

Всё это ввергло колхозников в уныние... Но они продолжали всё же работать добросовестно (хотя и без прежнего энтузиазма): во-первых, знали, что пока есть «этот» председатель, обмана не будет (у них уже возродилось определенное доверие к тому, что работа даром не пропадает, оплачивается); во-вторых, понимали, что если работа пойдет плохо, то либо меня уберут, либо я сам уеду, а этого они не хотели: реставрации власти «прохиндеев» им – ой как! – не улыбалась...

\* \* \*

К этому времени жена моя, Галина Титова, забеременела. Друзья посмеивались: «Прямо по поговорке: врозь спали, а дети были...» Когда Симаков узнал о «случившемся», он совсем распыхтелся:

– Вот те и на! Председатель колхоза... рожать! Где это еще есть? Это безответственно!

Мы еще раз предложили «дать» нам два колхоза рядом (но уже не мне дать колхоз рядом с ее, а ей – рядом



с моим). Но теперь райком еще больше противился любому нашему предложению, предпочитая делать всё наоборот.

Тогда Титовой пришлось оставить вовсе деятельность председателя, и Облоно назначил ее директором Мачинской семилетней школы, по указанию Кулакова. Мы решили: поскольку ничего больше в хозяйственном отношении при этом режиме уже сделать невозможно (и поскольку материально колхозники все-таки стали жить немного легче), то надо взяться за духовное развитие личности колхозника, надо подогнать духовный уровень, который оказался еще ниже материального. Надо взяться за культуру мышления и культуру чувств.

Вместе с учителями разработали тогда мы целый план создания сети повышения кругозора, которой хотели охватить всё население – от рядовых колхозников до учителей, от детей до стариков. Надо научить людей мыслить – тогда они сами начнут разбираться, что к чему.

Культура мышления, умение всесторонне мыслить, умение не давать манипулировать своим сознанием – вот что, полагал я тогда, в конце концов, решит все проблемы...

АБОВИН-ЕГИДЕС Петр Маркович – родился в 1917 г. в Киеве. В возрасте трех лет лишился отца (расстрелян в ЧК), воспитывался в детдоме. Учился на рабфаке. Учительствовал в селе. Учился затем в ИФЛИ (на двух факультетах). Окончил в 1941 г. Ушел добровольцем на фронт. Арестован в 1942 г. и отправлен на Воркуту (осужден ОСО на 10 лет). Реабилитирован в 1949 г. С 1950 г. работал преподавателем на Украине. В 1953–59 гг. жил в селе, в Пензенской обл., стал председателем колхоза (1956–59). В 1960–70 гг. работал доцентом на кафедре философии (в Иркутске, Брянске, Ростове-на-Дону), в 1963 г. защитил философскую диссертацию. С 1967 г. участвует в правозащитном движении. В начале 1970 г. за написание книги «Единственный выход» был арестован и до 1972 г. находился в «психушке». В 1978 г. вместе с друзьями основал самиздатский журнал «Поиски». В начале 1980 г. был вынужден эмигрировать. В эмиграции продолжает правозащитную деятельность.

## ВОСТОЧНОТУРКЕСТАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Старожилы столицы советского Казахстана знают, что когда-то было две Алма-Аты: первая и вторая. Первая Алма-Ата – это бывший Кагановичевский район, названный в честь «железного наркома». Ныне это – Октябрьский район Алма-Аты. А вторая Алма-Ата – это сам город со всеми правительственными зданиями, театрами и вузами. Между первой и второй Алма-Атой когда-то лежали колхозные поля.

Со временем первая и вторая Алма-Ата срослись, но бывшая первая Алма-Ата и по сей день населена, в основном, железнодорожниками, потому что там железнодорожная станция, локомотивное и вагонное депо и прочее железнодорожное хозяйство.

В этот пролетарский район Алма-Аты, в дом № 17 по улице Льва Толстого, мы переселились из аула Кустанайской области в 1932 году, спасаясь от голодной смерти, когда наши аулы вымирали почти полностью. Оставшиеся в живых наши близкие и дальние родственники и их знакомые, приезжая из Кустаная в Алма-Ату, стали навещать нас. Некоторые из них оставались жить у нас неделями и месяцами, несмотря на то, что мы сами жили в тесноте: 17м<sup>2</sup> на 4 человека семьи, без кухни и иного «подсобного» помещения. Даже у городских казахов не принято до сих пор отказывать гостю в ночлеге.

И вот однажды, мне кажется, это было весной между 1945-м и 1947-м годами, приехал к нам из Кустаная наш дальний родственник – Маденов Кенжегара, который работал нарсудьей в Амангельдынском районе Кустанайской области. Жил он у нас тогда долго – около двух месяцев. Время было голодное. Каждое утро в будни Маденов Кенжегара уезжал, как мы тогда говори-

ли, «в город», т. е. во вторую Алма-Ату, и возвращался к вечеру. Мы знали, что он учится на каких-то курсах при ЦК компартии Казахстана. Наш гость хвалил столовую в ЦК: как там всё дешево и вкусно кормят. Однажды он взял меня с собой «в город», чтобы накормить в столовой ЦК, но туда меня не пустили. Оставив меня у входа, дядя Кенжегара уходил и приходил. Через стеклянную дверь я видел, что он уговаривает то одного, то другого. Потом сходил к какому-то большому начальнику, но так и не добился разрешения ввести меня в столовую. Мне было стыдно от того, что дядю Кенжегара так унизили. Я недоумевал: почему такой большой человек, как дядя Кенжегара, не может накормить своего племянника хотя бы один раз в столовой ЦК?! Выглядел я прилично – нарядился специально в самое лучшее и чистое.

Секрет моей и его неудачи я узнал намного позже, когда стал работать преподавателем пединститута в г. Чарджоу. Приехали мы, преподаватели кафедр марксизма-ленинизма, на ежегодное совещание при ЦК в Ашхабад. Питаемся в столовой ЦК, имеем доступ в магазин на его территории. В столовой большой выбор блюд и цены наполовину дешевле, чем в городских столовых. С моей привычкой присматриваться к ценам, всё это я понял довольно быстро и, с простотой идиота, говорю застольникам в столовой ЦК, своим коллегам: «А почему бы такую столовую не открыть для студентов? Ведь работники ЦК, которые питаются здесь, наверняка получают больше, чем студенческая стипендия». Тут на меня как зашикали, как посмотрели на меня... А один шепотом говорит мне: «Что ж ты нас подводишь?!» А я тоже недоумеваю: «Откуда берутся такие подлецы?! Живут и говорят применительно к подлости». Короче: партия требует и умеет охранять свои привилегии.

Вернусь к Маденову Кенжегара. В мае он окончил курсы при ЦК и после того еще несколько дней прожил

у нас в ожидании отправки «в командировку». Он говорил, что им, бывшим на курсах, шьют казахскую одежду по старинному образцу: сапоги кавалерийские на высоких каблуках, брюки, головные уборы, чапаны ватные и прочее. Потом дядя Кенжегара исчез и вновь появился у нас через несколько месяцев. Опять стал жить у нас и ездить «в город», в ЦК.

Однажды я пристал к нему с просьбой рассказать мне о его таинственной командировке: где был и что делал. Дядя Кенжегара взял с меня обещание не трепаться и поведал мне, как он выразился, «государственную тайну». Я сдержал обещание. Но теперь пришло время, когда раскрытие этой государственной тайны уже не может нанести вреда Маденову Кенжегара.

История, которую рассказал мне К. Маденов, потрясла меня и сыграла не последнюю роль в изменении моего отношения к так называемой советской власти. Моя вера в «мудрую и справедливую политику партии и правительства» дала, пожалуй, тогда первую трещину.

Дядя Кенжегара поведал мне о том, что со всего Казахстана были вызваны в ЦК, в Алма-Ату, 150 казахов, которые были членами партии и работали на ответственных должностях: судьями, прокурорами, адвокатами и сотрудниками советских и партийных аппаратов. На специальных курсах при ЦК они изучали географию Восточного Туркестана (по-китайски: Синьцзян), ее народонаселение, название аулов, родо-племенные отношения и даже имена отдельных людей и их родственные связи. Потом, как я уже говорил выше, курсантам сшили на заказ старинную казахскую одежду, дали по лошади монгольской породы с казахским седлом, сбруей, коржын (переметная сумка с двумя отделениями), запас оружия и прочее, погрузили в железнодорожные товарные вагоны и отправили в Семипалатинскую область. Оттуда они верхом пересекли советско-китайскую границу, которая охранялась только с совет-

ской стороны, и по 2-3 человека рассеялись по казахским аулам Восточного Туркестана, где под чужими именами выдавали себя за путников из других аулов и вскоре приступили к выполнению оперативного задания, которое состояло главным образом в просоветской агитации.

Прежде всего они взялись за обработку казахской молодежи: внушали им, что будто бы советский Казахстан – вольное и самостоятельное государство, народ живет зажиточно, национальная культура развита высоко и поэтому восточнотуркестанские казахи должны восстать, чтобы присоединиться к своему родному советскому Казахстану. При этом советские лазутчики, разумеется, ничего не говорили ни о голодной жизни в Казахстане, ни о том, что национальная культура казахов носит только декоративную форму, ни о том, что без знания русского языка не только невозможно получить хорошую работу, но даже проехать по Казахстану, ни о том, что колхозники беспаспортны и находятся в худшем положении, чем крепостные крестьяне, ни о многом другом.

Маденов рассказывал мне с завистью и восхищением о счастливой жизни отсталых казахов Восточного Туркестана, о том, что у них много скота, золотых и серебряных вещей. Природа прекрасна. Скот пасется вольно и без охраны. Казахи добродушны, доверчивы и очень гостеприимны – живи у них сколько хочешь.

Однако слух о деятельности 150-ти советских агентов со временем дошел до гоминдановского правительства. Китайцы послали отряд в Восточный Туркестан. А советские лазутчики тем временем вооружили разагитированную казахскую молодежь, которая стала отбиваться от китайского отряда, но сами советские агенты не сразу обратились в бегство. Они сперва прихватили кое-какое добро из домов гостеприимных хозяев, потом перегнали через границу вольно пасущийся скот казахов и только тогда ушли.

В этой операции советские лазутчики потеряли одного или двух человек. «Такие были хорошие джигиты! Я их знал. Очень жаль мне их», – сокрушался Маденов Кенжегара.

– Что они – погибли? – спросил я.

– Они там остались. Кажется, погибли, – отвечал он.

Маденов не скрывал гордости за то, что задание партии они выполнили. Ездил в ЦК и ожидал награду за успешно выполненную операцию. Их дело обсуждалось в ЦК. Возвращаясь из ЦК, Маденов делился каждый раз с моей матерью слухами о том, кто из работников ЦК какую давал оценку их операции. Но, наконец, их операцию признали неудовлетворительной, и они разъехались по домам ни с чем. Не угодили!

После прихода к власти коммунистов в Китае ненасытная советская империя обрела новых рабов: по соглашению между Китаем и СССР часть казахов Восточного Туркестана была передана в СССР, о чем я рассказал в № 39 журнала «Континент».

Бывший участник восточнотуркестанской операции Маденов Кенжегара, приблизительно в 1958 году был разоблачен, как взяточник и потерял свою многолетнюю судейскую работу. Но партия не оставляет своих сыновей в беде: Маденов Кенжегара по своим способностям получил новую работу – стал кладовщиком в Заготзерне поселка Боровское Кустанайской области и вскоре построил большой собственный дом.

Рассказанную мной историю, наверное, знают его сыновья и оставшиеся в живых участники восточнотуркестанской операции. Они или жители Восточного Туркестана могли бы дополнить и уточнить мой рассказ.

*Мюнхен, 1983 г.*

## НОВЕЛЛА О САПОГАХ

В тридцатые годы зимы в Ленинграде были долгие, очень холодные с колючими ветрами и снегопадами... Помню, в один из студеных декабрьских дней 1934 года вышел экстренный выпуск газет с черной каймой, с портретом улыбающегося Кирова на первой странице и известием о зверском убийстве этого руководителя ленинградских трудящихся. В убийстве обвинялись «проклятые отщепенцы», «троцкистско-зиновьевское отребье». Со всех полос газет кричали страшные слова: «Раздавить и уничтожить гадов!» Начались бесконечные митинги на заводах и фабриках, в учреждениях, школах, институтах. Все они кончались теми же призывами – «Раздавить, уничтожить...» Я хорошо помню этот декабрь... Светало, как обычно, лишь в 10 утра, а в 3-4 часа уже темнело и зажигались огни трамваев и домов окна домов. С неба сыпалась колючая изморозь – замороженный дождь. Холодная сырость проникала сквозь наши бобриковые пальто, дырявую обувь, толстые стены домов. Забравшись в сумерках в мою полутемную комнату, закурив папиросу, я чувствовал себя отгороженным от мира и погружался в невеселые размышления...

Город жил лихорадочной, тревожной жизнью. Стали пропадать люди... Десятки, сотни, тысячи исчезали бесследно. Многие не спали ночами. Черные вороны каждую ночь кружили по городу, хватая ни в чем неповинных людей. Исчезали и ораторы, недавно так воинственно выступавшие на митингах и призывавшие к убийствам. Жить стало еще страшнее. Террор давно стал почти бытом, но такого неистового террора мы еще не испытывали.

В эти дни мне на работу позвонил мой знакомый – инспектор оркестра ленинградской филармонии Лев Юхнин – и попросил помочь отправить пюпитры и инструменты музыкантов оркестра в Таврический дворец. Я бросил все дела и поехал в Филармонию. Мы быстро нагрузили машины и отправились к Таврическому дворцу, который весь был оцеплен конной милицией. Какие-то подозрительные типы в кожаных тужурках шныряли вокруг. В воздухе, в этой таинственной тишине вокруг было какое-то особенное напряжение. В белокаменном зале, куда нас провели, было пусто. Огромные хрустальные люстры и колонны были затянуты черным крепом. Я сразу увидел высокий красный постамент, на котором стоял гроб с телом убитого Кирова. У меня были зоркие молодые глаза, и, хотя мертвец был тщательно загримирован, я увидел след пули, которая прошла через правый висок и вышла почти у левого глаза.

Мы быстро расставили пюпитры и инструменты туда, где нам указали, вошли музыканты, дирижер взмахнул палочкой, и зазвучала траурная музыка Бетховена, Чайковского, и в тот же момент появился Сталин в сопровождении своих соратников. Меня поразило его поведение. Поднявшись по ступенькам на постамент, Сталин быстро подошел к изголовью убитого Кирова, посмотрел на него, будто хотел убедиться, что он мертв, и потом также быстро отошел и, отвернувшись, встал к убиенному спиной...

Музыка наводила на всякие размышления. Я почему-то вспомнил висящую в Академии Художеств копию картины Делароша «Оливер Кромвель у гроба убиенного им короля Карла». На полотне Кромвель, подняв крышку гроба, внимательно, даже с каким-то состраданием разглядывает убитого... Раздумывая о картине, я не заметил, как по чьему-то сигналу в зал стали медленно входить колонны людей, пришедших проститься с Кировым. Это была медленно текущая,



безмолвная толпа, в которой трудно было различить лица. Впрочем, я не обращал на идущих внимания. Я был весь поглощен Сталиным. Так близко я видел его впервые. Он был невысок ростом, без «тараканьих усищ» и без начищенных голенищ. На его сером лице были заметны следы оспы, черные провалы небольших глаз были без белков. Жидкая полоска седых усов скрывала очертания рта. Когда он сказал что-то стоящему рядом Кагановичу, показались два черно-желтых клыка... У Сталина был низкий лоб, высокое темя и жидкие седовато-рыжие волосы. Короткие руки он держал на животе, то и дело оглядываясь кругом, иногда бросая острый взгляд на оркестр и дирижера, а потом снова смотрел пристально на колонны людей, которые пришли прощаться с Кировым. Это был бесконечный человеческий поток. Они шли и шли, а Сталин все смотрел, не отрываясь, и не уходил. О чем он думал?

Много лет спустя, вспоминая эту сцену, я представил себе, что Сталин, может быть, видел в этих идущих людях смертников, он видел их уничтоженными, убитыми, расстрелянными. И, вглядываясь в их лица, он мысленно казнил каждого... Но тогда мне было чуть больше двадцати лет, я не был провидцем и просто испытывал чувство холодного ужаса и леденящего страха. И что бы я ни думал в эти мгновения, я знал, что надо молчать.

Но в моей памяти навсегда запечатлелся этот темный поток людей и фигура Сталина в серовато-зеленом кителе с отложным воротником, в брюках того же цвета, заправленных в короткие голенища мягких кавказских сапог. С того места, где я стоял, сапоги эти были особенно хорошо видны: сделанные из тонкой эластичной кожи, они приняли точную форму маленькой ступни хозяина и были похожи на черные лапы животного, которыми он нетерпеливо перебирал.

Глядя на эти ноги, я невольно вспоминал запыленные высокие хромовые сапоги лежащего в гробу Киро-

ва, которого я видел много раз при следующих обстоятельствах...

Пятьдесят лет тому назад в Ленинграде нас, семейных студентов строительного института, с дневного отделения перевели на вечернее и отправили в качестве техников-строителей на строительство Дома Культуры Промкооперации (теперь это Дом Культуры Ленсовета) на Кировском проспекте. Каждому из нас дали секцию строительства, и нам нужно было, изучив чертежи, составить смету. Работа нам показалась интересной, и мы, встав рано утром, торопились на работу к восьми часам. Трамвая приходилось ждать долго, он всегда был переполнен, и даже зимой двери не закрывались, из-за чего в трамвае было холоднее, чем на улице. Мы ехали по Невскому, по всем центральным улицам, трамвай очень кружил и, наконец, подъезжал к нашему строительству. Здание Дома Культуры сооружалось на месте бывшего Скэттинг-Ринга, где когда-то еще до войны 1914 года катались на роликах. Строила этот Ринг немецкая строительная фирма и строила очень добротнo. Приходилось ломать старые, очень крепкие железобетонные конструкции вручную, зубилами, так как пневматических молотов не было. Это была тяжелейшая работа. Начальник строительства Токарь – его имени и отчества никто не знал – был плотным человеком низкого роста с такими толстыми ногами, что голенища сапог пришлось расширить на два-три дюйма клиньями. Ходил он всегда расстегнутым, в поношенной шубейке с облезшим котиковым воротничком, из-под которой виднелась черная сатиновая рубашка, перетянутая на толстом животе кавказским ремешком. У Токаря была большая голова с крупным затылком в мелких завитках волос. Цвет лица у него был восковой, бритая кожа на щеках отдавала синевой, и от этого особенно выделялись его маленькие черные глаза. Шумно входя в комнату, он приближался к каждому из нас, подозрительно осматривал наши столы и говорил: «На чем сидишь?» Потом,

обычно не дождавшись ответа, все так же громко обращаясь к неизвестному оппоненту, заявлял: «Социализм без конкуренции и безработицы не построишь!» Увы! Думаю, и эти слова ему в свое время вспомнили. В один из дней после убийства Кирова он исчез навсегда.

Главным инженером строительства был обрусевший швед Александр Константинович Стэр, тоже, как и многие другие, исчезнувший навсегда в тридцатые годы. Всегда аккуратно одетый, в костюме, «при галстук», подтянутый, малоразговорчивый, он с раннего утра до ночи сидел у себя в холодном кабинете за чертежами и на полях блокнота рисовал в раздумье бесконечные спирали. Я хорошо помню его стального цвета глаза с темными подглазницами и аккуратно зачесанные на косой пробор русые волосы. Его большие знания, внешность и врожденная интеллигентность вызывали у нас – молодых техников – восхищение. Когда мы ошибались (а ошибались мы очень часто), он говорил добродушно полушутливо-полуукоризненно: «Опять брешете!» Мы его любили и никогда не обижались.

Дни на строительстве проходили незаметно. Обедали мы в рабочей столовке, в одном из наспех приспособленных для этого помещений. Помню, к перерыву приходила обычно моя мать с кастрюлей, я покупал несколько лишних порций кролика, мама ставила теплую кастрюлю в сетку и шла домой. Там она добавляла что-нибудь к кролику – лапшу, картошку, чтобы к вечеру был ужин.

На строительстве часто бывали простои – то не хватало кирпича, то не подвозили вовремя цемент и железо для арматуры. Подъемных кранов вообще не было, и кирпич рабочие поднимали вверх прямо на плечах, вручную.

Очень часто к концу рабочего дня на строительство приходил Сергей Миронович Киров. Он жил совсем рядом, на улице Красных Зорь 26-28. Приходил он обычно пешком, реже приезжал на машине. Почти все-

гда без охраны. Обычно он останавливался на строительной площадке, где его сразу окружали рабочие и технический персонал. Киров спрашивал: «Ну, Токарь, когда дашь первую очередь? Надо бы обязательно к празднику, к седьмому ноября!» Начинался разговор, порой вялый, порой бурный, с шутливой перебранкой, иногда со взаимными упреками и обвинениями, с жалобами на трудности с рабочей силой и строительными материалами.

Киров всегда обещал во всем помочь: и в нуждах строительства, и в частных просьбах рабочих о жилплощади или врачебной помощи. Но хотя говорил он без угроз и начальственного тона, чувствовалось, что и сам он не очень верит в свои обещания, да и вправду, ему редко удавалось их выполнить.

Я всегда наблюдал за этим усталым озабоченным человеком... Был он крепок, коренаст, с сильной шеей, хорошо посаженной крупной головой и густой шевелюрой. Лицо было багрово-красное, обветренное, голос неожиданно высокий, крикливый. И, хотя Киров был популярен и несомненно обладал известным обаянием, глядя в его небольшие темно-карие глаза, которые пылливо выглядывали из-под круглого лба, я всегда испытывал чувство какой-то настороженности и даже недоверия к этому человеку. Причины этих чувств я тогда не пытался, да и не мог бы себе объяснить... Что скрывалось за этой кажущейся простотой? Какие тайные замыслы таил этот человек – верный сталинский сатрап? Киров принадлежал к первому поколению коммунистов, еще до сих пор, к сожалению, овеянных ложным ореолом «революционной романтики». Как бы проявил себя этот человек, встань он у власти? Думаю, ничего доброго от него ждать бы не пришлось...

Уже в те годы, а особенно позже, я часто задумывался над природой коммунизма – этой страшной болезни души и разума, которая погрузила в мрак насилия, голода и террора добрую половину человечества.

Не буду говорить о честолюбцах, злодеях и карьеристах, но я встречал немало людей, которые становились коммунистами, имея самые лучшие, порой даже патриотические (во время войны) намерения. Но даже они, заболев этой злокачественной болезнью, перерождались, не могли выбраться из мрака и ужаса коммунистических тисков.

И вот в Таврическом дворце в дни похорон, смотря на Сталина в мягких кавказских сапогах, стоящего у гроба убитого им Кирова, я вспоминал Кирова живым, в военной гимнастерке с отложным воротником и незастегнутой верхней пуговицей, в галифе защитного цвета и высоких до колен, всегда запыленных хромовых сапогах.

А дальше события разворачивались как по нотам. Сталин любил пышно отмечать память убитых им соратников. Правительственные сообщения об увековечивании памяти Кирова выходили одно за другим. Именем убитого были названы города, поселки, колхозы. Театру оперы и балета в Ленинграде было присвоено его имя, Путиловский завод переименовали в завод имени Кирова. Улица Красных Зорь стала называться Кировским проспектом. Был создан музей имени Кирова. Поэт Николай Тихонов написал поэму о Кирове, который всегда среди нас и с нами, как и Ленин – «живее всех живых», «вечно живой». В залах ленинградского Русского музея развернулась большая выставка конкурсных проектов памятника Кирову. Лучшим из них был признан проект скульптора Томского. Он изобразил Кирова трибуном, стоящим на высоком постаменте, в макинтоше, фуражке и высоких сапогах... Памятник был торжественно открыт в 1936 году в самом заводском районе Ленинграда, на площади Стачек.

В это же время я как-то посетил Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в его новой квартире в только что выстроенном доме на Кировском проспекте – для передовых деятелей культуры и знатных трудящихся. Шо-

стакович работал тогда над своей пятой симфонией. В этот вечер он познакомил меня с большим поклонником его музыки – маршалом Тухачевским. О Тухачевском я много слышал. Человек, который в свое время жестоко подавил в крови Кронштадское восстание и крупные волнения крестьян в Тамбове, в эти годы был на вершине славы и власти. Он только что вернулся из Англии, где присутствовал во время коронации как почетный гость из СССР.

Тухачевский был среднего роста и к тому времени уже немного располневший. У него были синие, занимавшие пол-лица глаза, волевой подбородок с ямочкой. Нос и лоб образовывали прямую античную линию. Русые гладко зачесанные волосы уже начали сесть. Во всем облике этого умного человека, любимца женщин, знавшего несколько иностранных языков, скрипичного мастера-любителя – было что-то барственное, высокомерное и холодное, несмотря на весь его внешний лоск и воспитание.

Узнав, что я скульптор, Тухачевский заговорил о только что открывшемся памятнике Кирову. Я не мог понять, что он думает на самом деле о памятнике. Маршал был очень осторожен. Помню только одно его замечание, сказанное без определенной интонации, но в глазах его мелькнула насмешка: «Скульптору особенно удались сапоги Кирова».

На этом разговор о памятнике прервался. Тухачевский оживленно и красочно рассказывал об Англии, о музыке, о женщинах, о скрипках – обо всем на свете. Он говорил, а я слушал и думал об его странном замечании. Я глядел на до блеска начищенные сапоги сталинского маршала и чувствовал какую-то непонятную тревогу...

Прошло совсем немного времени, и кровавая лапа Сталина обрушилась и на преуспевающего маршала... И через тюремный двор, с выколотыми глазами вели на расстрел Тухачевского... босого... без сапог.

*Мюнхен, август 1984*

## КАКУЮ РОССИЮ УНИЧТОЖИЛИ БОЛЬШЕВИКИ?

Хотя так называемые коммунисты в Советском Союзе ни разу за все 67 лет со дня октябрьского переворота 1917 г. не рисковали дать русским людям возможность свободного выбора, вопрос легитимизации власти им никогда не был безразличен. Как на один из самых сильных доводов в пользу их утопического эксперимента они указывают на кризисную ситуацию в России дооктябрьского периода. На протяжении всей истории воспитания русских людей после октября им вдалбливается мысль, что положение народа до октября 1917 г. было во всех отношениях ужасным: крестьяне страдали от безземелья, а следовательно, от голода, рабочие жили в невыносимых условиях, бытовых и правовых, не было никаких свобод, малые народы угнетались, российская экономика катастрофически отставала от экономики Запада, а потому-де Россия находилась в зависимости от иностранного капитала. Но вот пришли большевики, и все изменилось самым наилучшим образом. Эта концепция русской истории начала XX века весьма распространена и на Западе. Западные историки говорят о российском самодержавии, об отсталости России в области экономики, права, культуры накануне октября 1917 г. Что же касается не специалистов, а просто людей, получивших знания о русской истории в гимназиях, то и они полагают, что Россия до революции выглядела весьма мрачно, и не удивительно, что немало западных людей уверены, что только благодаря большевикам в России было отменено крепостное право.

Думается, что западная историография стала жертвой научных фальсификаций, исходящих из Советского Союза. Ведь в СССР история переписывается в полном соответствии с правилами, действовавшими в стране Океания, описанной Оруэллом. Советские идеологи никогда и не скрывали, что история – это их собственность, которой они ни с кем не поделятся. Так, в 1962 году тогдашний руководитель агитпропа Пospelов говорил на совещании советских историков: «Некоторые товарищи... подняли вопрос о том, следует ли предоставить историкам свободный доступ ко всем неопубликованным партийным документам и архивам. Это недопустимо. Партийные документы не являются наследием того или иного исследователя, ни даже института марксизма-ленинизма,.. но нашей партии, и только Центральный комитет может ими распоряжаться»<sup>1</sup>. Еще раньше, на съезде советских писателей в 1934 году, Максим Горький, к этому времени ставший сталинистом, говорил, что нужно начать изучать прошлое России. «Эта работа, – разъяснял он, – должна осветить нам... жизнь феодальной России, колониальную политику московских князей и царей,.. картину эксплуатации крестьянства князем, воеводой, купцом, мелким мещанином, церковью, – и заключить всё это организацией колхозов – актом подлинного и полного освобождения крестьянства от «власти земли», из-под гнета собственности... Нам необходимо знать всё, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как всё это освещается учением Маркса-Ленина-Сталина»<sup>2</sup>. Таким образом, по Горькому, историк должен исходить не из всей полноты фактов и свидетельств, а из некоего долженствования. Отсюда – необходимость сокрытия исторических источников от исследователей, которые не так, как полагается, могут «осветить» русскую историю. Русский историк Николай Андреев, один из хранителей русского исторического архива, вывезенного после революции из России в тогда еще



независимую Чехословакию, вспоминает, как этот архив был захвачен советскими властями после прихода в Прагу советских войск в 1945 году. Проф. Николай Андреев спросил у руководителя советской группы по захвату архива полковника-историка А. Л. Сидорова, когда западные историки смогут воспользоваться материалами этого архива, и получил такой ответ: «Очень нескоро и частично никогда». Не ограничиваясь таким заявлением, профессор А. Сидоров разъяснил: «Вы, кажется, не понимаете, что нас интересуют, как бы сказать, «положительные факторы» в исторических событиях, то есть факторы, которые привели к нашей победе. Плюралистические объяснения истории нам чужды... я могу уверить вас, что советская наука не стремится к «полным картинам» того или иного отрезка русского прошлого»<sup>3</sup>.

Естественно, что под наибольшим партийным контролем находится то десятилетие русской истории, которое предшествовало октябрьскому перевороту 1917 года. Ведь если в этот период Россия не представляла собой безысходно «темного царства», более того, если это была прогрессирующая страна, то захват большевиками власти лишается оправдания.

К сожалению, почти полностью ушло из жизни поколение русских людей, которое жило как до, так и после 1917 года и которое, следовательно, может сравнивать. Однако еще в 30-40 годы многие старички вспоминали о дореволюционной России как о каком-то русском рае. Рассказывают, что одна московская актриса, обласканная советской властью и имевшая от нее всё, о чем и мечтать не могли простые советские люди, в ответ на вопрос, заданный ей на политзанятиях, как она представляет себе коммунизм, расписала богатую и свободную жизнь, а затем прибавила: «Ну совсем как до революции». Конечно, старым людям свойственно идеализированное представление о прошлом, и не была Россия до 1917 года страной всеобщего блага и абсолютной

справедливости. Однако объективные факты свидетельствуют о том, что Россия последнего предреволюционного десятилетия во всех почти отношениях не отличалась от самых развитых западных стран. Такого контраста между жизнью в России и жизнью на Западе, который мы наблюдаем теперь, не было и в помине. Полны всякими товарами были не только магазины Берлина, Лондона, Парижа, но и Москвы, Петербурга или какого-нибудь Тамбова. Не только западные европейцы свободно ездили из страны в страну, но и русские люди. В газетных киосках не только на Елисейских полях или на Курфюрстердамм, но и на Невском проспекте и Тверской улице продавались газеты всех политических направлений и журналы из самых разных стран. Как в Европе и в США, так и в России рабочие боролись за свои права против предпринимателей, имели свои профсоюзы и свою социал-демократическую партию. Как европейский крестьянин и американский фермер, так и русский мужик работал на своей земле и продавал свободно продукты своего труда. Социальные конфликты – а в России их было немало – определялись почти теми же причинами, что и конфликты в странах Запада. Колониальные притязания западных правительств шли подчас гораздо дальше, чем таковые правительства русского, не говоря уж о том, что Россия никогда не ставила целью распространение своего господства на весь мир.

Большевики уничтожили не Россию крепостническую, княжескую, бесправовую для народа – эта Россия ушла в небытие еще в результате революции 1905 года, – а Россию новую, Россию начала XX века, которую можно сжато охарактеризовать так: это была страна, в экономическом отношении тендировавшая к всеобщему благосостоянию, в политическом – парламентская монархия, в правовом – страна, жители которой пользовались теми же правами, что и граждане демократических стран (вот уж где Хельсинкские соглашения выполнялись самым корректным образом!), в культурном –

страна плюралистическая, в которой свободно проявляли себя сторонники любых научных направлений и художественных склонностей.

Начало этой России определяется датами – 23 апреля 1906 года, когда император Николай II утвердил первую русскую конституцию («Основные государственные законы»), и 6 марта 1907 года, день выступления перед Думой (русским парламентом) премьер-министра П. А. Столыпина, когда он изложил программу экономических и политических преобразований в России. Конец этой России – 2 марта 1917 года – день отречения от престола Николая II и возникновения русской республики. Но и республика не отменила прогрессивного политического развития России, а наоборот – привела к еще большей свободе ее граждан, свободе, которой не было даже у подданных многих стран Европы. По этому поводу можно сослаться на такого авторитетного в этом случае свидетеля, как Ленин. Ленин признавал в апреле 1917 года: «Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран»<sup>4</sup>. Эту самую свободную страну и уничтожили большевики под руководством того же Ленина в октябре 1917 года, воспользовавшись ухудшением экономического положения в России, вызванным роковой для страны мировой войной и неопытностью правительства новой, российской республики.

За семь лет (между 1906 и 1913 годами) Россия прошла такой путь экономического, политического, культурного развития, который за столь короткий отрезок времени не проходила ни одна страна в истории человечества. Именно в это время из отсталой аграрной страны, населенной в основном бедным крестьянством, страны бедности одних и богатства других, страны неограниченной самодержавной власти и слабого развития правового сознания Россия превратилась в промышленно-аграрную страну, чей политический строй основывался на прочных конституционных началах, гаран-

тировавших гражданам все права, которыми пользовались и граждане других цивилизованных стран, в страну всеобщего благосостояния и огромного национального богатства.

Особенно поразительны были развитие экономики России и рост благосостояния ее населения.

Благодаря столыпинской реформе 1906 года крестьяне стали свободными хозяевами своей земли. Это привело к резкому увеличению урожая зерновых с 2 миллиардов пудов в 1896 году до 4 миллиардов в 1913 году. Россия вообще перестала быть страной помещичьего землевладения: дворяне имели в 1913 году 63 миллиона десятин земли (причем только 36 из них пахотных); крестьяне же имели в своем распоряжении 188 миллионов десятин, по преимуществу пахотных. В годы хорошего урожая экспорт русской пшеницы составлял 40% всего мирового экспорта, но и в годы неурожайные Россия не ввозила хлеб, а вывозила, и ее экспорт составлял 11% всего мирового экспорта. Даже советский учебник истории признает: «...расширение кулацкого землевладения увеличило товарность сельского хозяйства»<sup>5</sup>.

Что же это за кулаки?

До 1906 года в России существовала община, тормозившая как экономику, так и развитие прав личности в сельском хозяйстве. За общину ратовали представители, казалось бы, полярных политических взглядов: реакционеры-помещики и революционеры-социалисты. Первым община была нужна потому, что им удобнее было взимать подати с общины, чем с каждого крестьянина, вторые видели в общине прообраз социализма. Великий русский реформатор Пётр Аркадьевич Столыпин разрешил крестьянам выходить из общины и приобретать через крестьянский банк землю в свое полное пользование. Реформа Столыпина отменила и все платежи, которые крестьяне обязаны были вносить за землю, полученную в общинное пользование после от-

мены крепостного права в 1861 году. Крестьянин, любивший свой труд, но раньше не видевший в нем выгоды вследствие сковывавшего его общинного порядка землепользования и вынужденный к тому же значительную часть своего продукта отдавать в счет платежей, в результате реформы Столыпина почувствовал себя способным обогащаться. Этот крестьянин-труженик, ставший состоятельным благодаря своему упорному и умному труду и раскрепощению, которое принесли ему столыпинские реформы, получил в так называемой «прогрессивной» пропаганде кличку «кулак». Конечно, не все крестьяне разбогатели, была и беднота, но и ее уровень жизни повысился благодаря столыпинской реформе, а главное – резко увеличилось число крестьян богатых и среднего достатка («средняки»). Богатство крестьянской жизни засвидетельствовано и в романе «Тихий Дон» (Шолохова?), и в романе А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого».

Увеличилось не только производство зерна – в России 1913 года было 51 миллион коров (в среднем по одной на трех жителей), 35 миллионов лошадей, 85 миллионов овец. По мнению одного из современников, «к осени 1913 года Россия из страны праздных помещиков и недоедавших крестьян превратилась в страну, готовую к прыжку... в царство отечественного Уолл-стрита»<sup>6</sup>. К возникновению крупных торговых фирм привел, в частности, как раз рост сельскохозяйственного производства. Ежегодные Нижегородские ярмарки демонстрировали необыкновенный рост русской промышленности и русского сельского хозяйства. Герой романа Горького «Жизнь Клима Самгина» посещает ярмарку. Он совершенно потрясен: «Клим Самгин видел, что перед ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал; страна разнообразнейшего труда, вот – она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой... убедительно кричала о богатстве страны ярмарка»<sup>7</sup>.

В 1911 году комиссия немецких экономистов высказала мысль, что если реформы Столыпина осуществляются (а они почти полностью осуществились), Россия станет сильнейшей в Европе страной.

Начал преобразжаться сам облик русского крестьянина: «Происходит великое превращение общинного муравья в свободную личность», – писал представитель одной из центристских партий в Думе Протопопов в газете «Русская мысль» (в 1908 году). Крестьяне стали отправлять своих сыновей в университеты. Богатые крестьяне смогли приобретать новейшие сельскохозяйственные машины.

В правовом отношении крестьянин по столыпинской реформе был приравнен ко всем другим сословиям. Когда 27 апреля 1906 года первая Дума собралась для встречи с царем, среди депутатов бросалось в глаза большое число людей, одетых в крестьянские одежды. Представители крестьян в Думе и в местном самоуправлении (в земствах) выступали в защиту своих экономических и гражданских прав.

Может быть, главным достижением русского сельского хозяйства была ликвидация связи между неурожаем и голодом: независимо от погоды русское сельское хозяйство между 1907 и 1917 годами полностью обеспечивало продуктами питания всё население России и даже снабжало Европу хлебом. Только в начале 1917 года, то есть на третий год войны, в России стали возникать перебои с доставкой мяса и молока в города. Показательно, что февральская революция началась из-за того, что перед петербургскими магазинами стали выстраиваться очереди: русский народ не знал, что такое очереди, и возникновение таковых показалось населению признаком полной несостоятельности системы.

Решительный прыжок в своем развитии сделала и русская промышленность. Особенно быстрыми темпами развивалось строительство железных дорог. Даже

во время войны была построена в сложнейших условиях севера (и, разумеется, не руками заключенных!) Мурманская железная дорога (1050 км). Добыча топлива росла и до и во время войны: нефти с 550 миллионов до войны до 602 миллионов пудов во время войны, угля – с 1946 миллионов до 2092 миллионов. В 1908-1912 годах (за «пятилетку») производство угля выросло на 79%, чугуна – на 24%. Эдмонд Терри, французский экономист, писал в то время: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 годы идти так же, как они шли с 1900 по 1912 годы, Россия в середине текущего века будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношениях»<sup>8</sup>.

За это время резко упал процент участия иностранного капитала в развитии русской промышленности – с 50% в 1904-05 годах до 12,5% в 1913 году. Паровозы, вагоны, рельсы для железных дорог были почти целиком русского производства. К 1916 году Россия пришла к почти полной экономической автархии.

Резко улучшилось материальное положение населения. Вклады в сберегательные кассы выросли с 300 миллионов рублей в 1894 году до 2 миллиардов в 1913 году. Существеннейшим образом сократилось налогообложение: в 1911 году на душу населения приходилось 11,23 рубля налогов, в то время как во Франции – 42,66, в Англии – 48 рублей<sup>9</sup>.

В Европе очень высоко котировался русский рубль, который был свободно конвертируемой валютой: в 1913 году за рубль давали 2,6 французских франка, 2,6 австрийских кроны, 2,1 германской марки<sup>10</sup>.

Даже в результате мировой войны Россия оказалась в финансовом отношении крепче других стран: ее долги превышали бюджет в 10 раз, тогда как долги и Франции, и Англии превышали бюджет в 35 раз.

Цены на потребительские товары были весьма низки: хлеб стоил 8 копеек за кг, картофель – 3 копейки, бутылка молока – 8 копеек, кг масла – 55 копеек (сред-

няя заработная плата рабочего равнялась 47 рублям). Казна не стремилась особенно богатеть на алкоголе: в 1913 году на душу населения приходилось по 7,5 литров водки, а в советское время в 1967 году – по 9,1 литра<sup>П</sup> (в середине 80-х годов еще больше). А указом от 18 августа 1914 года в России в связи с войной продажа водки была вообще запрещена.

Резко увеличивалось население страны: с 86 миллионов в 1861 году до 186 миллионов в 1916 году (а во время советской власти за такой же период – с 1917 года по 1984 год – со 186 миллионов до 270 миллионов).

В 1212 городах России в 1916 году был телефон, еще за десять лет до этого была осуществлена телефонная связь между Москвой и Петербургом.

Что касается рабочего дня, то в России он еще в 90-е годы был меньшим, чем, скажем, во Франции: 11,5 часов в России – 12 часов во Франции. В Англии же и в Германии вообще не было ограничений для дневной работы взрослых мужчин.

Об экономическом положении русских и об их благосостоянии мир привык судить по очень критической русской литературе. Но, кажется, не было замечено, что из русской литературы в течение 10 лет между 1906 и 1916 годами почти полностью исчезли описания нищеты, тяжелых бытовых условий, в которых живет народ. Даже в самой революционной книге того времени – в повести Горького «Мать» – ничего не говорится о тяжелом экономическом положении народа, в ней нет описаний нищеты, голода, ужасов рабочего быта; Горький лишь резко критикует бесправие рабочих, их зависимость от капитала. Но следует напомнить, что действие повести Горького развивается в 1902 году, то есть до революции, кардинальным образом преобразившей общественную структуру России.

Политическая и социальная ситуация в стране после 1906 года резко изменилась в направлении расширения



народных прав и стирания различий в положении классов.

В октябре 1905 года был опубликован царский манифест, провозгласивший создание в России думской (парламентарной) монархии и предоставившей гражданам страны основные демократические свободы: слова, печати, собраний, совести. Этот манифест был результатом действий двух сторон: народа (рабочих и крестьян), выступившего против неограниченной самодержавной власти царя, за улучшение своего экономического и правового положения, и либеральных представителей верхов, которые, устами министра финансов (позже – премьер-министра) С. Ю. Витте, провозгласили: «Россия ныне не имеет тех элементов и не обладает тою психологией, при которой возможно самодержавное, неограниченное правление»<sup>12</sup>. Таким образом, уже в 1905 году было опровергнуто два мифа – миф о рабской сущности русского народа и миф о неисправимой реакционности русской власти. Тот же Витте писал Николаю II 9 октября 1905 года: «Свобода должна стать лозунгом правительственной деятельности». На провозглашении манифеста вместе с С. Ю. Витте настаивал и дядя царя Великий Князь Николай Николаевич.

В советских учебниках истории манифест всегда упоминается (правда, с издевательскими замечаниями), но то, что после манифеста, на его основе была создана конституция, прочитать в советских источниках почти невозможно.

Конституция определила государственный строй России как парламентскую монархию, в которой законодательная власть принадлежит монарху, Думе и государственному совету (нечто вроде второй палаты в английском парламенте), но без согласия Думы не мог быть проведен в жизнь ни один закон. Таким образом, полностью исключалось издание тиранических законов или произвольная отмена законов существующих.

За недостатком места нет возможности останавливаться на всех статьях конституции, укажем лишь на некоторые.

Так, конституция определяла право граждан России свободно выбирать место жительства как внутри России, так и за границей. Этим последним правом воспользовалось с 1901 по 1910 годы около двух миллионов человек. Помимо этого очень многие русские люди жили на Западе временно и свободно возвращались домой. Но и в Россию переезжали на постоянное место жительства граждане западноевропейских стран: только в 1910 году в России поселилось 73700 иностранцев. В русских газетах стали появляться рекламы европейских курортов, куда, в соответствии с новой конституцией, мог свободно, не спрашивая никакого разрешения у властей, а лишь забирая свой заграничный паспорт, ездить любой гражданин России. Благодаря созданному по инициативе графини В. И. Бобринской обществу содействия заграничным поездкам учителей (1906 г.) каждый учитель получил возможность за очень небольшую плату странствовать по музеям Европы и Америки.

Статья 79 определяла: «каждый может... высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или иными способами». О том, что эта статья не оставалась просто пустым обещанием, свидетельствует распространение в России газет самых разных направлений – от реакционно правого «Русского знамени» до радикально левой большевистской «Правды». Всего в России выходило в 1910 году 1494 журнала и 897 газет, причем не только на русском, но и на языках других народов, живущих в России. Так, выходило 77 газет и журналов на немецком языке, 29 – на армянском, 31 – на еврейском. Большинство газет относилось к умеренно либеральному или умеренно социалистическому направлению.

Статья 80 разрешила создание обществ и союзов. И сразу после 1905 года возникло несколько партий, кото-

рые и были представлены в Думе. Депутаты от этих партий выступали в Думе совершенно открыто, разумеется, не согласуя свои речи с представителями власти. Так, партия трудовиков выступала за передачу всех помещичьих земель крестьянам, социал-демократы неприкрыто требовали чуть ли не социалистической республики. Представители крайне правых и крайне левых партий единодушно выступали против думской монархии. За ее сохранение боролись две центристские партии – более близкие к левым конституционные демократы (кадеты), нечто вроде правого крыла сегодняшних европейских социал-демократий, и октябристы, более правая партия, нечто подобное английским тори. За эти две партии, как правило, и подавалось большинство голосов в Думу. Даже советский источник признает: «К 1917 году в России почти все классы имели свои партии»<sup>13</sup>.

Конституция вообще подразумевала, что власть одинаково заинтересована в осуществлении прав всеми классами России. Еще до ее принятия С. Ю. Витте говорил, обращаясь к промышленникам после рабочих забастовок 1896 года: «Вы вряд ли можете себе представить правительство, более благосклонное к промышленности, чем настоящее... Но вы ошибаетесь, если воображаете, что это делается для того, чтобы облегчить вам наибольшую прибыль: правительство главным образом имеет в виду рабочих; этого вы, господа, кажется, не поняли, иначе последняя стачка не случилась бы. Доказательство этому, что стачка пощадила те заводы, которых владельцы сумели установить отношения между рабочими и хозяевами приличнее и гуманнее». По конституции 1906 года забастовки были легализованы. Правительство чрезвычайно редко вмешивалось в отношения между предпринимателями и рабочими, лишь тогда, в сущности, когда забастовщики под влиянием радикальной пропаганды прибегали к насилию. (В левосоциалистической по содержанию пьесе Горького «Враги» появление полиции и войск на бастующем заводе

объясняется как раз убийством забастовщиками хозяина предприятия.)

О том, что правительство, осуществляя реформы, имеет в виду главным образом благо трудящихся, сказал в статье, опубликованной в газете «Новое время» 3 октября 1909 года, премьер-министр П. А. Столыпин: «Итак, на очереди главная задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов! Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Когда в 1905 году началось массовое стачечное движение, предприниматели не препятствовали рабочим митинговать на заводах и фабриках, они выдали большинству рабочих заработную плату за стачечные дни в половинном размере, а на некоторых предприятиях полностью. На Путиловском заводе в Петербурге администрация выплатила полностью зарплату рабочим-депутатам совета, когда они не работали, а заседали (эти факты приводятся в советском учебнике М. Покровского «Русская история», вышедшем в 1926 году).

В целях гарантии свободы печати был принят новый закон о цензуре (18 марта 1906 года). Была отменена предварительная цензура всех отечественных изданий, причем, если цензор находил в публикациях нечто для печати запрещенное, он не имел права осуществлять карательные функции, а должен был подать в суд на редактора или автора, нарушивших предписание. По новым цензурным правилам снимались всякие ограничения на темы публикаций. Книги, которые когда-либо раньше были цензурой запрещены, были вновь разрешены для продажи и распечатывания. Так появились в книжных магазинах все произведения Герцена, «Капитал» Маркса, религиозные произведения отлученного от церкви Льва Толстого. Количество цензоров в России было смехотворно мало: всего 65 на всю огромную страну между 1906 и 1917 годами. Ни одна партия, разумеется, не имела цензорских функций.

Строго запрещена была конфискация книг из частных библиотек.

Серьезно реформировать судебное законодательство в 1906 году вообще не потребовалось: либеральные реформы суда были осуществлены еще дедом Николая II царем Александром-Освободителем. По судебным реформам 1864 года русский суд становился гласным и состязательным. Вопрос о виновности подсудимого решали присяжные заседатели, выбиравшиеся из всех слоев русского населения. Суд становился зависимым лишь от закона и решения присяжных заседателей и, следовательно, независимым от правительства и общественного мнения. Одним из ярчайших свидетельств независимости русского суда стало его решение по делу еврея Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве (1911-13 годы). Несмотря на то, что многие представители верхов, сильно подверженные антисемитизму, желали осуждения Бейлиса, суд присяжных, состоявший в основном из самых простых русских и украинских мужиков, признал его невиновным, и Бейлис был освобожден.

Новым по сравнению с судебными реформами 1864 года было введение законами 1906 года защитника в процесс уже на этапе предварительного следствия.

К сожалению, в России не была отменена смертная казнь, хотя первая Дума единогласно (!) приняла решение об ее отмене. Но террор левых эсеров, аграрные бунты крестьян, часто приводившие к сожжению помещичьих усадеб и гибели в них людей, вынуждали правительство сохранить смертную казнь. Но применялась она только к тем, кто сам был повинен в убийствах или покушениях на них. Вообще смертная казнь в России уже XIX века применялась очень редко. За весь XIX век было казнено менее ста человек. Количество казней возросло во время революционного террора 1904-08 годов, когда было казнено около 6000 человек, причем вследствие революционного террора погибло более 7000 человек, среди них простые городовые и даже про-

хожие. В 1908–1910 годах число смертных казней упало с 697 в 1908 до 129 в 1910 году. В последующие годы применение смертных казней дошло до нуля. Оправдывая решительность правительства по искоренению террора, П. А. Столыпин говорил: «Где с бомбами врываються в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции».

В русских тюрьмах в 1910 году находилось всего 177017 человек<sup>14</sup>, сослано в 1908 году 10 тыс. человек, а в 1909 году – около 3000 (все эти цифры кажутся ничтожными тому, кто знает о казнях ленинских и сталинских времен, о причинах применения смертной казни и о числе заключенных и сосланных в лагеря за время правления в СССР так называемых коммунистов. Любопытно, что большевики страшно возмущались смертными казнями в России. Петербургский комитет партии в 1910 году принял тезисы о смертной казни, в которых было заявлено, что смертная казнь – это одно из проявлений разгула реакции...).

Помимо конституции 1906 г., огромную роль в экономическом и правовом развитии России сыграли законодательные предложения премьер-министра П. А. Столыпина, сделанные им Думе 6 марта 1907 г. Важнейшими пунктами речи Столыпина были следующие: гарантии неприкосновенности личности, улучшение крестьянского землепользования, введение рабочего страхования, отмена всех ограничений для евреев, отмена административной высылки, введение гражданской и уголовной ответственности для государственных служащих, ненаказуемость экономических забастовок. Не всё из этих предложений было осуществлено. Так, подверженный антисемитизму царь не одобрил отмену всех ограничений для евреев (Николай II был почетным гражданином крайне правого Союза русского народа). Однако в 1914 г. получили полное равноправие евреи-участники войны, то есть практически вся еврейская мужская молодежь.

В России думской монархии необычайно выросло профсоюзное движение. Первые профсоюзы были созданы в 1905 году, а затем они охватили все профессии. Русские профсоюзы, конечно же, не были приводными ремнями каких-либо партий: они защищали интересы рабочих перед предпринимателями и требовали не повышения производительности труда, а улучшения его условий.

Факты экономического, социального, политического, правового положения в предреволюционной России подтверждают правильность мысли А. И. Солженицына: «В три-четыре года столыпинского премьерства, не урывком, не враз (то есть без всяких кровавых революций. – Г. А.), а постепенным неуклонным движением преобразовывалась страна так, что и друзья и враги, и свои и чужие не могли бы этого не признать... все более вязалась обыденная живая деятельность людей, которая и называется жизнью. Страна приняла здравомысленный склад»<sup>15</sup>.

Экономические и политические преобразования вызвали огромный культурный подъем в России начала XX века. Недаром десятилетие между 1907 и 1917 годами принято называть «серебряным веком» русской культуры. Огромное внимание уделялось делу народного образования. Так, кредиты на начальные школы возросли с 9 миллионов рублей в 1907 году до 82 миллионов к 1917 году, а на все дело образования – с 44 миллионов рублей до 214 миллионов. Ежегодно в России строилось около десяти тысяч школ. Осенью 1908 года думская комиссия по народному образованию разработала план всеобщего обязательного начального образования, рассчитанный на 20 лет, то есть до 1928 года (большевики осуществили этот план к 1930 году). Женское образование в России еще XIX века было распространено несравнимо больше, чем в Западной Европе. Русские университеты с 1905 года пользовались полной автономией. Вообще, ученые вели себя совершенно

независимо от царской власти. Еще в 1902 году, когда по желанию царя Российская академия наук отказала Горькому в звании академика, ранее ему присужденного, два академика, А. П. Чехов и В. Г. Короленко, демонстративно из состава Академии вышли. И, конечно же, их за это не арестовали, не сослали, а продолжали, как и прежде, печатать и изучать в гимназиях. С резкими антиправительственными статьями выступал Лев Толстой, но и его не только не арестовывали, но весьма уважали даже в правительственных кругах. Это признал, например, советский критик Лев Аннинский в рецензии на фильм Сергея Герасимова «Лев Толстой», из которого явствует, что Столыпин с нетерпением ждал смерти великого писателя и проповедника<sup>16</sup>. Лев Аннинский справедливо напоминает, что, несмотря на разногласия с Толстым, русский премьер-министр глубоко Толстого уважал. Когда Лев Толстой умер, российский парламент прервал свою работу в знак траура. А ведь если сравнить критику Толстым всего русского общественного и государственного строя того времени с критикой советской системы, скажем, у Сахарова, то не может не броситься в глаза относительная безобидность, а главное, несомненно больший такт в критике у Сахарова.

В период думской монархии издавались литературные и искусствоведческие журналы самых разных направлений. Можно говорить о бесконечном плюрализме русской культуры того времени. Рядом с модернистскими журналами «Мир искусства» и «Весы» свободно распространялись книги марксистского издательства «Знание» и социалистический журнал «Русское богатство». Если откуда и исходила угроза свободе искусства и литературы, то не от правительства, а от левых общественных групп, буквально терроризировавших писателей и художников, которые им казались недостаточно прогрессивными. Зинаида Гippiус вспоминала, как агрессивны были продолжатели революционных традиций Белинского, Чернышевского и Доб-



ролюбова: «Те и то, что было вне этого течения (или стояния) считалось «реакцией» и уже не разбиралось. Между прочим, считалась «реакцией» и всякая религия, и тоже не разбиралось, какая и в чем она находила свое выражение. Это последнее: «религия-реакция» держалось очень долго»<sup>17</sup>. Об идеологическом терроре левых в философии, науке, искусстве писали и авторы сборника «Вехи», крупнейшие русские мыслители «серебряного века». Левые идеологи жили как во сне: они никак не могли сообразить, что на дворе не времена крепостного права и неограниченного самодержавия, как при их учителях Белинском и Чернышевском, а Россия новая, движущаяся к действительному экономическому и социальному прогрессу. Если критика системы у революционных идеологов XIX века еще была достаточно обоснованной, то теперь, в 1907-1917 годах, оппозиция системе стала какой-то инерционной и превратилась у некоторой части образованного общества просто в моду.

Начало XX века ознаменовалось возникновением чрезвычайно своеобразной русской философии, философии позитивного строительства духа. Впервые в истории философии русская философская мысль начала обгонять западную. Н. А. Бердяев, Лев Шестов, Сергей Булгаков и др. открыли законы экзистенциального мышления, персоналистическую идею, обнаружили связь философии с богословием за несколько десятилетий до того, как всё это стало достоянием Европы.

Существенную роль в развитии русской культуры сыграли русские промышленники нового склада (которых по старинке еще называли купцами). Бурно развивалось меценатство. Купец Щукин понял значение французских импрессионистов, когда в Европе к ним еще относились весьма скептически. Щукин скупил большое число работ импрессионистов, так что и теперь благодаря ему Россия имеет чуть ли не самое большое собрание их картин. Третьяковская галерея, Щукинский

и Морозовский музей современной французской живописи, Бахрушинский театральный музей, собрание икон Рябушинского, частная опера С. Мамонтова, Художественный театр и многое другое лишь в Москве было создано усилиями русских промышленников. Русское искусство этого времени находится в смелых экспериментальных исканиях. Реформирование театра Станиславским, новая музыка Скрябина, формальные открытия русских символистов, футуристов, акмеистов, разумеется, никем не направляются и не запрещаются. Никакого деления на искусство официальное и неофициальное не существует, ибо не существует и единой, обязательной для всех официальной идеологии.

Русское искусство начинает завоевывать Запад. С. Дягилев демонстрирует в европейских столицах сначала (в 1906 году) новую русскую живопись, а затем (в 1907 году) – новую русскую музыку.

Эта эпоха определяется именами Александра Блока и Андрея Белого, Максима Горького и Ивана Бунина (первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе), Рахманинова и Шляпина, Врубеля и Серова.

Никогда еще русская интеллигенция не жила такой богатой, пестрой по направлению исканий духовной жизнью. В обществах, кружках, салонах шли споры о смысле жизни, о школах в искусстве и в философии, об исторических судьбах человечества.

В общем, все классы и группы Российского государства ощущали приход новой жизни и могли смотреть вперед с надеждой.

Почему же этот строй, строй парламентарной монархии, демократических прав граждан, строй, принесший расцвет экономики и культуры, развалился в феврале 1917 года?

Погружаясь в события этой эпохи, видишь четыре основных обстоятельства, которые привели к падению монархии и приостановке прогрессивного развития Рос-

сии. Во-первых, война, принесшая России только вред; во-вторых, реакционное упрямство и негибкость большей части верхов; в-третьих, безудержная пропаганда левых партий; в-четвертых, духовная неразвитость масс.

Война приостановила развитие русской экономики, привела к вынужденным ограничениям прав человека, принесла горе семьям, потерявшим кормильцев. Русский народ, только что вступивший в период демократического развития, смог воспользоваться лишь семью годами для накопления опыта свободы. Вместо 20 лет спокойной внутренней и внешней жизни, о которых мечтал великий преобразователь России, страна получила войну со всеми вытекающими из нее последствиями. Если бы П. А. Столыпин был жив, он ни в коем случае не допустил бы войны, в которой, между прочим, были заинтересованы как крайне правые, так и крайне левые силы. Столыпин был убит в 1911 году в результате заговора, объединившего левых и правых радикалов.

О катастрофических последствиях, которые может иметь война для трона и для России, предупреждал царя министр внутренних дел в правительстве Витте П. Н. Дурново. Записка Дурново (февраль 1914 года) разделена на главы, названия которых передают их суть: 2. Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются; 4. В области экономических интересов русская польза и нужды не противоречат германским; 5. Даже победа над Германией сулит крайне неприятные перспективы; 7. Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно передать. Вывод Дурново: «В случае поражения, возможность которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключить, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна»<sup>18</sup>. Так и произошло.

Почему же царь Николай II принял участие в развязывании европейской войны?

Последний русский царь Николай II был человеком, чьи представления о власти далеко отстали от требований времени. Правя демократизирующейся Россией, Николай II продолжал ее рассматривать как свою вотчину, этакое расширенное владение дома Романовых. Вследствие этого он находился в постоянном конфликте с русской общественностью (или она с ним – что всё равно). Реформы, которые привели к коренному переустройству жизни в России, осуществлялись, как правило, преодолевая сопротивление царя; во всяком случае, он не был инициатором ни одной из серьезных реформ, а только соглашался или не соглашался с законодательными предложениями, выдвигаемыми со стороны его таких государственно мыслящих министров, как, например, С. Ю. Витте или П. А. Столыпин. Царь никогда не соглашался сделать правительство, то есть исполнительный орган, ответственным перед Думой, органом законодательным. Царь сам назначал министров и других руководящих лиц, которые и должны были отчитываться перед ним, а не перед Думой. Назначая министров, царь исходил, как правило, не из интересов страны, а из родственных и придворных соображений. Это вызывало возмущение даже людей, очень близких к царю. Так, Великий Князь Александр Михайлович вспоминает, как он советовал Николаю сместить с поста главнокомандующего флотом Великого Князя Алексея, дядю царя, вследствие его полной неспособности к этому делу. С этим требованием царь не согласился, ответив Александру Михайловичу: «Как я могу уволить дядю Алюшу? Любимого брата моего отца!»<sup>19</sup> То же происходило и с Государственным советом, второй палатой русского парламента. Члены совета лишь наполовину избирались, другую половину назначал царь. Назначения царя были, как правило, чрезвычайно неудачными. Это дало основание Солженицыну в очередном узле «Красного колеса» сказать о членах Государственного совета: «Думать о России – среди них было

почти исключение, думать о кресле – почти правило»<sup>20</sup>. В защиту Николая II можно сказать, что иногда он назначал членами совета и достойных людей, вроде А. Ф. Кони, да и не всегда неудачен был его выбор министров. Во всяком случае, великий реформатор П. А. Столыпин, которого царь, мягко говоря, недолго любил, был всё же назначен на самую высокую должность – премьер-министра. Да и, почти ненавидя Думу, Николай II всеми силами старался с ней сотрудничать. Но силы эти были весьма ограничены его представлением о царе как помазаннике Божьем, которому принадлежит неограниченно вся власть в государстве. К 1917 году разрыв царского правительства с обществом стал настолько явным, что даже правый депутат Думы Пуришкевич на пятой сессии государственной Думы заявил: «Россия оппозиционна правительственной власти, ибо не верит ее государственной честности»<sup>21</sup>. В это же время председатель Думы Родзянко говорил с раздражением царю: «Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых Вы ставите... Вы и Ваше правительство всё испортили. Революция неминуема». Надо подчеркнуть, что Пуришкевич и Родзянко были принципиальными монархистами (второй – сторонник ограниченной монархии). Уже упоминавшийся Великий Князь Александр Михайлович писал Николаю II: «...я хочу, чтобы ты понял, что грядущая революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего правительства». Если такого мнения придерживались монархисты и даже члены императорской семьи, то можно представить, насколько ничтожным авторитетом пользовался Николай II со своим правительством у оппозиционных групп населения. Будучи оторванным от великих преобразовательных процессов, происходящих в России или, во всяком случае, не оценивший в достаточной степени эти процессы, Николай II позволил себя втянуть в войну, ставшую роковой и для его трона и для России вообще.

Но как бы ни препятствовал царь прогрессивному развитию страны, какой бы вред ни принесла стране война, думская Россия была достаточно сильна, чтобы удержаться у пропасти. Столкнули же ее в пропасть радикально левые партии, в течение всего последнего десятилетия перед революцией ведшие разрушительную работу, направленную против позитивного государственного и общественного строительства. Если правые партии и царское правительство стремились сохранить порядок, не осуществляя никаких реформ, то левые партии хотели революции и не хотели порядка. Потому-то и крайне левые, и крайне правые ненавидели Столыпина, что он олицетворял идею сочетания твердого порядка с самыми решительными реформами русской жизни. Умеренно левые партии превращали Думу в говорильню, они проявляли полную неспособность конструктивно работать с правительством (да и правительство, к сожалению, подбрасывало левым депутатам Думы достаточно много воспламеняющегося материала). А крайне левые партии сознательно срывали работу Думы, сочетая даже участие в Думе с нелегальной работой по ликвидации думской монархии. Пожалуй, только одна партия – октябристы – более или менее последовательно поддерживала Столыпина и его преемника и последователя В. Н. Коковцова.

К 1913 году влияние радикально левых партий – большевиков и левых эсеров – снизилось почти до нуля. Война 1914 года явилась для них прямо-таки неожиданным подарком: социальные конфликты, потерявшие свою остроту в результате осуществления реформ 1906–1907 годов, вновь обнажились и создали благоприятную возможность для безграничной демагогической деятельности подрывных сил. К тому же общество традиционно благоволило левым, приход в Россию либерализма прошел как-то мимо сознания некоторых общественных деятелей, и они в силу инерции продолжали быть оппозиционными во что бы то ни стало, чем всегда

облегчали работу большевиков. В особенности отношение общества к левому террору было возмутительно легкомысленным. Любой террористический акт против правительственных чиновников рассматривался в некоторых общественных кругах как естественное выражение протеста. И даже когда был убит Столыпин, ни одна газета не задала вопрос: «...а имеет ли право 24-летний хлюст (террорист Богров. – Г. А.) единолично решать, в чем благо народа и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но и целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?»<sup>22</sup>

И, наконец, русский народ оказался неспособным сопротивляться разрушительной деятельности левых партий, которые давали ему неисполнимые демагогические обещания. В России происходило серьезное отставание духовного развития народа от материально-экономического. Философ и социолог князь Е. Н. Трубецкой писал в 1913 году: «Несомненный, бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом»<sup>23</sup>. Особенно был заметен спад религиозного сознания народа, вызванный, с одной стороны, духом меркантилизма и потребительства, а с другой, кризисом Православной Церкви. Русский народ не успел достаточно глубоко укорениться в законах либерального общежития. Философ И. А. Ильин писал: «Россия рухнула прежде всего от государственного невежества, царившего и в простом народе, и в радикальной интеллигенции».

Таковы четыре причины февральской революции 1917 года. Ни одна из них в отдельности не привела бы к революции, более того, отсутствие хотя бы одной из них оставляло России шанс на спасение от развала. Но устоять против воздействия столь деструктивных явлений, выразившихся в исторически столь короткий срок, Россия не смогла.

И всё же после свержения царя Россия имела еще один шанс. Создание республики доказало, сколько могучих духовных сил кроется и в русском народе и в русской либеральной интеллигенции. Россия была, в сущности, чуть ли не единственной страной в Европе, которая ликвидировала у себя остатки феодализма почти бескровно: во время февральской революции погибло 169 человек и было ранено около 1000; вспомним, как кроваво происходили французская революция 1789-93 годов и европейские революции 1848 года. Временное правительство российской республики не только не осуществляло никакого террора, но сразу же отменило вообще смертную казнь, провело всеобщую амнистию и объявило на ноябрь 1917 года созыв Учредительного собрания, которое должно было решить основные вопросы будущего устройства России. И все эти мероприятия проводились – надо подчеркнуть – во время войны, неизбежно вызвавшей во всех воюющих странах естественное в этой ситуации ограничение свобод и ужесточение наказаний за антигосударственную деятельность. Германский рейхстаг, например, вообще не собирался во время войны, в то время как русская государственная Дума продолжала работать, а антивоенные органы печати, хотя бы горьковская «Летопись», функционировали почти без всяких помех со стороны властей. Февральская революция сделала правительство ответственным перед Думой. Как выше отмечалось, даже Ленин признавал тогда, что в России после февраля царствовала такая свобода, которую не знала ни одна из воюющих стран. Это мнение о феврале не изменилось у большевиков по крайней мере до 1956 года, когда на XX съезде партии Микоян сказал: «В результате февральской революции трудящиеся России добились таких демократических прав, каких не было даже в США».

Но именно эта свобода стала для России роковой. Еще не опытное правительство российской республики



предоставило свободу всем., в том числе тем, кто ставил своей целью уничтожение республики, а именно – большевикам. Временное правительство терпело даже существование параллельного органа власти – самозванных советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, созданных представителями левых партий и рассылавших свои приказы по всей стране в обход решений Временного правительства. Когда в апреле 1917 года Ленин, прибыв из эмиграции, открыто провозгласил, что задача большевистской партии – социалистическая революция и ликвидация парламентской республики, он не только не был арестован, но был торжественно принят в среду вождей новой республики. (Но как можно обвинять русское Временное правительство в наивности, когда и сегодня, имея за собой печальный опыт русской революции, некоторые западные демократические страны терпят у себя легальную деятельность партий и лиц, цель которых – ликвидация демократий?).

Временное правительство оказалось способным осуществлять идеи безграничной свободы, но не способным твердой рукой бороться с врагами свободы. В некоторое оправдание ему можно лишь сказать, что ни один компетентный политический деятель того времени не относился всерьез к большевистской партии. Даже социалисты лишь посмеивались над, как они полагали, прожектерскими речами Ленина, которые-де никакого влияния на ход событий оказать не могут. Основоположник русского марксизма Плеханов, услышав апрельское выступление Ленина, заявил: «Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социалистической революции, а только вызовет гражданскую войну, которая в конце концов заставит его отступить далеко назад от позиций, захваченных в феврале». Плеханов не мог предвидеть, что пролетариат был лишь пустым звуком в политическом лексиконе Ленина: октябрьскую контрреволюцию Ленин со-

вершил не руками пролетариата, а от имени его – руками племса, направляемого железной волей большевистских функционеров, охваченных всякого рода утопическими идеями...

...В какую реальность воплотилась эта утопия, известно...

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Всесоюзное совещание историков, 18-21 декабря 1962 г. М., 1964, стр. 296.
2. М. Горький. Полн. собр. соч. в 30 томах. М. 1953, том 27, стр. 333.
3. «Грани», № 125, стр. 311.
4. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 4-е, т. 24, стр. 4.
5. История СССР. М., ВПШ, 1973, ч. I, стр. 354.
6. Великий Князь Александр Михайлович. Воспоминания, Париж, «Лев», стр. 245.
7. М. Горький. Там же, т. 19, стр. 516.
8. Эдмон Терри. «Economiste européen», 1913.
9. А. Беляев. Финансы и стратегия. М., 1937, стр. 26.
10. Календарь Суворина за 1913 г.
11. Журн. «XX век» под ред. Р. Медведева, кн. 2, стр. 118-19.
12. С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2, стр. 268.
13. Л. Смирнов. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 1968, стр. 138.
14. Календарь Суворина за 1913 год.
15. А. И. Солженицын. Красное колесо. Август Четырнадцатого. Т. 2. Париж, ИМКА-Пресс, стр. 223.
16. «Литературная газета», 5 сентября 1984.
17. Зин. Гиппиус. Мережковский. Париж, ИМКА-Пресс, 1951, стр. 67.
18. Журн. «Красная новь», 1922; журн. «Ауфбау»; Мюнхен, 1921.
19. Вел. Кн. Александр Михайлович. Там же, стр. 175.
20. А. И. Солженицын. Там же, стр. 343.
21. В. Шульгин. Годы. М., изд. АПН, 1979, стр. 316.
22. А. И. Солженицын. Там же, стр. 282.
23. «Новая земская Россия», 1913.

## ЖИВОПИСЬ АЛЕКСАНДРА ЗИНОВЬЕВА

Александр Зиновьев как художник не очень известен. До сих пор он выставлял свои работы только дважды: в 1980 г. в Лозанне и два года тому назад – в Париже, причем в ограниченном количестве (рисунки и небольшие работы гуашью). Скорее всего, мало кто из читателей обратил внимание на то, что на обложках его книг – репродукции картин автора. Выставка в мюнхенской «Галери дер Цайхнер», прошедшая летом 1984 г., впервые дала нам возможность полнее познакомиться с графикой и живописью автора «Зияющих высот» (работы в разной технике – масло, гуашь, акварель).

Нельзя сказать, что Зиновьев – окончательно сформировавшийся художник. Как автор рисунков (тушь, мелки, карандаш), главным образом карикатур, он демонстрирует гораздо более высокое техническое мастерство, чем в картинах, написанных маслом, что не всегда объяснимо большей легкостью техники.

На выставке можно было видеть работы Зиновьева, выполненные еще в Москве, где он рисовал персонажей из своего окружения – представителей советской интеллектуальной элиты. Теперь автор снабдил эти карикатуры подписями, что придало им обобщенное значение. «Либерал-карьерист», «Художник», «Социолог», «Полудиссидент», «Знаток буддизма», «Специалист в области теории научного коммунизма» – становятся воплощением типов определенного слоя советского общества, поэтому их можно рассматривать как иллюстрации к романам Зиновьева (если его книги можно назвать романами). В его портретах-карику-

рах – тот же самый дух, что и в книгах: издевательство, гротеск, ирония.

«Будущее России с точки зрения русского» – отклик на Солженицына: сгорбленный Правдец в залатанных тапочках, штанах и балахоне, с балалайкой в одной руке и с крестом из двух сучковатых ветвей – в другой, в царской короне (увенчанной, однако, пятиконечной звездой) шагает вдоль советской границы, оцетинившейся дулами танков и ракетами. Идет в изгнание? Возвращается на Родину?

Учитывая взгляды Зиновьева на коммунизм, нельзя назвать его карикатуры политическими без некоторых оговорок. «Мы не можем сказать, – утверждает Зиновьев в интервью Джорджу Урбану<sup>1</sup>, – что советская система есть явление политическое. (...) Коммунистическое общество – феномен не политический, так как «политика» – в том смысле, который вкладывается в это слово за пределами СССР, – там не существует. Когда коммунистическая партия приходит к власти, она утрачивает политический характер и приобретает характер общественный. (...) Система пронизывает все общество».

Зиновьеву принадлежит формула «алкоголизм – высшая стадия коммунизма». Сатирический образ нравов советского общества – «Утро в московском вытрезвителе». К этой же серии можно отнести «Свободное время», «Партийное собрание», «Единство партии, народа и интеллигенции». Зиновьев старается охарактеризовать основную ячейку, из которой состоит советское общество, – коллектив (вернее, всевозможные его виды), ибо это ключ к пониманию всей системы.

Автор «Светлого будущего» рисует также советских вождей: Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Не хватает только Андропова и Черненко. Полагаю, что

---

<sup>1</sup> G. Urban. Portrait of a Dissenter as a Soviet Man. A Conversation with Alexander Zinoviev. – «Encounter», 1984, Nr 4, стр. 8.

это не случайно: Зиновьев, оказавшись на Западе, утратил и свою привычную среду («[На Западе] я как рыба на песке», – говорит он в том же интервью<sup>2</sup>), и объект наблюдения. Этим следует объяснять перемены в его отношении к коммунистической системе, очевидные, если следить за его книгами и публичными выступлениями; здесь можно искать и причины тематического и формального развития его живописи.

Советские вожди в изображении Зиновьева не внушают ужаса, а вызывают смех (даже Сталин). Ужас появляется только в его недавних картинах, написанных маслом.

Во многих работах повторяется один и тот же мотив – сплошные прямоугольные глыбы домов, лишённые уже не только всяких украшений, но даже архитектурных делений. Это, несомненно, ассоциация, вызванная блочным строительством, одинаковым во всех коммунистических странах – от Пекина до Восточного Берлина. Жилищное строительство советского государства характеризуется прежде всего отсутствием личного: одинаковые корпуса, одинаковые квартиры, а в них – одинаковые люди, это и есть коммунистический коллектив. Советские вожди в изображении Зиновьева не могут быть ужасными, ибо не они формируют коммунистическую действительность, а безличный механизм системы, давно уже вышедший из-под человеческого контроля. «Советский Союз в основных своих чертах напоминает механическую систему», – утверждает Зиновьев в разговоре с Урбаном<sup>3</sup>.

«Одиночество» (которое мы видим на обложке «Записок ночного сторожа») зримо передает ощущение коммунистического ужаса: дома – символы коллективного существования – превращаются в чудищ. В «Ата-

---

<sup>2</sup> Там же. (Часть II). – «Encounter», 1984, № 5, стр. 34.

<sup>3</sup> Там же, стр. 16.

ке» из блочных домов возникают размытые серые лица, лишенные всякого индивидуального выражения.

Но Зиновьев показывает и нечто другое – некое вещество, охватывающее всю систему, – ткань, которая проникает всюду, пронизывает и дома, и живущий в них коллектив («Рак», «Крысы»). В одной из глав «Без иллюзий» автор сравнивает систему с клетками раковой опухоли, которая стремится уподобить себе все окружающее.

И, наконец, мрачная в своей парадоксальности кульминация – «Светлое будущее» (общее название и для книги, и для картины): система персонифицируется, более того, деифицируется – из ткани домов вырастает крест, в центре которого – серое лицо-маска коммунистического Молоха. Таким образом, коммунизм замещает традиционный религиозный символ. Здесь уместно привести цитату из доклада Зиновьева «Марксистская идеология и религия»: «Исторически идеология появляется только после того, как религия уже укрепилась и получила полное развитие. Она появилась как отрицание религии, однако на базе религии. (...) Идеология вытесняет религию».

Зиновьев увеличивает эффект универсального видения системы, применяя открытую композицию; у нас возникает впечатление, что мы видим только фрагмент некоего континуума, который везде одинаков и неизменен.

Эта группа картин кажется мне наиболее типичной для художественной личности автора «Зияющих высот» и, вместе с тем, наиболее интересной как своеобразное дополнение к истолкованию коммунизма, содержащемуся в его книгах.

Зиновьев рисует также и тематически близкие карикатурам бытовые сценки советской жизни, где повторяются московские мотивы. В «Совещании с Марксом» памятник классика вооружен шипами; на самом деле в Москве власти снабдили статую Маркса

шипами, чтобы голуби не могли сесть на нее и надругаться над святыней. Надругательство над ней совершают и три фигуры на картине «Протест», но – вспомним обложку 2-го тома «Желтого дома» – занятие это не безопасно: агенты КГБ уводят отчаявшегося гражданина от монумента.

Автор «Светлого будущего» пробует свои силы и в жанре портрета: «Мстислав Ростропович. Судьба», «Ольга» (портрет жены), «Угнетенность», «Автопортрет» – эти работы линейны, выдержаны в приглушенной тональности – желтый, серый, голубой, коричневый; они написаны как бы неумело и без той свободы, которая видна в карикатурах. Создается впечатление, что здесь, как и в изобразительно любопытной «Немецкой трагедии», Зиновьев еще ищет технических приемов.

И наконец – «Гомо советикус» (и название книги, и самоопределение автора). Ткань домов переходит в контур доминирующего над пространством лица. Это лицо советского человека, но также и лицо системы – лишённые индивидуальности дома и такие же живущие в них люди образуют символ коммунистического коллектива. Это символ господствует и над небольшой архитектурной конструкцией из цилиндров и прямоугольных блоков, помещенной в правом нижнем углу картины (мы узнаем банк в Мюнхене). Именно за возведением этого здания – еще не зная его назначения – наблюдал Зиновьев, работая над «Гомо советикус». Этапы строительства определяют даже хронологическую структуру книги. «Сооружение», за ростом которого наблюдает рассказчик, воплощает в себе его ожидания и надежды. Но здание выстроено – и все они рассыпаются в прах:

«Рассвело. Я вспомнил о моем сооружении и кинулся к окну. Оно сияло в голубом небе такой невиданной красотой, что у меня дух захватило. Но что это? На

самом видном месте отчетливо выделялись буквы: БАНК»<sup>4</sup>.

Банк – этот символ Запада – хотя и блещет «невиданной красотой», но по сравнению с царящим образом коллективных домов он мал и невзрачен. Мрачный символ коммунизма давит и выталкивает почти за рамки картины – то есть в небытие – этот символ благополучия и внешней, материальной привлекательности западного мира. Это послание Западу: коммунизм как система, которая овладеет миром и превратит его в тотальный коллектив.

Андрей Тарковский в своем послании тоже обращается к архитектурной символике, в данном случае сакральной: последний эпизод «Ностальгии» – разрушенный готический собор, а внутри его – русская деревенская изба.

Так кто же Зиновьев – диссидент или советский человек? Исследователь коммунизма или пророк торжества коммунистической идеологии? Я думаю, что он, прежде всего, оригинальная творческая личность, сформировавшаяся – вопреки тому, что он сам говорит в последнее время, – на почве столкновения индивидуализма с коллективистской системой. В творчестве Зиновьева для нас представляет интерес как сам предмет наблюдения (советское общество), так и образ автора – человека, который исследует систему и ставит ей диагноз и в то же время самоотождествляется с «гомо советикусом». Заслуги автора «Зияющих высот» в разоблачении поверхностного истолкования советской системы несомненны. Однако его попытки оправдать Сталина и найти «объективные обоснования» для сталинского террора вызывают существенные возражения. Живопись Зиновьева – очень близкая его литературному творчеству – помогает объяснить интеллекту-

---

<sup>4</sup> Гомо советикус. L'Age d'Homme, Lausanne, 1982, стр. 199.



альные поиски автора и эволюцию его взглядов, но прежде всего дает возможность глубже понять систему «светлого будущего».

## **СКОНЧАЛСЯ КАРДИНАЛ ИОСИФ СЛИПЫЙ**

7 сентября на 93-м году жизни скончался кардинал Иосиф Слипый, духовный и фактический вождь Украинской Католической Церкви (восточного обряда). В 1945 году Иосиф Слипый, тогда архиепископ Львовский, был арестован вместе со всеми епископами и подавляющим большинством священников Украинской Католической Церкви и 18 лет провел в ГУЛаге. В 1963 году, по ходатайству Папы Иоанна XXIII, он был освобожден и выпущен из СССР. В 1965 году Папа возвел его в ранг кардинала. Два миллиона рассеянных по свету украинских католиков видели в нем своего Патриарха.

Кардинал Слипый не уставал напоминать всему католическому миру о трагической судьбе как Украинской Католической Церкви, так и всех верующих христиан в СССР и других коммунистических странах. С горечью говорил он о том, что «христианские государства всего мира устанавливают и поддерживают связи с Советами и другими безбожными режимами. (...) Речь идет не о политике, не о борьбе с коммунизмом, речь идет о воинствующем атеизме, ставящем своей целью уничтожение веры и религии. (...) В этих условиях нашей обязанностью и долгом Вселенской Церкви является осуждение несправедливости, которая нарушает свободу веры, совести, мысли и слова, и требование освобождения из кандалов, из тюрем, из сумасшедших домов осужденных без вины и преступления; в особенности мы должны сделать это для тех, кто защищает Божьи и человеческие права» («Континент» № 3).

Образ кардинала Слипого – пастыря и зэка, стойко хранившего верность своему призванию и своему народу, – останется и в нашей памяти.

*«Русская мысль»  
«Континент»*

## МЕДЛЕННАЯ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

В августе 1981 года в заявлении «Спасти «Марта Никлуса!» мы писали:

«...После года уже отбытого заключения ему остается еще 9 лет лагерей и 5 лет ссылки. Доживет ли он до ссылки?»

«Доживет ли он до ссылки?» – этот вопрос мы задаем себе каждый раз, когда срок «10 плюс 5» обрушивается на «рецидивистов», ветеранов правозащитного движения. Среди них Левко Лукьяненко, Викторас Пяткус, Олекса Тихий, Балис Гаяускас, Василь Стус – «урожай» последних лет. С 1972 года с тем же сроком сидят Михайло Шумук, Иван Гель, Юрий Шухевич. Сейчас аналогичный приговор угрожает Ивану Кандыбе и Анатолию Марченко. Всё это люди, нравственно закаленные лагерем, но физически подорванные, страдающие всеми болезнями, которые только могут явиться в результате бесчеловечных условий лагерного содержания».

Вскоре после этого были приговорены тот же срок и Иван Кандыба, и Анатолий Марченко. В заявлении о приговоре Анатолию Марченко мы писали, что приговор этот «означает лишь одно – медленную смертную казнь».

И вот – уже нет в живых Олексы Тихого.

И вот – не только не «дожив до ссылки», но едва ли дотянув первый год своего повторного заключения, скончался в тюремной больнице 37-летний **Валерий Марченко**.

Может быть, в этой смерти есть и частичка нашей общей вины: не сумели внятно, пронзительно растолковать западной правозащитной общественности, что «медленная смертная казнь» – это не гипербола, а подлиннейшая реальность. И ни одна «гуманитарная» организация, ратуя против смертной казни, не вспоминает об уральских бараках смертников. Они же – **не приговорены** к смертной казни. А умереть – это бывает со всяким.

Целый год шла (еще и сейчас не кончилась) международная кампания против пыток. Во время ее (и на том спасибо) было дозволено свидетельствовать не только о традиционных пыточных зверствах в странах Африки или Латинской Америки (какие и в нашей стране, с еще большим размахом, происходили, да тогда, когда ни на каких международных форумах никому свидетельствовать об этом не давали), но и о пыточной психиатрии. Однако бесчеловечные условия советских концлагерей, где труд – пытка, и голод – пытка, и измывательство (вплоть до жесточайших избиений) – всё пытка. – эти бесчеловечные условия кампании против пыток затронуты не были.

А они таковы, что вопрос «Доживут ли?..» стоит уже не только о повторниках. На грани гибели находится держащий многомесячную голодовку **Март Никлус**, но на грани гибели и отбывающий свой первый срок врач-психиатр **Анатолий Корягин**: он не может прекратить голодовку – организм не принимает тюремной пищи.

Мы не сумели, не успели спасти Олексу Тихого и Валерия Марченко. Неужели и теперь нам не удастся так расшевелить общественное мнение свободного мира, чтобы не десятки, а **десятки тысяч** демонстрантов пикетировали советские посольства, чтобы на уровне правительств и международных организаций был поставлен вопрос о заживо погребаемых – не террористах, не швыряльщиках бомб, – о тех, кто за слово правды приговорен к медленной смертной казни...

«КОНТИНЕНТ»

15 октября 1984, на 9-й день кончины Валерия Марченко

# Литература и время

Лев Лосев

## ВЕЛИКОЛЕПНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого»

А. Солженицына

«Вишь ты», сказал один другому:  
«вон какое колесо! что ты думаешь,  
доедет то колесо, если б случилось,  
в Москву, или не доедет?»  
– «Доедет», отвечал другой.

Гоголь

### I

Исторические романы, как гласит ходячая мудрость, обычно пишутся, чтобы свести счеты с настоящим. Изредка они действительно изображают события прошлого. Книга Солженицына, заглавие которой отсылает нас на семьдесят лет назад, на самом деле есть книга о будущем. Тысячестраничный «Август Четырнадцатого» – не роман, а лишь вступительная часть («узел первый» в терминах автора) эпопеи («повествования в отмеренных сроках» по той же терминологии). Всё сочинение в целом называется «Красное колесо»\*.

Нам предстоит знакомство с прозаическим произведением беспрецедентным, прежде всего, по размеру:

---

\* В этой статье я не касаюсь вопроса о сравнении нового издания «Августа Четырнадцатого» со старым. В отличие от первого издания «В круге первом», переработка которого привела к существенным изменениям в художественной и идеологической структурах романа (см. об этом мою статью в журнале «Эхо» № 14, 1984), первое издание «Августа Четырнадцатого» есть лишь *неполное* издание.

вероятно, в десять-двенадцать тысяч книжных страниц. При этом, прочитав «Август Четырнадцатого», мы убеждаемся, что автор не лукавит, называя объемистый «узел первый» вступлением. Он не подсовывает нам законченный роман, который мог бы существовать и сам по себе, хотя бы иным сюжетным линиям и предстояло развиваться в будущих частях эпопеи (как в серийных романах типа «Человеческой комедии», «Ругон-Маккаров» или «Саги о Форсайтах»). Несмотря на внушительный размер, сама структура «Августа Четырнадцатого» свидетельствует о том, что это и правда лишь начало, завязка («узел первый»). В законченном произведении была бы невозможна столь вопиющая диспропорция в распределении материала: около 40% текста отведено описанию военных действий, примерно столько же политической истории России и лишь примерно одна пятая собственно героям книги: Лаженицыну, Воротынцеву, Томчакам, Ленартовичам. Большинство из этих персонажей лишь представлены в «Августе четырнадцатого», у читателя остается впечатление, что с ними еще не раз предстоит встретиться, что главное еще впереди.

Грандиозность проекта вызывает комические протесты у студентов и преподавателей русской литературы на Западе. Представьте себе обзорный курс, где за семестр предстоит прочесть и осмыслить «Войну и мир», «Братья Карамазовы» и «Красное колесо»!

Эта несущественная академическая проблема приобретает тревожный оттенок, когда жалобы на объем солженицынских сочинений раздаются в более широких читательских кругах. То, что образованные люди, те, кто порой часами просиживают перед телевизором, следя за механически скомпонованными сюжетными перипетиями «Далласа», не находят времени для чтения художественного текста, довольно печальный комментарий к духовному уровню нашего времени.

На мой взгляд, для чтения Солженицына стоило бы пожертвовать многими другими занятиями. Прочсть и понять его очень важно для каждого из нас в отдельности, потому что по сути дела он ставит вопрос о природе и корнях *современного* глобального конфликта: исторически – как противостояния СССР и Запада, политически – коллективизм против индивидуализма, религиозно – атеизм против веры.

Психологические проблемы личности в наш «век масс», психология современного национализма – всё это на глубоком уровне исследуется в «Августе Четырнадцатого». Независимо от того, соглашаемся мы с автором или не соглашаемся, восторг или возражение вызывают те или иные образы и описания, мы увлечены и взволнованы, читая эту книгу, и благодарны Солженицыну уже за то, что ему удалось поставить эти проклятые вопросы с глубиной, недоступной перу журналистов, и, вместе с тем, с широтой, какой никогда не встретишь в трудах ученых-специалистов.

И только дочитав до конца и справившись с наплывом впечатлений, начинаешь задавать себе вопросы, которые, в конце концов, сводятся к трем основным: в какой степени прочитанное является историей? как квалифицировать развиваемую автором политическую доктрину? и – то, что мы прочитали, в какой степени произведение искусства?

## II

Дать ответ на последний вопрос затруднительно именно по той причине, что законченного произведения мы не знаем, а то, что знаем, несмотря на уже колоссальный объем, слишком еще фрагментарно, незаконченно. Впечатление грандиозной и неравномерно идущей стройки: мы видим несколько гениально спланированных и с редкой добротностью выстроенных этажей,

а также – столбы, перекрытия подвалов, каркасы, блоки, какие можно видеть хоть на строительстве дворца, хоть склада. Кто знает, что получится: может – не бывалый еще храм, а может – беспорядочное нагромождение разного рода помещений.

В будущем чтении *всего* повествования, возможно, проявится общий ритм, начало, организующее сюжетно едва связанные, разностильные и едва ли не разноприродные секции. Пока же волей-неволей впечатление такое, что прочел как бы ряд отдельных вещей: во-первых, начало большого романа с вышеупомянутыми героями, во-вторых, беллетризованную хронику военных действий в Восточной Пруссии в начале Первой мировой войны, а затем три повести – повесть о террористе Дмитрие Богрове, житие Петра Столыпина и памфлет, сатирическую повесть о Николае II. (Еще – сатирическую же новеллу о Ленине.)

Таким образом, мелькавшее в первых критических отзывах сравнение с «Войной и миром» представляется очень поверхностным. «Красное колесо» явно задумано по-другому. Военно-исторические и историософские главы в романе Толстого не имеют такого самостоятельного статуса, как сходные части в «Августе Четырнадцатого». У Толстого они куда крепче вплетены в сюжет. Вставных (со-ставных) элементов у Толстого нет. Нет в «Войне и мире» повести о трудах и днях Сперанского, сатиры на Наполеона, жития Кутузова.

Настоящий жанровый прецедент «Красному колесу» всё же можно отыскать в истории русской литературы. Только копать придется куда глубже Толстого. Это – летописи. Вот в летописях действительно накапливались и притирались друг к другу и документ, и сбивчивый рассказ очевидца, и благочестивое житие, и ядовитое поношение. От Нестора связующим началом летописного повествования служил ход времени, и не просто ход времени, но ход библейского времени – от сотворения мира, от грехопадения к концу мира и

Страшному Суду. В поздних образцах летописного жанра, как, например, в «Сказании» Авраамия Палицына (XVII век), эта формообразующая основа выделялась еще сильнее, подчеркивала циклическую композицию исторического повествования: преступление рождает преступление, грех рождает грех – роковое колесо!

Вопрос о том, можно ли считать летописи художественными произведениями, остается, однако, спорным.

### III

Что бесспорно – это виртуозное писательское мастерство Солженицына, как оно проявляется *внутри* отдельных фрагментов.

Несколько лет тому назад известный американский историк Барбара Такман, обсуждая причины и характер упадка современной массовой культуры, ввела в обиход понятие Q-фактор, фактор качества. Этот фактор определяется количеством точного знания и тщательного труда, вкладываемого мастером в изделие – от стихотворения до табуретки. То есть тем, чем и отличается мастерство и от массового производства, и от простой халтуры. Так вот этот Q-фактор в прозе Солженицына необычайно высок. Лишь несколько современных русских прозаиков, принадлежащих к той же, что и Солженицын, традиции неореализма, в своих лучших произведениях приближались к этому уровню: Битов в «Пушкинском доме», кое-где Трифионов, Владимов в «Верном Руслане», Искандер на лучших страницах «Сандро из Чегема»\*.

---

\* Здесь мне не хотелось бы распространяться о генезисе солженицынской прозы. Ясно одно: он не выскочил сразу из Толстого и Достоевского, минуя весь промежуточный опыт русской словесности, как это иногда представляют. В структуре его романов, особенно последнего, много от опыта автора «Петербурга», а сама техника его письма могла бы послужить еще лучшей иллюстрацией к теоретичес-

Эта высокая качественность проявляется, прежде всего, в постоянной конкретности описаний. Перо Солженицына никогда не цепляется за буксирчик литературного клише, а всегда идет своим ходом, движется энергией своих пяти (и больше) чувств – видящих, слышащих, осязающих, обоняющих – *знающих* описываемый мир досконально. Если героиня Солженицына прячется от полдневного зноя, то читателю показан не зной вообще, а зной на Кубани, в крепкой сельской экономике в 1914 году:

«Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им достигало сюда попыхивание локомотивов с молотбы, машинное гудение с делового двора да общее слитное жужжание насекомых и мух» (I, 44)\*.

Если описано поле боя, хоть бы и в одном абзаце, то с такими деталями, что не увидеть его невозможно:

«...противник с разгромом ушел с позиций, оставляя снаряжение, раненых и трупы – даже стоячие трупы, застрявшие в тесном крепком молодом ельнике» (I, 293).

---

ким выкладкам Замятина о *неореализме*, чем даже собственная проза Замятина (см. несколько упрощенные, видимо для юной аудитории, но точные по установкам лекции Замятина о неореализме в русской литературе, опубликованные в «Вестнике РХД» № 141, 1984). Именно исходя из понимания прозы Солженицына как неореалистической (термин Замятина мне представляется более точным, объемистым, чем принятая атрибуция этого направления как «сказового», «серапионовского»), я и сравниваю его с писателями, выросшими из того же корня. Бессмысленно было бы сравнивать Солженицына с современными русскими прозаиками других корней: с Максимовым и Довлатовым, с Алешковским и Ерофеевым, с Аксеновым. Так же далеки от Солженицына художники и писатели-«деревенщики», хотя они и близки ему некоторыми своими идеями. Вот «деревенщики» действительно неожиданный свежий побег от старой народнической литературы XIX века. О своей связи с новаторской прозой Замятина и Цветаевой говорит и сам Солженицын.

\* Здесь и далее цифры в скобках означают: первая (I или II) одиннадцатый или двенадцатый том, вторая – страницу в томе. По: Александр Солженицын. Собрание сочинений, тт. 11, 12, Вермонт – Париж, YMCA-Press, 1983.



Нет для этого автора мелочей, которые можно бы промахнуть, смазать в некое описательное пятно. Когда его персонажи ведут разговоры в пивной, то нам не только ясен весь план этого помещения, но и где находится столик, ими занятый, – в задней комнате у окна. И куда выходит окно – «в глухое нагромождение пивных ящичков» (I, 402). И качество пива – «в меру прохладное и крепкое» (I, 404) (и в этом автор являет себя знатоком: в наше время, когда жидковатое пиво принято бессмысленно морозить в холодильниках, только знатоки помнят, что пиво не должно быть слишком холодным).

Добротность, чувственность, пристальность описаний материализована в пластическом языке. Солженицын не дает русскому языку лениться под своим пером. Язык, послушный Солженицыну, беспрестанно раскрывает свои богатейшие и почти неиспользуемые выразительные возможности: словообразовательные, звукообразные, синтаксические.

Слова у Солженицына точны и экономны. Молитва – «бормотомая по привычке» (I, 325): ср. «молитва, которую бормочут по привычке». А какую длинную и неуклюжую конструкцию пришлось бы взгромоздить вместо солженицынского «охватнее было» (I, 326)! (Корень «хват» вообще очень любим Солженицыным, очень продуктивно им используется.)

Искусственного в словопользовании Солженицына ничего нет. Все его непривычные речения построены строго по законам русского словообразования, а нередко и просто заимствованы из запасников литературного языка, из диалектов. Можно представить себе таких читателей, которых раздражает обилие лексических отступлений от сегодняшней средней литературной нормы. В свое время, как известно, Горький воевал против диалектизмов и жаргонизмов в литературном языке. Можно равняться на язык прозы Горького и Федина, а можно на прозу Хлебникова, Ремизова, Цветаевой,

чью работу с русским словом и перенимает Солженицын.

Справедливости ради надо сказать, что, подобно последним, в своих глубоких языковых бурениях Солженицын порой забирает так глубоко, что в его текст начинают выбиваться какие-то уж вовсе праславянские языковые силы. «Простягать», «смельство» – по отдельности эти диалектные слова можно встретить у Даля, но, когда они сливаются в единую фразу:

«На что не простягало воронье смельство генерала Жилинского...»

– то думаешь, услышь такое в трамвае, не понял бы, на каком это языке сказано – ясно, что какой-то из славянских, но какой?

Синтаксис, построение фразы и периода, всегда служат у Солженицына средством выразительности.

Он может изобразить построением фразы ленивую истому:

«Книга была английская, но не в этом...» (I, 44; от жары героине лень додумывать).

А может грамматико-синтаксическими формами изобразить кромешную темноту:

«Спотыкались с крутой дорожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту (...) И опять спотыкались, в канаву попадали...» (I, 341).

На одной странице скопление предложений без подлежащих, вообще почти без существительных – потому что темно, в движущейся массе солдат никто никого не видит, не видно и того, что под ногами (вот задачка для переводчиков на языки, где неопределенно-личные предложения невозможны!).

Из трех стилистов, с которыми я сравнивал Солженицына выше, двое, Хлебников и Цветаева, – поэты. Если с хлебниковским стиль Солженицына только изоморфен, то с Цветаевой несомненное сходство многих приемов. Например, одинаково смело они актуализируют редчайшие, до них, может быть, не употребляв-

шиеся (но по природе языка возможные) грамматические формы. Таковы их необычные, но энергичные, ёмкие причастия и деепричастия. Солженицын: «*бормотомая*». Цветаева: «*траву жрав*». Или невероятные формы множественного числа, да еще и в родительном падеже. Цветаева: «*гетто избраннычеств*». Солженицын: «*горе выше горь*» (II, 58).

Как Цветаева переносила в свою новаторскую прозу такие чисто стиховые приемы выразительности, как связь слов по аллитерации, ассонансу, изменяющейся корневой гласной, так и Солженицын эффектно использует эти, повторяю, стиховые приемы, хотя стихов и не пишет (писал в молодости, да очень плохие). Причем никогда у Солженицына эти приемы не служат просто приукрашиванию стиля, всегда они внутренне миметичны, изображают нечто\*. Например, цепочка мысленных ассоциаций интонируется звуковыми ассонансами, диссонансами: «Мог бы дать ей еще поразвиться. Порезвиться» (I, 32); «...насочиться – в мозгу? в зобу? в зубу?» (II, 146). А иной раз звуком дается и наглядное изображение. Вот как раздражающе рябит у Саши Ленартовича в глазах (аллитерация на *к*): «А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с руки на руку перебрасывал. Так и так. Так и этак» (II, 22).

---

\* Необходимо помнить, что приемы звукозаписи приобретают семантическую конкретность только в контексте. Вот среди лежащих на моем столе материалов по «Августу» взгляд вдруг поймал строки неподдельно русского звучания: «Русская мысль». Н. Рутыч. «От Воротынцева к Столыпину. Александр Солженицын...» От чего «русскость»? От ассонанса на *ы*, звука, который, согласно основателю фонологии (и евразийства) кн. Трубецкому, из славянских языков свойствен только русскому (как тюркское заимствование). Но каков набор русских имен! Ведь не бывает англичан Смылов, французов Рьшпелье, евреев Шапельро или Лыфшицев (последнее – подлинное имя автора этих строк, через *и*, конечно). Тут сразу видно: русский автор в русской газете пишет о русской книге. Но в другом контексте «русскость» *ы* была бы утрачена: «Добрый рыцарь, мы твои верные вассалы», например.

А вот ниточкой, прошивающей сознание Богрова – т-т-т-т-... – «трёхтысячелетний, тонкий, уверенный зов» (II, 146).

Однако все эти характерные приемы солженицынского письма – тоже лишь ниточки. Высокий артистизм Солженицына скрывается, прежде всего, в его умении прясть из этих ниточек свою ткань, продергивать ими свой текст, создавая в сознании читателя устойчивые образные ряды. Это и есть то самое «долгое дыхание», без которого нет романиста.

Как он это делает?

Одна из главных тем книги – русский национальный характер. Он нигде не описывается исчерпывающе, но на протяжении всего текста происходит накапливание образных элементов, его обрисовывающих. Так, отрицательную сторону этого характера Солженицын видит в инертности. Образно это конкретизируется как сон, спячка, сонливость. Этому противопоставлены деятельные, моторные герои – Воротынцев (вечно в движении, полный желаний «тянуть» или «толкать» отечество), такой же «двигатель» Столыпин, генерал Мартос Не-Пролей-Капельки, которому «доставалось мало спать» (I, 292), распираемые избытком предприимчивости инженеры Ободовский и Архангородский, Захар Томчак, с утра мчащийся в степь. Медлительных, рефлексивных среди любимых автором героев нет.

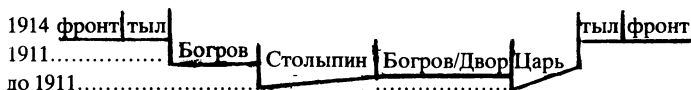
Ненавистная автору инертность возникает то в издательском замечании по поводу русских штабистов, которые не дают себе труда шифровать ночные телеграммы: «Не должны были немцы перехватить – не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши» (I, 115), то патетически – моральное крушение генерала Самсонова происходит в результате вещего сна на Успенье, то уже и не от рассказчика непосредственно, а глазами персонажа: историческая катастрофа, убийство Столыпина, могла бы быть предотвращена, но видит завтрашний убийца – не хватает ума «у сонного

Кулябки. В лице Кулябки глупость – даже не личная, а типовая, если не расовая. Почесывается, укутывается плотней, ничего не заметил, всё правильно. Спа-а-а-ать!.. – Он сам как тройная подушка» (II, 156).

В композиции первой части «Августа Четырнадцатого», как мы уже заметили, сейчас еще очень трудно уловить замысел автора – почему именно в этих двух местах, а не в иных, перебил он последовательность фронтовых эпизодов (большая часть первой половины) главами о Ленине и о прощании Сани и Коти с Москвой. В композиции второй половины, по крайней мере, легко просматривается симметрия. Центральная и основная (две трети) часть текста второй половины занята историческим отступлением («Из узлов предыдущих» называет эти главы автор). Историческая часть обрамлена примерно одного размера кусками из романного «сегодня», т. е. 1914 года. Причем эти «сегодняшние» куски разбиты в начале и в конце тоже симметрично: в начале – фронт, тыл, в конце – тыл, фронт.

Есть в таком построении прямая логика. В начале – картина окончательного военного разгрома. Затем, в тыловых сценах, разговоры об истории революционного движения, расшатавшего русские государственные устои – причина катастрофы. Затем начинается большое отступление, к 1911 году, к предыдущей катастрофе, предыдущему «узлу», перебитое в свою очередь двумя примерно одноразмерными вставными новеллами, поставленными в явную параллель историческими портретами. Апологетическое жизнеописание Столыпина начинается с отступа от 1911 года к началу его деятельности и заканчивается возвращением в 1911-й. Так же сатирическое жизнеописание Николая начинается с отступа к его первым шагам и постепенно возвращает нас, через 1911-й, к 1914-му, к «сегодня» романа, к концовке.

*Схематически это выглядит так:*



Причинно-следственная стройность в таком построении несомненно есть. Художественные связи между фрагментами менее убедительны. Возможно, они лучше проявятся в общей перспективе «Красного колеса».

#### IV

Где композиционное мастерство Солженицына проявляется во всем блеске – это внутри центрального фрагмента. Отсюда у истории покушения Богрова на Столыпина особая законченность, завершенность, отдельность. словно бы на стене строящегося дома, где еще едва наведены первые этажи и во все стороны торчат балки и арматура, скульптор уже укрепил тщательно отделанный барельеф.

2 сентября 1911 года в киевском Городском Театре в присутствии царя 24-летний анархист Дмитрий Богров, сын местного богатого адвоката-еврея, застрелил председателя совета министров России П. А. Столыпина.

Это событие многие современники склонны были считать почти случайностью. Терроризм, казалось, уже сошел в это время со сцены. Известные террористические акты прошлого совершались подпольными группами революционеров как ключевые моменты их программы. Но покушение Богрова было делом одиночки, действовавшего на свой страх и риск и не имевшего за плечами никакой организации, кроме той, которую он сам нафантазировал, чтобы водить за нос охранное отделение.

Имело хождение несколько версий, объясняющих преступление Богрова (все они широко обсуждались в печати после покушения и снова в двадцатые годы, когда открылся доступ к полицейским архивам и когда старые подпольщики взялись за мемуары). Основных же версий было три, и все они вертелись вокруг несомненного факта связи Богрова с охранным отделением, где он в течение нескольких лет, вплоть до покушения, числился тайным агентом.

По первой версии, Богров совершил убийство премьера (а фактически и самоубийство), чтобы реабилитировать себя перед товарищами, когда его связь с охраной стала известной. Эту версию отвергло большинство старых подпольщиков. Да и по архивам выяснилось, что Богров фактически дурачил охранное отделение, никогда не предоставляя ему сведений, могущих действительно повредить подполью, хотя такими сведениями часто располагал.

По другой версии, построенной уже на чистых домыслах, Богров был орудием в руках охранного отделения и тех косных придворных кругов, которым мешал энергичный реформатор Столыпин.

Наконец, по третьей, которая весьма доказательно представлена в книге старшего брата убийцы, В. Богрова, «Дм. Богров и убийство Столыпина» (Берлин, изд. «Стрела», 1913), Дм. Богров был настоящим фанатиком-анархистом, он тщательно продумал и спланировал свое преступление. Особенно продуман был именно выбор цели. Почему он стрелял в Столыпина, а не пытался убить царя? Потому что смерть Столыпина была бы куда более страшным ударом по ненавистной молодому анархисту русской государственности, чем смерть заурядного царя. Кроме того, Богров опасался, что убийство царя рукой еврея вызовет еврейские погромы.

Во внешне-исторической канве своей повести о Богрове Солженицын придерживается именно этой,

последней, версии. Он разрабатывает ее со свойственной ему доскональностью и с тем почти гипертрофированным почтением, которое свойственно его обращению с историческими материалами. (Характерно, что на самой последней странице книги уже после оглавления, он считает необходимым добавить своего рода «с подлинным верно»: «Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, – подлинные».) В диалогах и внутренних монологах персонажей можно встретить прямые цитаты из опубликованных материалов о Богрове.

Но для художественного исследования истории, которое ведет Солженицын, не столь важен вопрос о том, как и почему Богров убил Столыпина, сколь – *что убило Столыпина и что убил Богров*.

Структура этого художественного текста сложна, исследование ведется в нескольких планах одновременно, и ответ дается не только вербализованный, но и, еще более, в подтексте. И там на разных уровнях: психологическом, мифологическом.

Прежде всего, известный по источникам облик Богрова, его психологический портрет, углублен скрупулезным психоанализом. Ненавязчиво обрисовывается болезненный, физически неполноценный отпрыск буржуазной семьи: «Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно молодой – к двадцати годам никакой растительности на лице» (II, 116), «телесной силы совсем не было в нем...» (там же), «а любимой женщины у него не бывало» (II, 124). В основе его революционности, усердно в себе разжигаемой, рационализируемой, лежат компенсаторные механизмы: ущемленное «я» стремится быть в центре всеобщего внимания, над всеми.



Это закрепляется в тексте развернутой, стержневой метафорой цирка и взбирающегося по шесту акробата. Богров начинает непосредственную подготовку к покушению:

«Всё это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был созван весь Киев, да по сути – вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показательной площадке, под самым куполом, в зените, выступали – коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную – значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.

Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту – совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет всползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, всползти, ни за что не держась» (II, 137-138).

Вот версия, излагаемая Богровым охранникам, заколебалась:

«О, какой скользкий гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползть по неправдоподобностям» (II, 141).

Но нет, наживка проглочена:

«И отважный увидел себя – уже на половине шеста, нет – выше половины: уже мелкими кажутся те бесправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка!» (II, 144-146).

Вот его хитросплетение снова заколебалось:

«Коченеет, онемела вся долгота тела, вот – свалится со всей высоты (...) Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только – на самом крутом опасном месте?» (II, 149).

И так далее вплоть до вожделенного момента, когда он очутился, с браунингом в кармане, в одном зале со Столыпиным:

«Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку, – она увидит только последний фокус» (II, 164).

Под внешностью инфантильного недотыкомки – ловкий паяц, ради эффектного трюка играющий судьбой великого народа. Но под этим внутренним Богро-

вым, под этим богровским «супер-эго», Солженицын вскрывает еще и третью, самую углубленно-запрятанную из сущностей Богрова. Что же это такое таится в самой глубине личности Богрова, в такой глубине, где личность уже и перестает быть личностью, превращается в явление родовое?

А вот что. Не только бесстрашно-гибким акробатом представляется себе Богров. Вот он любит себя собственной изворотливостью:

«...как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в нее уложиться» (II, 124).

Еще один портрет – каким увидел Богрова старый эсер Егор Лазарев:

«...полуболезненный, утомленный безусый юноша в пенсне, с передлинными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа...» (II, 131).

И не связано ли с этими резцами – «нанести смертельный укол» (II, 138)? И дальше, еще точнее:

«В душевной заперти Богров сидел, сворачивался, лежал, ходил, сидел, раскачивался – обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насчитаться – в мозгу? в зубу? в зубу?» (II, 146; курсив мой – Л. Л.).

Змея. Слово ни разу не названо, но, по тонко отмеченному Герценом закону литературы, «подразумеваемые слова увеличивают силу речи». Да и в самом «Августе Четырнадцатого» Варсонофьев предупреждает Саню и Котю, а заодно и читателя:

«Полная ясность бывает только в простячком. Лучшая поэзия – в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?» (I, 405)\*.

---

\* Как мы знаем из воспоминаний Л. Чуковской, когда Солженицын прочел Ахматовой свои стихи, она деликатно заметила, что в них мало загадочности. На это будто бы Солженицын возразил, что в ее собственных стихах загадочности слишком много. Это верно: загадочность в природе ахматовской поэзии. Но, видно, поэтический урок Ахматовой Солженицыным все же был усвоен. Вообще же идеологически между ним и поэтессой, сказавшей: «...невинная корчилась Русь», – немало общего.

Заметили. И, вкравшись в читательское сознание, слившись с образом нездорового молодого еврея, образ змеи реализуется в новых и новых деталях. Вот Богров идет в Купеческий сад – напряженный, решительный – на охоту за Столыпиным. И вдруг непредвиденное обстоятельство – оркестр:

«Как разбирают эти скрипки! А может быть отдаться музыке...» (II,150).

Как известно, музыка – старое верное средство заволагования змей. Но в следующем эпизоде уже Богров *гипнотизирует* расслабленного, сонного Кулябку.

То, что в читательском сознании накапливается постепенно, постепенно проясняется как змеинная ипостась Богрова, – сотней страниц дальше мгновенно, с первого взгляда распознает его жертва, Столыпин.

Это второе описание момента убийства в романе. В первый раз оно дано через сознание убийцы, второй раз – жертвы. В антракте спектакля Столыпин стоит, облокотившись на барьер оркестровой ямы лицом к проходу.

«...проход пуст до самого конца. По нему шел, как *извивался, узкий, длинный, во фраке, черный...*» (II, 248; курсив мой. – Л. Л.).

И только после роковых выстрелов вплетается в повествование наконец и само слово:

«Террорист, *змеясь* черной спиной, убежал» (II, 249; курсив мой. – Л. Л.).

«Эко дело, – скажет иной читатель, – змея – расхожий нарицательный образ, ругательство. Только что у Солженицына эта метафора протянута через большой кусок текста».

Это неверно. Солженицын возвращает заштампованной употреблению метафоре первоначальную силу. Он подкрепляет ее целым рядом приемов, которые полностью проявляются только в рамках противопоставления: Богров – Столыпин. На этом противопоставлении, как на каркасе, и держится сюжет повести о Богрове.

Столыпин – столп отчизны, воплощение лучших национальных черт, вершина органического развития русской истории.

Богров – космополит, русского у него ни в крови, ни в характере ничего нет, он выродок беспочвенного радикализма.

Мы помним, каким бестелесным, противоприродным изображен Богров, «полуболезненный», «с голосом надтреснутым».

Впервые он сталкивается с премьером в Петербурге случайно:

«Крупной фигурой, густым голосом и как он твердо ступал и как уверенно принимал решения – Столыпин еще усилил то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты...» (II, 129-130).

Это противопоставление актуализируется в сознании читателя по мере чтения входящих одно в другое повествований о Богрове и Столыпине и достигает апогея в повторной сцене убийства.

Твердый крупный Столыпин стоит, опершись на барьер, в белом сюртуке.

Тонкий узкий убийца извивается по направлению к нему весь в черном.

«Столыпин стоял, беседовал...», «Столыпин стоял...», «Столыпин стоял всё один...», «Столыпин поднял левую руку – и ею, мерно, истово, не торопясь, перекрестил Государя» (II, 248-249).

Во всей сцене убийства Столыпин описывается простыми личными предложениями: подлежащее – сказуемое, имя – глагол.

Приближающийся убийца лишен существительного имени: «По нем шел, как извивался, узкий» и т. д. \*

---

\* Отметим попутно, что в данном контексте семантическая нагрузка неопределенно-личного предложения совсем другая, нежели в ранее цитировавшемся примере.

Взглянем еще раз на эти четко прочерченные оппозиции:

<i>Столыпин</i>	<i>Богров</i>
крепко стоит .....	движется, извиваясь
плотный .....	бестелесный
сильный .....	слабый
мужественный .....	бесполоый
патетичен .....	ироничен
светлый .....	черный
имя существ. (собственное) .....	лишен имени существительного
под знаком креста .....	

... а Богров?

Отчетливо прорисовывается мифологема противоборства Добра и Зла (причем последнее по христианской традиции характеризуется признаком бестелесности, бесхребетности), Света и Тьмы, Креста и Змия.

## V

Можно ли полагаться на «Август Четырнадцатого» как на источник сведений по русской истории?

У критика и военного историка Н. Рутыча даже вопроса такого не возникает. В своей обстоятельной статье («От Воротынцева к Столыпину», «Русская мысль», 27 октября 1983) он лишь размечает, где Солженицыным выполнено самостоятельное историческое исследование (победа корпуса русского генерала Мартоса под Орлау и ее роль в ходе европейской войны), а где Солженицын компилирует известные материалы.

Английский историк и литературный критик Джеффри Хоскинг, подтверждая в основном достоверность изображенных Солженицыным событий, ставит под сомнение объективность некоторых оценок писателя. Он, в частности, показывает, что борьбу Столыпина

с думской оппозицией Солженицын подчас описывает упрощенно, а подчас и просто неверно.

«Нет сомнения, на мой взгляд, – пишет Хоскинг, – что Столыпин был выдающимся государственным деятелем России начала 20 века, и именно по тем причинам, которые выдвигает Солженицын. Что однако тревожит в его историческом портрете – это недостаток нюансов, полное отсутствие ощущения сложности событий» («Обрыв в хаос», «Таймс Литерари Сапплмент», 3 февраля 1984).

Да, соглашается с Солженицыным Хоскинг, Столыпин ставил своей исторической задачей превратить Россию в правовое государство, но он сам же и подрывал слабый, еще только зарождающийся парламентаризм. «Закон о выходе из общины», потрясение вековых устоев, катаклизм в русской истории, он провел по ст. 87, о «чрезвычайных обстоятельствах», т. е. в обход Думы.

«Солженицын утверждает, что аграрная реформа была неотложно нужна, а Дума дебатировала бы ее до скончания веков. Совершенно верно, – пишет Хоскинг, – иными словами, налицо была подлинная дилемма, и представлять дело таким образом, будто для нее имелось простое и очевидное решение, не угодное лишь злонамеренным элементам, значит исказить сложность исторической ситуации» (там же).

Другой важнейший вопрос – о местном самоуправлении, о земствах, так же неправильно представлен Солженицыным, по мнению Хоскинга. Ибо не левые депутаты завалили законопроект – Дума как раз приняла предложения Столыпина по вопросу о земствах, – а русские помещики при обсуждении законопроекта на местном уровне, так как самостоятельность земств грозила им серьезным ущемлением их прав.

«Солженицын, – заключает Хоскинг, – фактически не уделяет достаточного внимания тем политическим и общественным силам, которые *поддерживали* Столыпина и лишь колебались по поводу отдельных пунктов столыпинской программы. Он создает образ Столыпина как одинокого отстаивателя прогресса и национального достоинства, храброго воина в неравном бою. Всё это повествование мелодраматично, чересчур сосредоточено на покушении и в нем упущены сложности и противоречия, которые и составляют подлинную драму истории» (там же).

Итак, по мнению Н. Рутыча «Август Четырнадцатого» – безупречный исторический источник, а по мнению Дж. Хоскинга – не вполне. Еще один автор, написавший об «Августе Четырнадцатого» интересную статью, Юрий Кублановский, не вдается в оценку качества солженицынской историографии, но просто констатирует в начале:

«Задача Солженицына не только «истолковать», но и впервые написать нашу новейшую историю, тщательно скрываемую, глубоко погребенную большевизмом. Соответственно тут мало одной художественной «трактовки», одного «образа», – надо воскрешать сам предмет: тут невозможно обойтись без больших документальных фрагментов» («У истоков стиля», «Русская мысль», 20 октября 1983).\*

Таким образом и этот автор рассматривает «Август Четырнадцатого» как исторический источник, точнее как некую комбинацию художественных кусков прозы и документальных (он так и определяет: «документально-художественная эпопея»).

Вероятно, говоря о документальности, Кублановский не имеет в виду десять небольших вставок под рубрикой «Документы». Сатирическое значение этих интерполяций самоочевидно. Как, например, в финале, где иронической виньеткой, завершающей трагедию, дана телеграмма главнокомандующего царю: «Счастлив порадовать Ваше Величество...» Нет, согласные и не согласные между собой критики под историческими разделами «Августа Четырнадцатого» имеют в виду сводные очерки деятельности Столыпина и Николая II, описание военных действий, очерк истории революционного движения (в рассказе тетушек). И сам автор

---

\* Дело, конечно, не в воскрешении предмета. Ситуация здесь не та, что была с Гулагом, о котором до Солженицына знали очень мало. И о Столыпине, и об эпохе существует обширная литература по-русски и на других языках: исследования, публикации, мемуары. Кублановский, видимо, хотел сказать, что современной русской публике большинство из этих материалов недоступны, что ей известны лишь фальсифицированные сведения из советских учебников.

подталкивает к такому пониманию, предваряя очерк о Столыпине извинением, что нарушает, мол, романную форму, вынужден давать историю.

Однако не вводит ли автор критиков этим слегка в заблуждение, не слишком ли охотно критики соглашались играть по предлагаемым правилам, забывая правила собственного критического ремесла? Не шлют ли они в результате и свои похвалы, и свои несогласия с отклонением от цели?

Мне-то, по ученичеству моему у Бахтина, кажется, что в художественном тексте у всех, чьи слова, мысли и поступки представлены, одинаковый статус – персонажей, а ценностные отношения по шкале морального и аморального, правдивого и ложного, исторического и фантастического определяются только модуляциями авторского голоса: что из описываемого дается всерьез, а что иронически, что как объективная реальность, а что как пристрастное мнение.

С этой точки зрения, и тот, кто представлен автором на стр. 169 второй половины «Августа Четырнадцатого» как Автор («Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы...»), независимо от намерений автора, не обладает в глазах читателя авторитетом большим, чем, скажем, другой персонаж – Варсонофьев. С первых же слов монолога Автора («Не все дают себе труд...») мы видим, что он полемичен, пристрастен, запальчив, т. е. проявляет в своем «историческом очерке» все качества, противоположенные историку. Таким образом, подлинный автор, скрытый *deus* повествования, как бы приглашает нас относиться к данному монологу не то что критически, но брать его в сопоставлении с другими высказываниями на ту же тему в романе.

Солидарный со своим героем, Столыпиным, Автор «исторического очерка» очень рационально показывает, как можно было выправить русскую историю. А на это из середины романа доносится возражение Варсонофьева:



«История – иррациональна, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань (...) История растет как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите» и т. д. (I, 410).

Нет, относиться к эпопее Солженицына как к прямому описанию русской истории начала века нельзя. Дело не только в том, что Солженицын часто субъективен, тогда как за историком предполагается объективность. Иногда и наоборот. Те, например, кто рассматривает художественное произведение как моральную пропись, могли бы даже упрекнуть его в моральном релятивизме. В знаменитой сцене из «Доктора Живаго» герой Пастернака во время боя стреляет в мертвое дерево. У Солженицына герой, Воротынцев, бьет без промаха в живых людей и крикает от удовольствия («И Воротынцев с удовольствием в том ряду стоял и бил, зачерпывал патронов, заряжал, целился, бил, переводил, и когда казалось, что от него немец упал, – кричал даже», I, 267). Однако противовесом к этой сцене в сознании читателя всплывает гениально описанная в начале повествования встреча гимназиста с Толстым, где на настойчивые вопросы мальчика Толстой настойчиво отвечает: «Только любовью».

В рамках своего повествования Солженицын вполне объективен, но воспринимаемый неправильно, как историк, он избирателен и пристрастен, а следовательно ненадежен. Как писатель он должен быть избирателен и пристрастен, ибо без стиля нет литературы, а стиль, в конечном счете, это и есть разборчивость, пристрастность, страсть.

Наивен был бы тот читатель, который считал бы, что познакомился с историей русского революционного подполья по рассказам тетушки Адалии и тетушки Агнессы (главы 59-62). В этих рассказах проходит череда узколобых доктринеров, антирусских фанатиков и истеричек. Сарказм Солженицына успешно справляется со своей мишенью – обезчеловечивающим сек-

тантством (в лице тетушек, конечно). Но с исторической точки зрения сектантство – только часть проблемы, корень которой в другом – в ужасающих условиях существования народа в государстве Романовых. Прекрасно знает и Солженицын, что всё началось не с истерики нервической барышни и не с мстительных замыслов обиженного судьбой студента, а с голодухи и рабского бесправия русского мужика, страданиями которого душа барышни и студента уязвлена стала. Эту историю писателю Солженицыну восстанавливать нужды нет: она широко известна по книгам других писателей – Некрасова, Герцена, Тургенева, Достоевского, Толстого, Лескова.

Гротескные рассказы тетушек – это и портрет их самих, и воссоздание той атмосферы нравственного тупика, в которой оказалась радикальная часть интеллигенции спустя полвека после начала общественного брожения. Увы, скорый читатель иногда торопится не заметить солженицынской тонкописи. Даже такой чуткий к стилю критик, как поэт Кублановский, усматривает в главах у тетушек «дегероизацию легендарности», а «описание народовольческих подвигов – «лукуллов пир» тонкой иронии, напоминающий этюд Вл. Набокова о Чернышевском» (цит. соч.). Да нет же, тут отнюдь не одна только тонкая ирония по поводу трагической истории народовольчества.

«Гимназистка, вышла на борисоглебский перрон, в муфточке – револьвер, встречать генерала, усмирителя крестьян, и – за поротых мужиков – ухлопала наповал! И прежде всякого суда – казачья казнь ей, изнасиловали взводом, в очередь» (II, 82-83).

Это ли тонкая ирония? Это ли сравнивать с эстетической сатирой Набокова?

Вычитывание из «Августа Четырнадцатого» исторических фактов бесконечно обедняет, почти уничтожает художественное содержание книги. Не в эпизодах, деталях, высказываниях, оценках дает автор историю, а в сложных взаимоотношениях оценок, высказываний, деталей, эпизодов. Вычитывание из романа отдельных исторических суждений может быть и просто опасно: вытащи камень с одной стороны – арка рухнет. Если вычитать из «Преступления и наказания» отдельные изначальные резоны Раскольникова, можно получить гнусный вывод: убийство допустимо. Если вычитать из «Августа Четырнадцатого» отдельные куски повести о Богрове, можно получить гнусный вывод: антисемитизм.

Подготавливая эти заметки, я читал разные материалы, в том числе цитировавшуюся выше книжку брата Богрова. Книжка редкая, экземпляр достался мне затрепанный и обильно прокомментированный на полях каким-то преклонных лет, судя по орфографии, читателем вскоре после войны. Маргиналии моего предшественника были весьма однообразны. Расписывает, к примеру, автор душевные качества покойного (брат, все-таки!): «Тонкая духовная организация, душевная мягкость...» – «Еврейское лицемерие», – комментирует карандаш на полях. «По его глубокому убеждению он должен был осчастливить мир...» – «Еврейский». «Что побудило сына состоятельных родителей поступить в охрану?» Тут карандаш даже задыхается от возмущения: «Еврей он или нет?» И, наконец, решительное резюме на все решаемые в брошюре «тайны» и «загадки»: «Никакой тайны нет. Еврей одурачил хохла Кулябко».

Конечно, такая непреклонность способна во всем различить козни мирового кагала. Как писал Олейников:

Если в кране нет воды,  
воду выпили жидаы.

Немало может почерпнуть так целеустремленный читатель и из повести о том, как еврейский хлюст, повинаясь «трехтысячелетнему тонкому зову», коварно убил спасителя России.

Солженицын подчеркивает мотив еврейского национализма в истории Богрова. Он тут вполне следует за самим Богровым, который называл в числе своих побуждений месть правительству за еврейские погромы:

«...позвольте вам напомнить, до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев?» (II, 132).

Это лишь слегка сокращенная цитата подлинных слов Богрова, приведенных в воспоминаниях Егора Лазарева\*. С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами. Наум Тыш, бр. Городецкие, Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-ая Михельсон, Иуда Гроссман, Хана Будянская, Берта Скловская, Шейна Гутнер, Ровка Бергер, Эндель Шмельте – щедрой рукой набросаны на первые страницы рассказа о Богрове. Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины: Сальный Емельян Емельянов, Макаренко Лука Гаврилов, Ипатов Евстафий Михайлов, Базаркин Степан Алексеев, Просов Афанасий\*\*...

В документальных своих источниках Солженицын пренебрегает кое-каким красочным материалом, за который ухватился бы любой писатель. Например, удручающе пошлыми стихотворениями Богрова: «Твой

---

\* Опущено после «растерзанных евреев»: «...мужчин, женщин и детей, с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами».

\*\* Всего из 25 имен подпольщиков, известных Богрову и якобы выданных им, еврейских 11 (цит. соч. 84).

ласкающий, нежно-чарующий взгляд, Твои дорогие черты Воскресили давно позабытые сны... Мне не зажечь холодные сердца, Ах, как прожорливый паук, Из сердца кровь сосет гнетущая тоска...» (цит. соч., стр. 93-94). Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей.

Наконец в самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой, «Протоколами сионских мудрецов»:

«Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змия, главу которого должно было составлять посвященное в планы мудрецов правительство евреев (всегда замаскированное даже от своего народа), а туловище – народ Иудейский. Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая их) все государственные, не-еврейские, силы по мере их роста»\*.

Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть. Как найдутся и такие, кто станет утверждать, что еврейство Богрова – случайный фактор, не имеющий отношения к гибели Столыпина.

За антисемитское прочтение его книги Солженицын несет не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку «Венецианского купца». Пьеса правдива, потому что еврейское ростовщичество было фактом жизни, и гуманистична, потому что в ней с большой поэтической силой сказано: «И еврей – человек», – революционно смелое утверждение по тем временам, от которых мы не так уж далеко ушли.

У Солженицына «и Богров – человек». Как ни отвратителен Богров своему автору, но даже этот пошляк и убийца с вывихнутыми представлениями о морали явля-

---

\* Цит. по сб. «Луч света», вып. III, Берлин, б/д, стр. 218. О мифологическом змие существует обширная литература (см. статью С. Аверинцева и М. Мейлаха в энциклопедии «Мифы народов мира», Москва, «Советская энциклопедия», 1980, т. 1).

ет собой какой-то человеческий тип, полярный Столыпину, но принадлежащий человечеству.

Почему так неожиданно в предельно напряженных обрывистых абзацах сцены убийства возникает тема *остроумия*?

«Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный – такие бывают остроумными – молодой еврей» (II, 248), «...и что-то косо дернулось в его лице – не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота» (II, 249).

Почему так долго исподволь подготавливавшийся образ змеиного естества Богрова не заканчивается метафорой укола, укуса, ядовитого жала? Совсем другого плана, совершенно неожиданное, казалось бы, сравнение использовано Солженицыным в описании рокового момента:

«...вытянул браунинг свободным даром...» (II, 167; курсив мой. – Л. Л.).

«Свободный дар», как известно каждому русскому читателю, это цитата из элегии Лермонтова «Смерть поэта» (1837) («Не вы ль сперва так злобно гнали / Его свободный, смелый дар...»). Так к концу жизнеописания террориста загадочно откликается та, казалось бы необязательная, отчасти анекдотическая заметка, которой это жизнеописание начато:

«Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через поворот века, на другом конце диаметра» (II, 114).

Какая связь между свободным даром величайшего национального поэта и истерическим преступлением киевского белоручки? Казалось бы, если уж вспоминать Лермонтова, то параллель должна быть иной: Богров-Дантес («Заброшен к нам по воле рока, / Смеясь он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы; / Не мог щадить он нашей славы; / Не мог понять в сей миг кровавый, / На что он руку поднимал!..»). Но в описании Солженицына нет бьющегося ровно пустого сердца, не дрогнувшего в руке пистолета – что было бы логично

для писателя-ксенофоба. Есть «невысказанная острота» и – даже! – пушкинский «свободный дар».

Эта «острота», этот «свободный дар» открывают еще один план повествования: за историческим планом открывается философский, за политическим – антропологический. В глубине глубин речь идет уже не о Богрове и Столыпине, не о революционерах и реформаторах, не о русских и евреях, а об экзистенциальном конфликте, заложенном в самое человеческую природу. Мы присутствуем не только при нападении еврея-террориста на русского государственного деятеля: здесь взбесившийся «чистый разум» нападает на «органическое начало».

На этом фоне нелепы, да, пожалуй, и оскорбительны для автора выкладки, сколько у него «плохих» евреев, а сколько «хороших». Здесь не так важно, что среди самых близких сердцу автора персонажей есть и еврей Архангородский, как важен его христианско-гуманистический взгляд на дела людские\*.

Именно в финале повести о Богрове Солженицын принимается за труднейшую для художника и моралиста задачу изображения смертной казни. Вопросы были им поставлены давно:

«Как это всё происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? К каким приходят решениям? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно... это... их... это...?» («Архипелаг ГУЛАГ», т. I-II, Париж, YMCA-Press, 1973, стр.443).

Тогда же Солженицын писал, что этого не знает до конца никто – ни помилованные, ни палачи.

«Еще, правда, художник – неявно и неявно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой веревки» (там же, стр 446).

---

\* Блестящий анализ «еврейского вопроса» у Солженицына содержится в книге Эмиля Когана «Соляной столп, Политическая психология А. Солженицына» (Кретеи, Франция, «Поиски», 1982, особенно стр. 188-190). Соглашаясь не со всеми выводами Э. Когана (который имел дело с неполной версией «Августа Четырнадцатого»), автор настоящих заметок считает себя во многом обязанным этому кропотливому и, хочется добавить, проникнутому искренней добротой труду.

Явно и ясно Солженицын отвечает на эти вопросы, повествуя о последних часах Богрова. Окончательный ужас смертной казни сосредоточен для него не в пляшущем на виселице теле, которое уже перестало быть живым человеком, перешло в неодошевленность, в средний род: «Тело, поплясавшее вначале, – висело 15 минут по закону...» – а в человеческих существах, получающих удовлетворение от этого зрелища (члены антисемитского «Союза русского народа», присутствующие при казни Богрова).

«Кто-то из союзников сказал: «Небось, стрелять больше не будет». А ему уже и не надо было » (II, 321).\*

Это вам не высунутые языки Леонида Андреева. На это и Толстой не сказал бы: «Он пугает, а мне не страшно». Страшно.

## VII

Взятые вне контекста герои Солженицына однозначны. В этом ключевое различие между Солженицыным и реалистами XIX века. Раскольников – убийца и совестный страдалец за человечество. Богров – убийца и точка. Аркадий Долгорукий то гнусно пристает к незащитной девушке на бульваре, то совершает подвиги благородства. У Солженицына за Саней, Ярославом – одно благородство, за Сашей Ленартовичем – одна подлость.

Однозначность персонажей продиктована сверхзадачей романа: противопоставить неправильной русской истории правильную русскую утопию.

---

\* Попутно хочется отметить ритмизацию прозы Солженицына, ее незаметное приближение местами к верлибру, в наиболее патетических моментах. А это отдельно вынесенное и с противительного союза начатое «А ему уже и не надо было» неожиданно напоминает сходно построенное окончание стихотворения И. Бродского «На смерть друга»: после цезуры, с противительного союза – «Да тебе и не важно».



Утопия – великий двигатель литературы. Утопия – также великое средство воздействия автора на читателя: в сознании восприимчивого читателя она перестраивает систему нравственных и политических ориентиров, укореняет новые стимулы поведения.

В центре «Августа Четырнадцатого» рассказана историческая попытка осуществления русской утопии. Столыпин пытался поставить на практические рельсы то, что веками было утопической мечтой мужика о Руси обетованной – о Беловодье, Мамур-реке, Китеже.

В истории всё пошло неверно, неправильно. Выродки допустили убить Столыпина, а с ним и великие реформы. Армию доверили не тем генералам. Глупый царь досиделся под башмаком у вздорной царицы до потери трона.

Но в искусстве художественное изображение неправильности выступает как своего рода матрица, отпечатывающая в сознании читателя картину *правильного* мира.

Останься Столыпин жив или имей он достойных преемников, он осуществил бы свои пятилетние планы, так позорно окарикатуренные большевиками (большевики подрядились осуществить утопию, а осуществили кошмарную антиутопию – Архипелаг Гулаг). Столыпин превратил бы страну в здоровую конституционную монархию. Он удержал бы ее от вступления в мировую войну. Он переместил бы экономическое, а также культурное – национальное, одним словом, – ядро на безопасные и щедрые просторы Сибири. При самодостаточной экономии Россия развивалась бы как могучее и мирное государство в заботах об охране своей природы, физического и духовного здоровья народа. Она поддерживала бы мирные экономические и культурные отношения с соседями без притязаний на их территорию (своей хватает!) и с дальними державами.

Подробнее... Подробнее – в известном солженицынском «Письме вождям»\*.

Письмо это адресат читать не захотел.

Судя по его могучему началу, «Красное колесо» – это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу – тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно.

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Как нам стало известно, передача, сделанная по этой статье на радио «Свобода», вызвала внутри станции довольно острую полемику, инициаторы которой обвинили автора в «антисемитизме» и даже «животном расизме». Знал бы покойный Владимир Лифшиц – один из самых чистейших и талантливейших людей своего поколения, чуть не до голодной смерти затравленный в годы кампании против «безродных космополитов», что придет время, когда несколько бездарностей от журналистики, ради своих сугубо лукавых целей, обвинят его сына в юдофобии!

Публикуя эту статью, мы приглашаем читателей высказаться по этому поводу на страницах нашего журнала, ибо пора наконец положить предел поползновениям некоторых индивидов в нынешней эмиграции шантажировать своих идеологических оппонентов, а заодно и средства массовой информации русского Зарубежья жупелом антисемитизма.

Современный антисемитизм – достаточно серьезная и болезненная проблема, чтобы ею можно было пользоваться как политической отмычкой для чьих-то откровенно эгоистических, а то и прямо провокационных целей.

---

\* Б. Парамонов обратил мое внимание на парадоксальное сходство «Письма вождям» со многими пунктами программы Зеленой партии в Германии. Дело тут, видимо, в общей тревоге человечества во второй половине XX века в связи с угрозой гибели природы и национальных культур.

## СКВОЗЬ СОБЛАЗНЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Невозможно говорить о судьбе и поэзии Александра Сопровского, как и о судьбах и поэзии его сверстников, нынешних тридцатилетних, не затронув широкий спектр воздействий тоталитаризма на искусство. Это не так просто. Ибо тоталитаризм воздействует на искусство не только прямо, что очевидно, но и косвенно, что уже не так очевидно.

Косвенные последствия – это соблазны, порожденные давлением власти и закрытостью общества. Соблазны эти опять-таки далеко не всегда направлены к оправданию сервизма и конформизма (таких соблазнов тоже сколько угодно, но речь сейчас не об этом), накладывают они свой отпечаток иногда и на тех, кто так или иначе противопоставляет себя существующему давлению. Но и во втором случае это связано с упрощенным решением ложной, почти неразрешимой духовной ситуации, с построением упрощенной системы ценностных координат для ориентировки. Хотя выглядят эти построения чаще очень сложно и изысканно – в том и соблазн. Это далеко не всегда вина, иногда – только беда, ибо время почти не оставляет другой возможности, жизнь и все ее ценности «не даются», расплываются под руками, воспринимаются как выхолощенная абстракция. И не удивительно, что хочется схватиться за что угодно – лишь бы увидеть в своей жизни и в своем творчестве хоть какую-нибудь ценность и смысл. Легко, например, исходя из того, что искусство связано с вечностью, забыть, что эта вечность может быть увидена только в современности, и начать многозначительно выдавать эту «вечность» километрами, игнорируя эту необходимость *увидеть*, игнорируя в сущности сам акт творчества. Можно, наоборот, исходя из того, что искусство невозможно без непосредственности, ограничиваться культивированием сиюминутных ощущений самих по себе (а не только в тех случаях, когда через них выражается нечто менее случайное, нечто большее, чем скрыто в сюжете, – откровение поэзии). А раз так, то можно заниматься чем угодно – даже упоенным (а потому и не трагическим) самооплевыванием, смакованием низости и безыс-

ходности жизни: противно, но зато, правда, и самовыражение своей неповторимой личности налицо...

Сущность ошибки проста. Усвоили, что личность ценна и неповторима сама по себе, что ее самовыражение есть основа творческого процесса, но упустили, что сам факт рождения и наличия физиологических отправления еще не возводит каждое человеческое существо в ранг личности, тем более личности творческой, поэтической. Соблазны эти действуют не только непосредственно на авторов, но и опосредованно на часть читателей – тоже стремящихся причаститься к высокому без особых усилий, так сказать, получить Царствие Небесное за сходную цену. В том-то и вред соблазна, что он дает иллюзию духовной победы, когда ее нет, и заслоняет подлинные, но труднодоступные вершины, к которым следует стремиться, что он, по существу, лишает человека подлинных духовных достижений и переживаний всего, что может дать ему искусство. Вкус – вовсе не такая случайная и безобидная вещь, как многим кажется, это выражение сущности человека, его представления о жизни и ее ценностях. Или подмена всего этого. Ложный вкус – ложная жизненная ориентация. Разумеется, во все времена встречаются люди, предпочитающие хождение на котурнах и возвышающиеся от него даже в собственных глазах. Ибо их задача – не преодолеть ограниченность времени или бытия вообще, а придать многозначительность и респектабельность своей собственной, прежде всего, душевной, ограниченности. Но в поколении, к которому принадлежит Александр Сопровский, этим соблазнялись и люди, способные на большее. Просто потому, что время, когда они формировались, почти не оставляло им иных выходов.

Теперь я говорю «почти», а еще недавно вполне обходился без этого уточнения – ибо в возможности молодых поколений (конечно, в исторические, а не в природные) вообще не верил, считал, что им не на чем формироваться. И думал так я уже довольно давно. Даже столь обрадовавшее меня появление в поэзии Олега Чухонцева и Александра Кушнера уже было для меня неожиданностью. Но это не поколебало моей печальной уверенности – просто оказалось, что смена поколений произошла чуть позже, чем я поначалу предполагал. То, что мне потом приходилось читать (безразлично, в «Днях поэзии» или эмигрантских изданиях), только подтверждало в моих глазах мою правоту. Так называемая «вторая культура» восприни-

малась и воспринимается мной как «вторичная», подражательная – пусть часто ее авторы подражают не техническим приемам, а побудительным импульсам, представлению о искусстве и художнике: подражание ведь плохо не тем, что угадывается оригинал, а отсутствием подлинности. Короче – ничего другого, кроме этой «второй культуры», я от молодого поколения и не ждал. И ошибся. Знакомство мое с творчеством Александра Сопровского и некоторых его сверстников (Бахыта Кенжеева, Вероники Долиной\* и др.) и заставило меня ввести в свои рассуждения это «почти». Русская культура оказалась даже еще более живуча, чем я предполагал.

А преодолеть этим молодым людям пришлось многое – всю толщу безвременья. Подумать только, в 1968 году, когда наши танки вторглись в Чехословакию, когда для старших поколений практически было все кончено, Саше Сопровскому только минуло шестнадцать. Для него и его сверстников все только начиналось. Здесь трудно и не совсем уместно говорить о том, что именно наполняло в разные периоды жизнь старших. Пришлось бы начинать с оцепенения сталинщины, а потом подробно рассказывать, как постепенно легализованная вера в «подлинный» и «идейный» коммунизм столь же постепенно уступала в наших сердцах место осознанию иных, неотрывных ценностей, как постепенно становилось ясно, что преступной была не только сталинщина, хотя с ее уникальностью в этом смысле спорить не приходится, но и сама большевистская революция, романтика которой нам – иногда осознанно, иногда нет – противопоставлялась в течение многих лет господству сталинской бессмыслицы и была единственным духовным достоянием нескольких поколений. Более того, оказывалось, что ее воплощение – «подлинные коммунисты» – ответственны не только за свои собственные невероятные непотребства, но и за воцарение Сталина, навязанного народу именно ими – как в процессе внутривластной борьбы, так и в страхе потерять единство своей заговорщицкой террористической партии. То, что это единство потом повернулось против них же самих, подменив и уничтожив их, – ничего не ме-

---

\* Вероника Долина – автор и исполнитель лирических песен. Она, по-видимому, почти не публикуется, но много выступает и как будто нисколько не запрещена. Этим я опять хочу напомнить, что суть не в запрещенности.

няет. Это было только просчетом в преступных расчетах, причем таким просчетом, за который расплатились (да и расплачиваются до сих пор) не они одни. Все эти откровения сопровождалось надеждами, что Россия постепенно становится «нормально-плохим» государством, озабоченным собственным существованием. В связи с этим на первый план выходили вечные проблемы бытия, духовного наполнения и оправдания жизни человека и общества. Судьба страны, даже судьба и история революции не переставали из-за этого интересоваться и волновать нас, не теряли для нас своего значения, но воспринимались и рассматривались в ином освещении – с точки зрения интересов самой жизни, ее богатства и ценности, а не с точки зрения соответствия интересам мифической конечной цели. Я и теперь считаю такое отношение единственно верным и плодотворным для литературы и для культуры вообще. Но все это сопровождалось и оправдывалось надеждами на нормализацию жизни, на ее нормальную трагичность.

Собственно, в таком отношении не было ничего особо оригинального, это было подтверждением банальных, не нами открытых истин. Но истин, поставленных под сомнение, а то и как бы вовсе отброшенных не только властью, но и изнасилованным общественным сознанием. Содержанием нашей жизни были не столько сами эти мысли, сколько путь к ним, пафос их восстановления из развалин, по-новому открытое и потому обостренное чувство их необходимости и притягательности. В сущности – это вечное содержание, вечный сюжет искусства – открытие этих вечных банальных истин, выход к ним из каждый раз других исторических обстоятельств, мешающих их постижению. Наше время отличается только тем, что на пути к их постижению возникают помехи, не только создаваемые самой стихией жизни, но и централизованно насаждаемые властью. И если был в нашей жизни период, когда казалось, что эти дополнительные помехи скоро начнут исчезать, то 21 августа 1968 года он кончился, и все связанные с ним расчеты оказались построенными на песке. И как не посочувствовать тем, кто только начинал тогда жить, мыслить и чувствовать...

Тем, у кого были надежды, а потом исчезли, было все же легче. Крушение надежд еще отнюдь не означало, что все, открывшееся им в связи с этими надеждами, – т. е. значение неотрывных ценностей и иллюзорность «конечной цели» –

потеряло смысл. Более того, для тех, кому он открылся, он мог оставаться мощнейшим творческим импульсом и в эпоху безвременья – успехи «деревенской прозы» говорят об этом достаточно ясно, а это не единственное, что продолжало жить в подцензурной литературе.

Речь ведь не о возможности печататься, а о возможности писать. Это не всегда совпадает. В сталинские времена возможности печататься почти не было, но, как известно, большие поэты и прозаики: Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Булгаков, Платонов – продолжали писать, а кроме того начинали всерьез писать и более молодые авторы – хотя далеко не все их имена и произведения дошли до нас. Времена были страшные, но ощущение важности жизни и важности творчества не проходило. И какими-то незримыми нитями оба эти ощущения были связаны между собой – при любых политических взглядах, любой стадии развития общественного самосознания после Сталина, любом отношении к происходящему. После 21 августа 1968 года (а этой датой только завершился процесс дискредитации надежд на нормальную жизнь) серьезное отношение к жизни – особенно для молодого поколения – стало выглядеть анахронизмом.

Молодые люди уже всё знали. Знали, что коммунизм – фикция, что ценности незыблемы, что возможности жизни ограничены. Последнее даже породило целое направление в поэзии, радостно и гордо проникнутое духом смирения. Смирение – высокое и мудрое отношение к бытию, и я ничего против него не имею. Более того, я сам стоял у истоков современного увлечения им и нисколько об этом не жалею. Но, как справедливо отметила в сатирическом стихотворении, опубликованном в «Литгазете», Новелла Матвеева, в поэзии тема смирения интересна только тогда, когда автору есть что в себе смирать и когда то, что он смиряет в себе, достаточно значительно. Тогда стихи, исполненные смирения, напряжены и драматичны, волнующи. Но авторы, высмеянные Новеллой Матвеевой – а таких много не только в «конформистской» (т. е. опубликованной в СССР) литературе, – этот этап пропустили, прямо начали с умудренности. Конечно, они верно понимали, что без ценностей нет искусства, а смирение – ценность. Но одного сознания, что ценности для искусства необходимы, – мало. Произведение искусства только тогда живо, эти ценности только тогда в нем *существуют* (т. е. воспринимаются

остро и непосредственно), когда они в процессе творчества (в том он и состоит) добыты из жизни, отвоеваны у энтропии, у хаоса, у небытия. Как ни крути, а творчество – даже по форме самое шутливое – требует от художника серьезного отношения к жизни, своей и общей, заинтересованности в ней. А это в свою очередь требует хотя бы минимальной веры в свою способность хоть как-то повлиять на ее ход, веры в оправданность своего интереса к ней. Я был уверен, что жизнь не дает ни малейшего основания для такого самоощущения.

Тоталитарная власть – это ведь не просто власть – это порядок вещей, имитация жизни. К тому времени, когда новое поколение подросло, этот порядок вещей был полностью дискредитирован. Это понимала вся мыслящая часть общества и ощущали вообще все. Между тем, этот порядок вещей продолжал господствовать, требовать верности и поклонения, возводил это в естественную обязанность, требовал ежедневно хотя бы делать вид, что для тебя это так, – короче, хватал за горло, как мертвый живого. Что оставалось делать? Доказывать, что советская власть никуда не годится? Но кроме того, что это было опасно, это еще означало ломиться в открытую дверь: все это было уже к тому времени передумано, пережито и даже высказано, и вправду превратилось в банальность. Но существовать и держать за горло от этого не перестало.

А жить-то ведь чем-то надо. Как тут не ухватиться за те соблазны, как не начать во имя «обобщения» просто игнорировать непреодолимую ситуацию, не начать кокетничать цинизмом, не заняться бессмысленным самовыражением? Я был убежден, что других выходов для этого поколения (я не говорю о политическом диссидентстве) – просто нет. Оказалось – есть.

## II

Александр Сопровский обратил на себя мое внимание еще первыми своими стихами, напечатанными в общей с его друзьями подборке «Континента». Правда, внимание неуверенное – стихи могли быть и случайной удачей. Но его статья «Конец прекрасной эпохи» («Континент» №32), а затем уже и большой цикл стихов («Континент» №33) ясно показывали, что удачи эти не случайны, что за всеми удачами и неудачами



стоит напряженная и богатая внутренняя жизнь, внутренняя работа, очень серьезная и ответственная, – настоящая. И что поэтому его отношение к поэзии лишено каких бы то ни было следов гениальничанья, еще недавно столь распространенного в «молодой» литературе. Статья эта – яркое тому свидетельство. Она не оставляет сомнения в том, что А. Сопровскому свойственно не только стихийное проявление вкуса (что отнюдь не малость), но и осмысленное понимание его сути. Он этим как бы тоже вырывается из безвременья, противостоит расплывчатости, необязательности и неопределенности его «стиля». Но все же следы кружковости, кружковая логика и амбиции, нет-нет, а дают себя почувствовать в этой статье.

Я хочу, чтоб он быстрее от этого освободился, но не сужу его за это. Долгое существование в кружках не может не иметь последствий, но в наши дни это существование в кружках – не вина, а беда. В эти кружки (дружеские, творческие, но никак не политические, как хотелось бы жаждущим деятельности следопытам из ГБ) молодых людей (и отнюдь не из худших) загоняло время. Собственно, такие кружки творческой молодежи возникают всегда, ибо на первых порах творческая молодежь часто нуждается в тесном общении. Отличие современных кружков от обычных только в какой-то их безысходной долговечности – из них не было выхода в литературу. И не только потому, что у каждого из этих молодых людей, вероятно, есть стихи, выходящие за грань допущенного (такие произведения часто есть и у тех, кто в фаворе у властей), а и просто из-за коррупции. «Маститые», сидящие в редсоветах издательств и редколлегиях журналов, руководствуясь нехитрым принципом: «ты меня, а я тебя», печатают только друг друга, благо в СССР заработок писателя зависит от факта издания и от его тиража, а никак не от того, насколько его книгу покупают и читают отдельные граждане. Ясно, что молодые писатели в эту «систему» трудно вписываются и что она тоже порождает у них невеселые мысли и в свою очередь тоже выталкивает их куда-то в сторону – опять-таки в «свой круг». Разумеется, я говорю о писателях, т. е. о людях, мечтающих что-то сделать в литературе, а не просто желающих печататься любой ценой и видящих в этом свое назначение. Но чем бы ни объяснялась эта кружковость, как бы она ни была оправдана, воздействие ее на развитие культуры не может быть только положительным. Она создает кружковую логику, постепенно и

кружковую систему ценностей. Самодовольство «кружковых гениев» тоже связано с ней. Вне обмена с жизнью, почему же не быть гением? Тем более, что ты такой хороший и чистый: отвернулся от всякого «официоза» и работаешь лифтером. К тому же и силами не надо ни с кем меряться – в лифте-то. Кроме того, отворачиваясь от «официоза», молодые люди часто отворачиваются вообще от старших, ибо те «не свои», а значит, и от их опыта – иногда ценного, в целом или в части, – от их судьбы: надежд, заблуждений и поражений, от истории... Эта повышенная прокурорская требовательность к другим приводит к снижению требовательности в «своем кругу»: все равно лучше «официоза»...

Печать таких представлений и привычек лежит и на статье А. Сопровского, хотя в принципе она, главным образом, против них и направлена. Поэтому она и производит на меня странное впечатление: соглашаясь с ней в целом, я не согласен ни с одним ее определением, ни с одной констатацией. Даже то главное, против чего выступает автор, я не назвал бы, как он, ни иронией, ни паниронией. В иронии всегда есть и некое «положительное начало», она похожа на обманувшуюся любовь и ничего не имеет общего с тем разлитым морем самоупоенного нигилизма, против которого выступает автор и которому по природе дарования, судя по стихам, был чужд всегда. Хоть, может быть, не всегда это так ясно сознавал. Теперь, видимо, накипело. И как бы он ни определял и констатировал, предмет его атаки ощущается весьма ясно, и этой атаке нельзя не сочувствовать. Вообще, в этой статье он во многом идет против «своих». Например, против рассудочной аполитичности, иначе говоря, против игнорирования того, как живет и дышит. Нет, он отнюдь не становится от этого «политиком». Как не были «политиками» Ахматова, Мандельштам и Пастернак, в поэзии которых Александр Сопровский тоже, и вполне справедливо, находит элементы гражданственности. Но отнюдь не той, что мыслит себя важнее поэзии. Некрасовские слова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – неточны и опрометчивы, поскольку обращены к поэту. А так – безусловно, не все люди обязаны быть поэтами, а гражданами – хотя бы теоретически – все. Но если ты не поэт, то и не надо говорить о тебе в связи с поэзией – только и всего. Но слова эти обращены именно к поэту. Однако А. Сопровский говорит о другой гражданственности

– о той, без которой в наше время не смогли обойтись даже Мандельштам и Ахматова, о той гражданственности, без которой невозможно быть никаким, даже самым «лирическим» поэтом. Он не произносит скомпрометированного – особенно в его кругу – слова «гражданственность», но говорит именно о ней. И это очень симптоматично и даже радостно. И то, что он чувствует, плохо укладывается в язык неизжитых им еще, по-видимому, кружковых представлений. Это бунт против кружковой логики, но на ее языке. А иначе – не было бы, как я думаю, никакой необходимости строить эту статью на полемике с М. М. Бахтиным. Вовсе не на Бахтина опирается то, что автору не нравится в «нонконформистской» литературе, даже если кто и прячется за его формулами. И вовсе не так уж анахронично понятие «просто писатель», защищаемое Бахтиным, вовсе не следует отдавать его в повластное владение имитаторам. Каждый хороший и живой писатель – прежде всего «просто писатель». Конечно, сегодня отношение «просто писателя» и к жизни, и к творчеству несколько иное, чем во времена Толстого. И А. Сопровский прав, когда пишет: «Можно было бы – с чисто культурной точки зрения – счесть эти обстоятельства (речь идет о тотальном давлении. – Н. К.) внешними, но степень этих невзгод такова, – и в этом суть дела, – что они не только пронизывают собой во всех направлениях современный быт, но – в этом заключается принципиальная особенность – посягают на самое душу. И не только твою, а и твоих близких, друзей, единомышленников. Поэтому «отвлечься» от этих обстоятельств означало бы отвлечься от собственной совести». Это абсолютно верно. Но откуда следует, что «просто писатель» должен от всего этого отвлекаться – особенно в таких обстоятельствах? Ведь «отвлечься» в данных обстоятельствах – значило отвлечься не только от совести (кстати, к совести апеллировали и прагматисты шестидесятых годов прошлого века, отрицая, в сущности, искусство), но и вообще от собственного восприятия, от собственной реальности, от себя самого, от всего, без чего просто не будет упомянутого «просто писательства». Ведь спокон веку для того, чтобы быть «просто писателем», надо было быть причастным к чему-то высокому и всеобщему, к красоте, к гармонии, к мировому духу – как хочешь, так и называй. Отсюда и все его внутренние коллизии – коллизии этой причастности в реальной жизни. Творчество – это, ко-

нечно, самоутверждение, но самоутверждение не особи, а личности\*, человеческого духа. По-видимому, А. Сопровский и сам понимает это: «Это (т. е. то, о чем говорится в предыдущей цитате. – Н. К.) не может не сказаться на внутренних особенностях творчества. Оно с неизбежностью окрашивается в тона бушующих вокруг невзгод. Можно и нужно силою духа отталкиваться от этих условий, но ведь и сама сила духа – она проявляется в этих условиях, по контрасту с н и м и, вопреки и м». Все правильно, но ведь это и есть задача «просто писателя» – оставаться самим собой среди всего этого, помнить и проносить свое вопреки всему этому, воспринимая, противостоя, не растворяясь. То, чего требует А. Сопровский, – это и есть «просто литература», но «просто литература» очень непростой эпохи.

Мне очень симпатичны поиски и направленность А. Сопровского, его стремление противостоять обстоятельствам самой поэзией, понимание, что иных путей у поэзии нет. Но, приписав все, что он не любит, «просто писательству», он заходит в своей полемике слишком далеко, куда вряд ли хочет зайти: «С интимностью, невысказанной для „просто писателя“, обращается к своей нищенке-подруге Мандельштам:

Мы с тобой на кухне посидим,  
Сладко пахнет белый керосин...

Эти стихи невозможно почувствовать с точки зрения «просто литературы», нельзя понять как «текст». Разве в тексте не резанет поначалу дурацкая рифма «посидим-керосин», а под конец не раздражит инфантильной сентиментальностью пожелание «...уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал»?». Не знаю, что подразумевает А. Сопровский под учебным словом «текст». Рассматривают стихотворения (или что угодно) как тексты только различные лингвистические школы. Насколько мне известно, тексты ими не «чувствуются», не «воспринимаются», а только «изучаются». И изучаться в качестве «текста» может что угодно без различия смысла и качества. И независимо от принадлежности к «просто литературе»

---

\* Это точное противопоставление терминов «личность» и «особь» взято мной из статьи А. Назарова «Национальное возрождение – насущная необходимость» («Вестник Р.Х.Д.» №135), точной далеко не во всем.

или какой-либо иной. Понадобится ли им для изучения это стихотворение Мандельштама – это их дело. Мы же можем говорить только о стихотворении, об одном из самых лучших и живых стихотворений в русской поэзии. Вполне возможно, что вне стихотворения рифма «посидим-керосин» может показаться дурацкой, а желание затеряться на вокзале – инфантильным. Просто потому, что стихотворение – организм, все элементы которого органически дополняют и освещают друг друга. Но в полемике с «просто писательством» А. Сопровский забывает об этом. И оказывается, что вообще, если воспринять это стихотворение как произведение «просто литературы», то – «Замкнутая на себя в тексте интонация этих стихов умрет; она строится в расчете на активное сопереживание слушателя, на «узнавание» общей атмосферы – жутко-тревожной атмосферы, охватившей всю страну и сплотившей подспудно лучшую часть ее народа».

Я думаю, что А. Сопровский ошибается. Ведь если интонация какого-либо стихотворения прямо или подспудно рассчитана на «узнавание» особых обстоятельств, которые ее породили, то, следовательно, вне этих обстоятельств она не может ни восприниматься, ни вообще существовать. Практически это означает, что чувство, лежащее в основе этого стихотворения, – не воплощено, т. е. задача художника не выполнена. Если стихотворение перестало существовать спустя срок, значит, оно было недоброкачественным с самого начала, а держалось на допингах, таких, как «узнавание» и «сопереживание» (под сопереживанием здесь, по-видимому, понимается сходный опыт, ибо в обычном смысле оно не условие, а результат понимания произведения). Думаю, что подлинное произведение, наоборот, воскрешая высокую духовную коллизию, в значительной степени воскрешает и коллизию душевную, а через нее и обстоятельства, с которыми она органически связана. Но несогласие с теоретическими взглядами автора в данном случае не уменьшает симпатии к тому, чем он озабочен. В том, чем он озабочен, А. Сопровский – прав. Игнорировать современность нелепо, ибо вечность без нее – фикция, а всякая попытка пробиться через современность к вечности – даже если по историческим или личным обстоятельствам это не вполне удастся – работа. Что-то она, наверно, дает и современникам (в стремлении к вершине есть уже хотя бы напоминание об ее существовании, т. е. что-то от

поэзии, хоть и не настоящая ее победа), но, кроме того, это путь, по которому более удачно потом пройдут другие. В сущности, А. Сопровский защищает подлинность против профанации. Хоть, делая это, старается не отрываться от кружковых представлений. Жаль.

Эти представления и комплексы проявились в статье и в том разоблачительном пафосе, с которым он говорит о военном и послевоенном поколениях русской поэзии, в навязчивом стремлении доказать, что они ни в коем случае не дали «бронзового века», как многие полагают. Эта проблема меня не интересует: людей, претендующих на это, я среди своих сверстников не встречал, самому мне тоже не до того – я ведь и от серебряного века не в восторге, на что мне еще и бронзовый. Но думаю, что путь, пройденный моим поколением, требует иного отношения. И уж никак не следует его помещать в узкое пространство между «громким» Евтушенко и «тихим» Куняевым. Ибо именно это поколение проделало обратный путь от прострации сталинщины через восстанавливаемую с трудом большевистскую идейность к нормальным ценностям, к той внутренней свободе, с высоты которой и судит его сегодня столь размашисто А. Сопровский. Я не спорю, сохранять эту свободу в сегодняшних условиях совсем не просто и часто неудобно, но прежде, чем ее сохранять, надо было ее обрести. Ибо она – особенно в наших условиях – не нечто само собой разумеющееся. И вовсе перед нами не стоял простой выбор между добром и злом, как сейчас, и мы вовсе не выбирали сознательно зло или сервиллизм. И даже желание самим стать официозом, о котором столь разоблачительно упоминает автор статьи, – часто вовсе не было сервиллизмом, а только одним из наивных заблуждений, на пути если не к истине, то хотя бы к освобождению. И над концом «прекрасной эпохи» не стоит так уж иронизировать. Действительно, был период, когда казалось, что жизнь нормализуется и выходят на авансцену обыкновенные, «вечные» проблемы бытия – по ошибке приоткрылось окошко в вечность, и она вдруг стала осязаемой, реальной. Потом оказалось, что было не до вечности, что душные, хоть и сиюминутные ветры современности быстро захлопнули окошко, мутными тучами заслонили вечность. Но все же то, что мы увидели, осталось с нами и как-то перешло к новым поколениям, которым – к слову сказать – именно из-за этого почти неуместного знания не всегда уютно на этой

земле. Но тут уж ничего не поделаешь. Разумеется, я опять-таки говорю не о сервилистах – среди нас их тоже было пруд пруди, – не о тех, для кого литература была только способом богатой и светской жизни (в СССР писатели и впрямь нечто вроде сословия), а о тех, кто хотел что-то в ней сделать. Разумеется, ни одно поколение не может решить все вопросы, которые встанут перед следующим, но все же кое-что из сделанного нами новым поколением усвоено, хотя и воспринимается им как нечто, само собой разумеющееся. Между тем, отвоевать эти простые истины у дьявола было ох как непросто. И самое нелепое – это обвинять какое-либо поколение в том, что оно не начало с того, к чему оно пришло в конце и с чего следующее начало. Конечно, не всегда хватало самостоятельности (вся мощь несегодняшней, более молодой тоталитарности старалась не допустить ее), конечно, путались в трех соснах, но, как мы видим, и свобода мысли не освобождает от этого. Люди, готовые легко свой родной конформизм обменять на чужой, западный, воспринимая кризисные явления как достижения духа, – явное тому доказательство. А их – немало. Тем и ценна статья А. Сопровского, что выступает против «своего», «нонконформистского» конформизма – за возврат к живому восприятию современности, к живому «требованию от бытия смысла и красоты» – короче, к живому творчеству.

### III

Впрочем, знакомство с его стихами убеждает в том, что сам он от этого живого творчества не уходил никогда – во всяком случае, очень давно, во все периоды, доступные нашему наблюдению. Но это отнюдь не значит, что весь его путь состоит из удач. И дело совсем не в том, что ничей путь в литературе и в жизни не бывает отмечен одними удачами – речь идет о неудачах не случайных, а обусловленных ситуацией. И не о частностях исполнения.

Хотя и тогда бывает, что в хорошем и точном стихотворении вдруг встречается абсолютно не соответствующее его уровню неточное, размашисто-«поэтическое» слово. А такое встречается. Вот, например, первое четверостишие одного хорошего стихотворения:

Погода. Память. Боль.

Душа, отстойник боли,

С похмелья поутру брезглива и строга.

Теперь не до зимы. Знать не по доброй воле

Застали нас врасплох ноябрьские снега.

О чьей «доброй воле» идет речь – о «нашей» (т. е., автора и его друзей) или снегов? По «нашей» застать нас же врасплох физически невозможно, а насчет воли снегов тоже все выглядит странно. По точному смыслу снега застали нас врасплох недобровольно – вроде хотели предупредить о себе, да не смогли. Я не иронизирую над «волей снегов» – в лирических стихах она вполне возможна. Но в четверостишии и намека нет на внутреннюю драму снегов. Это «нам» не до зимы, а не им.

Конечно, можно как-то догадаться, что речь идет здесь вообще не о чьей-либо добровольности, а просто о некоей воле, недоброй по отношению к «нам». Но поскольку смысл устойчивого словосочетания «по доброй воле» здесь почему-то игнорируется, сила «удара» ослабляется, точное движение стихотворения разбивается, оно расплывается, по-пустому озадачивает. А ведь так легко было поправить. Для примера хотя бы так – заменив утверждение вопросом: «По чьей недоброй воле / Застали нас врасплох ноябрьские снега?» – (конечно, я здесь не даю советов, а просто пытаюсь точнее определить характер неточности). Впрочем, неточное словоупотребление не соответствует характеру дарования и творчества А. Сопровского. Неточности у него потому так и выбиваются из строя, что этот строй существует. Но они вполне соответствуют духу безвременья, тому расплывчатому и необязательному самоощущению и самосознанию, которые с этим безвременьем связаны. Такая «поэтика» встречается, конечно, и в другие времена, но только в эпохи безвременья она начинает занимать господствующее положение. Такие огрехи говорят не столько о поэте Сопровском (о нем речь впереди), сколько об обстановке, в которой он живет. Неужто не нашлось никого, кто счел бы нужным сделать это бесспорное замечание? Ведь этот огрех так легко устраним. И ведь касается это замечание не основ творчества, а только того, что А. Т. Твардовский называл «малыми секретами мастерства». Могли б это замечание сделать и старшие – в Москве достаточно опытных литераторов, способных на это, – но, видимо, А. Сопровский



и его друзья начисто игнорируют их как «официоз». И ровесники не сделали – не до того им, видно, было.

Но все это больше относится к условиям жизни А. Сопровского, чем к его творчеству. Неудачи А. Сопровского, о которых шла речь раньше (и о которых стоит говорить только для того, чтоб лучше понять его путь к удачам, верней к победам), связаны отнюдь не с «малыми секретами» – с ними, несмотря на некоторую недисциплинированность, у молодого поколения как раз все в порядке, – а с более серьезными причинами.

И дело тут не в огрехах, а во внутренней незавершенности. Не в том, что возникающая интонация пропадает, а в том, что она провисает из-за того, что ей нет надлежащего эмоционального обеспечения. И не потому вовсе, что автору недостает таланта или личности, что в стихах «нет чувства», а потому что эти чувства не обретают крылатости (символисты говорили: «полетности») по, как говорят марксисты, «объективным условиям». В том и состоит заслуга А. Сопровского (как и некоторых его ровесников), что он эти условия преодолевает. Но это очень трудно – погрузиться в духоту современности и все-таки выплыть к вечному небу. Гораздо проще (и «поэтичней») парить под этим небом, ни во что не погружаясь – незаметно и красиво минуя самый процесс творчества. Или, наоборот, – вовсе не вырываться из этой духоты, а гнить в ней, тыча всем в нос соответствующие ароматы, как доказательство собственной смелости и правдивости. Конечно, и эти дороги не ведут в СССР к внешнему успеху (особенно вторая), но к некоторому, обманному самоудовлетворению они все же ведут. Тем более, что по слухам (в общем, ложным) на передовом и свободном Западе такое искусство в чести. И то, что такие, как А. Сопровский, выбрали другой путь, меня очень радует. Конечно, не поэты выбирают пути, а пути – поэтов. Но поэты в иные эпохи могут и не распознать своих путей, поверить не себе, а глушению (впрочем, может, это говорит о том, что они изначально не настоящие – кто знает?). Но с Сопровским этого не произошло. Имитацией творчества он никогда не занимался.

Конечно, и правильно выбранная (или выбравшая) дорога не спасает от неудач. Но неудачи такого рода – в отличие от других – не бессмысленны. Они все равно – проделанная работа, накопленный опыт «эстетического освоения действитель-

ности». По этому пути так или иначе все равно пройдут другие, и им твой опыт, как он ни индивидуален, пригодится. Такое творчество – штурм высоты, которую взять необходимо, но не удалось, а удалось только закрепиться на склоне. Это порыв в правильном направлении, но недостаточный для преодоления плотного сопротивления ситуации («материала»?). Порыв этот поэтический, но недостаточно реализованный. Для тех, кто рядом, он может выглядеть и реализованным, удовлетворять потребность в поэзии – но это пока длится «узнавание сопержитого» (выразимся так). Взять высоту нужно (искусство требует побед полных и окончательных), но закрепившийся на склонах высоты все же тоже что-то если не сделал, то делал. Как, например, А. Сопровский в приводимом стихотворении:

Жизнь обрела привычные черты,  
Что было нужно – за день перебрала.  
Застольный шум, а посередине – ты:  
Слегка царишь, но выглядишь устало.

Следующие четыре строки мы временно пропустим, течения это не нарушит. Дальше:

О, Господи, как фантастичен быт!  
Искривлены смеющиеся лица.  
Кто с кем тут рядом и зачем сидит,  
На что озлоблен и чего боится?

Хозяюшка, отсюда не взлетишь.  
Оскалит рот смеющаяся вечность.  
Погасишь свет и ясно различишь  
За окнами таящуюся нечисть.

И вправду мир покажется тюрьмой,  
Дыханье – счастьем, и прогулка – волей.  
Что с нами происходит, Боже мой,  
На этом самом жутком из застолий.

Март. Ночь. Москва. Гостеприимный дом.  
Отменный спирт расходится по кругу.  
Хозяйка, слушай, а за что мы пьем,  
Зачем мы здесь и – кто мы все друг другу?..

На время оборву цитату. Нравятся ли мне эти строки? Пожалуй, – несмотря на все, сказанное выше, – да. Они несут

напряжение, выразительны, чувствуется, чем автор взволнован, и это волнение для нас оправдано. Ощущение усталости и пустоты, усталости от пустоты, незаконности и неоправданности такого существования – вещь, может быть, и неоригинальная после Блока, но ведь любовь и смерть – вещи тоже не слишком оригинальные, однако трогают. Это пустота сегодняшней грозной повседневности: то, что внутри гостеприимного дома, вполне дополняется и определяется тем, что таится за окном. Мрак за окном лишает смысла и противопоставленный ему «круг друзей». Дружить почти не для чего, нечем скреплять дружбу – смысл общения потерян. Все это чувствуется, этому сочувствуешь (только вот излишне называть это застолье «жутким», и без этого слова ясно, что там не хорошо). Возможно, во всем этом есть и некая толика поэзии, в самом неприятии такого положения, в том, что стоит за ним, но этого еще недостаточно, чтоб отлиться в форму, начать существовать отдельно от ситуации. Какая-то точка обзора нужна для этого, расположенная чуть выше этой ситуации, эмоциональный выход на иной уровень. Какое-то движение в этом направлении нарастает, но не разряжается. Поэтому мы больше сочувствуем (тому, что происходит с другими и что узнаем, поскольку осведомлены), чем сами чувствуем, чем это нам самим нужно – особенно, если мы вне этой ситуации. Впрочем, стихотворение еще не кончено, может, цепь еще замкнется и разрядка впереди?

Пускай хоть выпьет каждый за свое  
Под общий звон фужеров или рюмок.  
Я пью за волчье сладкое житье,  
За свет звезды над участью угрюмой.

Хозяюшка! За звучным шагом – шаг.  
Земля – за нас. Она спружинит мягко.  
И каждый дом – по крайности очаг.  
И смертный мир – не больше, чем времянка.

Вроде интонация развивается естественно, вроде фразы соответствуют нужной тональности, но слова вдруг становятся приблизительными, чересчур общепозитичными. Почему вдруг понадобилось при таком разобщении, чтоб «хоть каждый выпил за свое»? Только для того, чтоб потом

сказать, что «я пью за волчье сладкое житье», и «свет звезды над участью угрюмой»? Т. е. за то же одиночество и разобщенность? Так ведь это уже есть – чего за это пить? И почему это вообще опозитизировано – только потому, что «за... шагом шаг» мы движемся к смерти, что «смертный мир – не больше, чем времянка»? Т. е. потому, что не стоит беспокоиться? Но ведь все стихотворение очень беспокоится, и вряд ли бы А. Сопровский хотел концом отменить это волнение. И претензии мои вовсе не к пессимизму, не к «содержанию». Трагическое отчаянье тоже может быть сутью стихотворения, более того, ощущение этой трагедии есть в предыдущих строках, но вся беда в том, что в этих последних она разряжается чисто риторически без всякой органической связи с предыдущим, что у автора здесь не хватает сил пробить стены той ситуации, в которую он погружен, что не за что схватиться. И он «пробирует» ее искусственной приподнятостью тона.

Непреодоленность ситуации особенно четко видна, если вернуться к началу стихотворения, к тому второму четверостишию, которое мы пропустили:

Накрытый стол немало обещал.  
Но разговор не ладился, как будто  
Какой-то сговор вас отягощал,  
Исподтишка встреча поминутно.

Это четверостишие и впрямь лишнее, оно только замедляет развитие стихотворения излишней детализацией. Я охотно верю, что действительно в этой обстановке было вроде нечто отягощавшего душу сговора и что от этого разговор не клеился. Но что эта деталь обстановки, верней, деталь восприятия этой обстановки, деталь переживания – добавляет ко всему сказанному? Зачем мне погружаться в ее глубокомыслие? Ведь не ясно мне все равно, что это за сговор, и не очень нужно это знать в данном случае. Но автор настолько погружен в ситуацию, что эта деталь выглядит для него очень многозначительной. Автор ведь не манерный – на самом деле выглядит. И все потому, что переживание не окончательно превратилось в замысел. Стихотворению это не нужно, но самому автору, по-видимому, нужно, он об это бьется как об стенку. И пробивается. Правда, в других стихах:

Земли осенней черные пласты  
Еще не разворочены дождями.  
Но знаю я и, верно, знаешь ты,  
Каким ветрам орудовать над нами,  
Еще пылят сентябрьские пути,  
Еще звенит колодцами деревня.  
Будь проклят день и час, когда...

Прости,  
Благословись, возлюбленное время.  
Другого нет. И если разрешат,  
Я все скажу, что ночь наворковала,  
Пока в дремоте граждане лежат  
На папертях Московского вокзала.  
Пока еще не холодно. Пока  
К себе берет нас камень постепенно.  
Будь проклят!..

Не поднимется рука.  
Родное время, будь благословенно.  
Свистками черни воздух потрясен.  
Смешна любовь, и ненависти – мало.  
Но кто бы знал, что людям тех времен  
Благословенья лишь и не хватало...

Это стихотворение интересно прежде всего тем, что в нем автор открыто сталкивается лоб в лоб – с тем, на что наталкивается его судьба и творчество, – сталкивается, вступает в единоборство и побеждает, т. е. создает произведение искусства. Говоря о победе, я не хочу сказать, что это стихотворение относится к лучшим у Сопровского, что оно совершенно, безупречно или полностью выражено. Совсем нет. К сожалению, точные строки в нем чередуются со «средне-поэтичными», приблизительными. К ним я отношу даже последние две строчки. Но, не будучи совершенным и вполне выраженным, оно, в отличие от предыдущего, все же, если можно так выразиться, «вполне замысленное», т. е. такое, где чувства и переживания автора отлились в нечто существующее уже без непосредственной связи с ним, в некий сгусток воли, в волевое целое, в единый образ, в живой организм, где каждый элемент должен точно соответствовать своему месту и роли.

Но – опять-таки, именно поэтому – и неточность многих строк ощущается острее. Чувствуется, что они заменяют един-

ственно необходимые, которые читатель смутно предчувствует, ибо они заданы всем ходом стихотворения. Чувствуется не только тогда, когда стихотворение отходит от самого себя, когда строки не о том, но и когда они о том, но не то. Дело в том, что «благословенья» в этом стихотворении не «не хватало», а «не хватает». Неожиданный уход от «состояния» к остраненной философичности здесь неоправдан, ибо нет в нем «людей тех времен», а есть «мы», если и не вовсе «я». Это отнюдь не кому-то, а герою-автору не хватает уверенности в том, что все координаты, необходимые для нормального существования, – прочны, «благословлены». Я отнюдь не враг философичности или обобщающих фраз, вовсе не считаю, что они – всегда проза, но с ними – впрочем, как и со всякими другими – следует обращаться осторожно. Здесь ход стихотворения требует иной – по тону и духу – разрядки. А так – получается нечто вроде *пересказа* того, что должно было здесь быть *сказано*. Но сама эта заданность, само то, что мы ее ощущаем, говорит об определенности и некоторой все же и выраженности замысла – пусть и в недостаточно точном исполнении (кстати, только в таких случаях и серьезны разговоры о частностях исполнения). Здесь, по всей вероятности, нужен был другой ход (обычно говорят: «прием», но, по-моему, это неточное слово, предполагающее свободу выбора, зависящую от ловкости рук, а не угадывание единственно точного течения), но речь сейчас у нас вообще не о частностях исполнения. Я просто счел своим долгом отметить, что они не всегда соответствуют сути, но говорить мне сейчас хочется о сути, которая в данном случае так или иначе все равно выражена – несмотря на эти частности.

А сущность этого драматического стихотворения – в драме смирения. Да, именно того смирения, о котором уже шла речь и которое еще недавно подминало под себя стихи многих – молодых и старых, маститых и немаститых, конформистских и нонконформистских – поэтов. И никому особой радости не приносило. Однако это стихотворение А. Сопровского отличается от большинства подобных произведений – и, прежде всего, драматизмом. Смирение дается его герою не легко, а может быть, и совсем не дается, может быть, это только жажда смирения – кто знает? Но все, что происходит в стихотворении – подлинно. Тяга к смирению, пронизывающая его, основана не на том, что это вообще – мудрость или что у

Пушкина это когда-то хорошо получалось, а на жизненном опыте, на вынесенном из него ощущении, что иначе сегодня очень легко забыть, что жизнь, какая б она ни была – все равно великая удача, и задохнуться от ярости, лишиться смысла собственное существование и творчество. Время тяжелое, страшное, отвратительное, но для современника – единственное. В стихотворении оба эти начала – ощущение тяжести и ощущение единственности (а значит, и смирение) – живут одновременно и составляют одно целое. Это жажда высокого. А в поэзии жажда высокого (а такое смирение – безусловно высокое отношение к жизни) равносильна его достижению – конечно, если это подлинная потребность, а не котурны. Кстати, поэтическая форма и есть фиксация такого достижения, его воплощение. И когда я не верил в возможности новых поколений, я как раз в это и не верил – в то, что ощущение легшей на них тяжести и прелести жизни им удастся свести в одно, ощутить себя в вечности, подняться до формы. Однако, как мы видим даже на примере этого стихотворения, отнюдь не лучшего в творчестве А. Сопровского – это им иногда удается.

Я не сразу коснулся лучших стихов этого поэта (из-за которых я собственно и стал писать эту статью) и говорил даже об его неудачах не из стремления к объективности (пишу не монографию), а только потому, что по этим наилучшим стихам ясней видно, как трудно и через что именно продирается сегодня молодой поэт к поэзии.

Но он продирается. И иногда то, через что он продирается (что я считал непроходимым для лучей поэзии лесом), вдруг само оказывается предметом высокой поэзии:

Воздух нечист, и расстроено время.  
На рубежах ледяного апреля  
Рвется судьбы перетертая нить.  
Вот уж четырежды похолодало,  
Только и этого холода мало,  
Чтобы горячку души остудить.

Нет ни покоя, ни воли, ни света.  
Я проживаю в беспомыслии где-то.  
Веку не ровня, держусь на весу.  
Пасмурны днесь очертания мира...

Только объедки с умолкшего пира,  
Да тишина в обнаженном лесу.

.....

Так горевать не пристало поэту.  
Но за весну беспощадную эту  
Капли дождя, словно капли свинца,  
Плотно сгущенный бессолнечный воздух,  
Горечь ночей, ледяных и беззвездных –  
Пей до конца... Допивай до конца...

В сущности, это стихотворение очень по духу традиционное для русской поэзии. Осенние раздумья о жизни, осеннее мудрое примирение с ней. Поразительно только то, что эти осенние раздумья связаны здесь не с осенью, а с весной. И от этого острее и ощутимей какая-то общая тяжесть и вроде бы безысходность ситуации – в природе и в душе. Если сам воздух нечист и расстроено само время, то не удивительно, что нить судьбы рвется и на рубежах апреля – особенно если апрель ледяной, а нить – перетерта. Все разорвано и спутано. Однако говорится об этом таким тоном, таким медленным размером, как будто это просто бытовые подробности, как будто в этом ничего необычного. Просто условия жизни. А необычно – все. Просто мы привыкли и живем. Все тяжело, но «...так горевать не пристало поэту». Это уже не одергиванье самого себя, как в предыдущем стихотворении, это просто обретенное душевное знание. И это знание незримо и спокойно присутствует во всем стихотворении – с самого начала. «Так» тосковать «не пристало», и «так» стихотворение не тоскует. Оно тоскует иначе. И дышит. Может быть, не легко, но ровно и уверенно дышит. Оно живет (в тех условиях, где, как я полагал, никакое подлинное стихотворение жить не может). Конечно, «пасмурны днесь очертания мира». Конечно, от пира прошлых веков (или лет?) остались одни объедки, и все еще может случиться – и с автором, и с его страной, – но жизнь уже состоялась, душа полностью обрела и отстояла себя, осознала мир и себя в нем, а от этого – сквозь всю эту свинцовую тяжесть – радость существования в этом мире. Радость хотя бы от самой возможности осознавать и не принимать эту обстановку. В таком неприятии ситуации и проявляется то приятие жизни, то «требование от бытия смысла и красоты», без которого занятие искусством



превращается в пустой ритуал, лишенный сущности и смысла. Конечно, «капли дождя словно капли свинца» – совсем не то, что пушкинское «печаль моя светла», но все-таки это уже не просто знание, что свет необходим, а обнаружение его в неприглядной действительности и в самом себе, нечто такое, что и за что следует «пить до конца, допивать до конца...» «Порой опять гармонией упьюсь...», – как говорил Пушкин. Вот и упивается гармонией соответственно «поре» А. Сопровский – просто пора нынче совсем другая.

Похолодание прошьет роскошный май  
И зелень по чертам фасадов.  
Душа прояснится... Как хочешь, понимай  
Игру сердечных перепадов.

А время спряталось... Исчезло без следа,  
Как мокрой осенью безлистой.  
И сердце падает... Как будто есть куда,  
Как бы в колодец – чистый-чистый.

Уж тут и впрямь «ничего нет» – ни протеста, ни отстаивания себя, ни даже попытки осмотреться и разобраться, – только едва уловимое настроение, только, так сказать, существование в поэзии. Но ведь настроения не достаточно для такого существования, в чем же дело? Правда, передано это настроение точно и тонко. Но ведь и это еще не все. Да и всегда можно спросить: из чего это видно? И на этот вопрос тоже, как всегда, трудно будет ответить.

Можно, конечно, указать на ту симметричность в строении обоих четверостиший, которая мастерски выдержана в стихотворении: первые две строки – констатация, первая половина третьей – реакция на эту констатацию, а дальше после цезуры – возвращение к реальности на новом «витке спирали». Но само по себе это говорит только о том, что обычно называется «мастерством». Любое строение четверостишия, любое употребление цезуры – вещь при старании общедоступная. Надо еще, чтобы всё это было уместно. А определение уместности того или иного хода зависит от определения сути и внутренней задачи произведения, т. е. от того «секрета прелести», о котором Пастернак по другому, правда, случаю сказал, что он «разгадке жизни равносильен». В конеч-

ном счете, прелесть стихотворения раскрывается только самим стихотворением, и дублировать этот процесс невозможно и незачем... Для суждения о стихотворении остается только одно – восприятие. Культура и опыт только влияют на восприятие, но не заменяют его. Восприятие – дело ненадежное, – оно зависит не только от индивидуума, но и от его состояния, – и, тем не менее, это единственная база для наших суждений. Даже о качестве средств выражения мы не можем ничего сказать, игнорируя восприятие, даже о том, действительно ли они средства именно выражения, а не, допустим, украшения или литературного ритуала.

Так что, говоря об этом стихотворении, буду продолжать основываться на собственном восприятии. Тем более, что, на мой взгляд и вкус, это стихотворение вполне заслуживает, чтоб его воспринимали. Оно вознаграждает за то, что втягивает в себя. В этом собственно и задача произведения искусства – втягивать в себя и вознаграждать за это. Вознаграждать тоже. Ибо даже втягивать можно иногда научиться – например, имитацией напряженности стиха, имитацией экспрессии. Втянешься – а никакой радости. Впрочем, чем-чем, а имитацией у Сопровского и не пахнет – нет ее ни в его удачах, ни в неудачах.

Однако, простое стихотворение, о котором идет речь, написано на самом деле довольно сложно. Хотя поначалу оно выглядит простой реакцией на несколько неожиданное, даже обескураживающее, но в принципе обыкновенное событие в природе: цветущий май вдруг оказался прошит похолоданием (не морозом, губящим всякое цветение, не холодом даже, а похолоданием). Но от этого душа вроде бы не омрачилась, а наоборот, прояснилась (с ударением на втором слоге, на «ясно»). Вроде бы неожиданно – по привычной логике она вроде должна бы была смутиться, растеряться. Но почему-то такой переход не воспринимается как странный и нелогичный. И ведь не только потому, что «здоровью моему полезен русский холод», хотя то, что стоит за этими пушкинскими строчками, живет и действует на душу и поныне. Нет, не потому. Той радостной легкости, которая слышится в этой строке, у Сопровского нет и в помине. Но из-за чего-то же мы воспринимаем такой переход как совершенно естественный. Это что-то выражается во всем, что определяет характер нашего чтения (выбор слов, фонетика, размер), самим дыханием стиха и его течением. Но прямо это стихотворение вовсе не пытается ни-

чего объяснить. Так и говорит о «игре» своих «сердечных» перепадов: «Как хочешь, понимай...» Впрочем, понимания этого не требуется для понимания стихотворения. Можно его понять и полюбить, даже не задумавшись, почему этот странный переход не кажется странным. Все равно ясно, что раз «душа прояснилась», следовательно, среди «роскошного мая» она не была особенно ясной, и отсюда – все последующее.

Между тем, объяснение тому, что мы принимаем этот переход как естественный, оказывается самым простым. Происходит (при начальных попытках анализа, а не при восприятии) путаница времен. Поскольку второе, завершающее, более сильное четверостишие написано в настоящем времени, будущее время, в котором написано первое четверостишие, как бы исчезает. И кажется (во всяком случае мне казалось), что событие, о котором говорит стихотворение, и реакция на него относятся к моменту, когда пишется это стихотворение.

Между тем, для автора (т. е. для стихотворения) – это время будущее, воображаемое. Настоящее же время этого стихотворения (когда мы читаем это стихотворение, мы погружаемся именно в него) другое. Это время, располагающее к мечте о таком будущем. Это то смутное состояние, которое располагает к тому, чтоб мечтать о том, чтоб душа прояснилась. Состояние стихотворения – это смута души и жажда просвета. Поэтому выражение «Душа прояснится» не может быть неожиданным, оно главное. Остальное – только мечтательные условия осуществления этого главного. Тому состоянию, в котором находится автор, более гармонирует осень, чем весна (как и в ранее цитированном). В ней, мокрой и безлистой, в которой даже время «прячется», «исчезает без следа» (а чего хорошего можно от него дожидаться?), в которой естественность умирания неразрывна с естественностью надежды, – в ней гораздо больше общего с состоянием автора, с реальностью его жизни, чем в «роскошном мае». В ней можно снова обрести реальную связь с окружающим, даже слиться с ним – даже если это чревато смертью: «И сердце падает... как бы в колодец чистый-чистый». Но это стремление не к смерти, а к чистоте и истинности – даже если это связано со смертью, которая тоже здесь вовсе не воспринимается как несуществование. Но фраза о падающем сердце не была бы столь дейст-

венной, если б в ее середину не врезалось отрезвляющее замечание «как будто есть куда». Некуда, но хочется. Нет, это не согласие на смерть, это только жажда чистоты и боль от сознания ее недостижимости, невоплотимости. Это щемящее ощущение и есть победа поэзии – выход к вечности. То, что должно было заслонять поэзию от глаз – неприютность, ненадежность окружающей и собственной жизни, непроглядность общего положения, – таким образом было само превращено в поэзию. Каким-то образом автор нашел среди трясины, где находился, точку опоры и обзора, давшую ему чувство простора и перспективы – без чего никакого дыхания в поэзии быть не может. Что тут помогло в этом – религиозное сознание, поддержка друзей, просто сила естественного желания жить и утвердиться или все это вместе, – сказать трудно. Но факт остается фактом: Александр Сопровский и часть его сверстников не пожелали быть списанными со счетов истории и нашли в себе для этого силы. Жизнь, как уже говорилось, богаче предвзятых представлений о ней. Победа их не была легкой и не привела к легкому (под «легким» я разумею нормально-тяжелую судьбу поэта). Специфическую тяжесть их времени невозможно сбросить, она всегда давит нас. Но вот что странно: стихи эти вовсе не погибают под этой непосильной ношей, а несут ее на себе – пусть даже не очень легко, но все же вполне плавно. И никак это не мешает высокой приподнятости тона лучших из них.

На Крещение выдан нам был февраль  
Баснословный – ветреный, ледяной,  
И мело с утра, затмевая даль  
Непроглядной сумеречной пеленой.

А встряхнуться вдруг, да накрыть на стол!  
А не сыщешь повода – что за труд?  
Нынче дворник Виктор так чисто мел,  
Как уже не часто у нас метут.

Так давай не будем судить о том,  
Чего сами толком не разберем,  
А нальем и выпьем за этот дом  
Оттого, что нам неприютно в нем.

Киркегор неправ. У него поэт  
Гонит бесов силою бесовской –  
И других забот у поэта нет,  
Как послушно следовать за судьбой.

Да хотя расклад такой и знаком,  
Но поэту стоит раскрыть окно –  
И стакана звон, и судьбы закон,  
И метели мгла для него – одно.

И когда, обиженный, как Иов,  
Он заводит шарманку своих речей, –  
Это горше меди колоколов,  
Обвинительных актов погорячей.

И в метели зримо: сколь век ни лих,  
Как ни тщится бесов поднять на щит, –  
Вот, Господь рассеет советы их,  
По земле без счета их расточит.

А кому – ни зги в ледяной пыли,  
Кому речи горькие – чересчур...  
Так давайте выпьем за соль земли,  
За высоколобый ее прищур.

И стоит в ушах бесприютный шум –  
Даже в ласковом, так сказать, плену...  
Я прибавлю: выпьем за женский ум,  
За его открытость и глубину.

И, дневных забот обрывая нить,  
Покачнешься, двинешься, поплывешь!  
А за круг друзей мы не станем пить,  
Потому что круг наш и так хорош.

В сновиденье лапы раскинет ель.  
Воцарится месяц над головой.  
И со скрипом – по снегу – сквозь метель –  
Понесутся сани на волчий вой.

Это стихотворение уже однажды было напечатано в эмиграции («Континент» №33), но я счел своим долгом привести

его текст полностью. Уж слишком полно выражает оно все, к чему пришел А. Сопровский: его боль и его победу. Победу, конечно, только в духовно-эстетическом смысле – ситуация, которая встает за стихотворением, далека от победной. Это, скорей, выражаясь словами Пастернака, «пир Платона во время чумы». (Конечно, слово «Платон» надо понимать иносказательно – впрочем, как и у Пастернака, среди героев его стихотворения тоже вроде особых Платонов не было.)

Интересно, что это та же ситуация, что и в процитированном раньше стихотворении А. Сопровского о пире. Но как непохожи эти стихотворения. Изменилась не ситуация – атмосфера на втором пиру столь же тяжела, как на первом. А вот атмосфера самого стихотворения изменилась – стала легче. Изменилось восприятие. Теперь эта ситуация не заслоняет автору мир, не побуждает его углубляться в странное выяснение отношений с другими участниками этого невеселого пира, а позволяет ему увидеть саму эту ситуацию на фоне мира и судьбы, как и надлежит поэту. Для этого надо почувствовать себя наравне с этими неуловимыми субстанциями, вырасти, возмужать. Второе стихотворение – особенно в сравнении с первым, «схожим», показывает, что такое возмужание произошло. Благодаря чему самоощущение этого стихотворения и дотягивает до уровня трагического – трагического противостояния. И связано в нем это самоощущение с образом метели.

Метель метет все время, вокруг всего стихотворения. Вокруг дома, где происходит пир и где героям – неприятно. Но в отличие от предыдущего стихотворения, здесь ясно, что «неприятно» им вовсе не потому, что им что-то не нравится в самом доме или в хозяевах его (к тому и другому стихотворение относится вполне дружелюбно). Неприятно же им в доме потому, что неприятно везде, что им вообще «бесприятно»: «И стоит в ушах бесприютный шум / Даже в ласковом, так сказать, плену...». Бесприютность эта как-то тоже связана с образом метели, и мысль эта приобретает какой-то космический характер. Но, тем не менее, она несколько не аллегорична. Это самая настоящая метель. Просто, как во всяком подлинном произведении, она живет здесь не сама по себе, а в восприятии автора, навевая ему все, что как-то связано с его состоянием, со всем, чем он озабочен, что знает, что вынес, потерял, сберег, на что надеется. Так что не удивительно, что из этой метели возникают традиционные для нее с пушкинских

времен бесы, вернее, мысль о них; разумеется, во вполне современной интерпретации: «...сколь век ни лих, как ни тщится бесов поднять на щит». Но в метели этой не только безвидность и мгла, есть еще и нечто мобилизующее – бодрящий, что ли, холод? В ней и надежда – сквозь нее видится, как в конце концов поступит Господь с этими бесами. И вообще весь приподнятый тон стихотворения тоже непостижимым образом связан с ее присутствием. И все главное для творчества А. Сопровского – культ дружества, причастности, женственности, духовности, – все это становится живым и достоверным именно через эту метель, в связи с ней. Это реальное переживание, а не система взглядов.

Это совсем не значит, что все реалии я воспринимаю так же, как и автор. Например, – точно знаю, что плохо метут улицы не только «у нас»: в гор. Брайтон (часть Бостона), штат Массачузетс, где я теперь живу, снег с тротуаров вообще почти никогда не убирается. Тем не менее не только стихи в целом, но и строки о дворнике Викторе мне очень нравятся. Видно, дело не в «узнавании» все же, а в общем контексте. Так же меня никак не раздражают строки о Кьеркегоре, хотя согласен я не с автором, а с Кьеркегором. Я действительно уверен, что у поэта нет других, во всяком случае, более важных забот, «чем послушно следовать за судьбой». Кстати, я отчасти за то и уважаю А. Сопровского, что он, судя по всему, всю жизнь именно этим и занимался. И стоило ему это очень дорого (послушание-то это ведь не начальству, а судьбе!). Весь вопрос, что называть судьбой поэта. Но это уже опять спор о «просто писательстве». Здесь он неуместен. Внутренняя сущность этих строк, то, что автор утверждает поэтически – радость освобожденного духа, – шире, богаче и важнее его умственных взглядов. Этим и «звенит» это четверостишие. Да и все стихотворение. А в принципе, и все творчество А. Сопровского.

Разумеется, невозможно в одной статье коснуться всех стихов А. Сопровского. Даже всех хороших его стихов. Даже всех сторон его творчества. Надеюсь, что о нем еще будут писать немало, может, и я когда-нибудь напишу.

Но для меня сейчас важно вовсе не подробно осветить его творчество, а просто дать почувствовать, что вопреки всему такое творчество существует и что оно – поэзия, что, как говорится, – жив курилка! Для меня это первая ласточка, первый

ставший мне известным поэт нового поколения, который вызвал к себе мое серьезное отношение. И через которого мне приоткрылась дорога к другим, не всегда строго неконформистским, но всегда не особенно благополучной судьбы молодым поэтам. О которых тоже следует писать. Но размышления о них уже выходят за границы моей сегодняшней темы.

ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА... ТЕЛЕГРАММА...

Прага, Ярославу Сейферту, лауреату Нобелевской премии по литературе 1984 года

Дорогой Ярослав Сейферт!

Горячо поздравляем с присуждением Нобелевской премии, увенчавшей Ваше более чем полувековое служение поэзии, Вашу «жизнь стихом», как называл это другой Нобелевский лауреат, наш соотечественник Борис Пастернак. Случайно ли, что за последнюю четверть века вот уже третий славянский поэт удостоен высочайшей в мире литературной премии? Случайно ли, что ни один из трех – ни Пастернак, ни Милош, ни Вы – не поставил свою поэзию на службу тоталитарному режиму, но, так или иначе, противостоял ему? Быть может, свойство поэзии вообще – безграничное дыхание свободы, свойство же поэзии славянской, даже самой лирической и интимной, – овеать этим дыханием не узкий кружок элитарных ценителей, но, не побоимся этого слова, народ. Так и Ваши стихи – в ставших ли библиографической редкостью томиках довоенного или послевоенного издания, в кустарно ли, но любовно выпущенных тетрадках «Эдице Петлице», в доходящих ли контрабандой книжках чешских издательств на Западе – приносят читателю тот «ворованный воздух», которым, по слову Мандельштама, является всякая поэзия и которым она стала особенно в наших странах и в наши дни.

По мере наших сил, и мы содействуем контрабанде поэзии – контрабанде дыхания свободы. Мы счастливы, что первым западнославянским поэтом, со страниц «Континента» шагнувшим к русскому читателю, были Вы, Ярослав Сейферт. И для нас Ваша Нобелевская премия – не неожиданность (пусть и радостная), но жданное и желанное воздание справедливости.

Желаем Вам здоровья и неустанного поэтического вдохновения.

«КОНТИНЕНТ»



# Колонка редактора

## ЕЩЕ ОДИН УРОК

После суда над Жаком Абушаром\* мне то и дело приходится сталкиваться с почти всеобщим недоумением: как, за что, всего лишь за незаконный въезд в страну? Восемнадцать лет? Это возмутительно!

По этому поводу мой друг и коллега по работе в Интернационале Сопротивления, опытный лагерник, приговоренный в свое время в СССР к расстрелу, – Арман Малумян – с горькой иронией заметил, что Абушар получил свои восемнадцать за якобы незаконный въезд в страну, а ему – Малумяну – за его абсолютно законный дали, после отмены смертного приговора, – двадцать пять.

Вот уже почти семьдесят лет советская система чуть ли не каждый день преподает свободному Западу подобного рода уроки, но, несмотря на это, из поколения в поколение, множество – и совсем неглупых! – людей в так называемом свободном мире не перестают удивляться бессмысленной жестокости этих уроков.

Правда, удивляться-то удивляются, но, тем не менее, при всяком удобном случае услужливо спешат сесть с ее никем не избранными представителями за стол переговоров, чтобы заключить с ними очередное политическое или гуманитарное соглашение, не считаясь с тем, будут ли они его выполнять или нет.

И мне кажется, лучшая иллюстрация к этому – Хельсинкские соглашения – величайшая, на мой взгляд, мистификация второй половины двадцатого века.

---

\* Жак Абушар – репортер французского телевидения, взят в плен советскими оккупационными войсками, осужден на 18 лет тюремного заключения, но в результате франко-советских переговоров «помилован» вскоре после суда и выслан во Францию.

Судите сами: подписав эти соглашения и в целом, и по частям, советская сторона не только не выполнила ни одного из подписанных пунктов, но и цинично попирает их чуть ли не каждый день: воссоединение семей даже в израильской эмиграции свелось теперь почти к нулю, обмен информацией закончился тотальным глушением западных радиостанций, вещающих на СССР, а все члены советских групп по наблюдению за Хельсинкскими соглашениями упрятаны в тюрьмы, лагеря и психушки.

Поэтому для меня и моих единомышленников удивление по поводу приговора Жаку Абушару выглядит по крайней мере наивно. В самом деле, почему всемирно известного ученого, лауреата Нобелевской премии мира, можно без всякого суда отправить в бессрочную ссылку в Горький, а французскому журналисту нельзя дать по суду восемнадцатилетний срок? Напрасно на Западе полагают, что «законы», по которым работает тоталитарное чудовище, действительны только внутри коммунистического общества. Они действительны во всем мире и для всех живущих в нем без исключения. По этим «законам» советская система считает себя вправе финансировать международный терроризм, вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, открыто распространять и поддерживать любую самую злонамеренную дезинформацию, убивать, выкрадывать и шантажировать неугодных ей личностей.

И это будет продолжаться до тех пор, пока на Западе, на самых его верхах, функционируют политические деятели, которые не стесняются возлагать венки перед мавзолеем одного из самых величайших убийц в земной истории и называть другого, не менее гнусного убийцу светочем не только Китая, но и всего человечества; пока здесь существуют правительства, которые, принимая главу Южно-Африканского государства, выносят из приемной все диваны и стулья, чтобы гость – не дай Бог! – не мог бы присесть, и в то же время никогда

не осмелятся проделать подобный эксперимент не только с Черненко или Громыкой, но даже с такой их ничтожнейшей марионеткой, как Гусак, – и пока свободный мир не обретет наконец в себе решимости к Сопротивлению.

Трудно ожидать сегодня от Запада и тех, кто его представляет на международных форумах, мужества или героизма, слишком уж обмелела здесь человеческая личность, но мы вправе ожидать от них хотя бы чувства собственного достоинства. В противном случае, советские сатрапы будут продолжать безнаказанно плевать им в лицо, пока окончательно не поставят их на колени. Или в другую, еще более унижительную, позицию.

И нечего удивляться!

## **Читайте в следующем номере «Континента»**

**Стихи:**

**Я. Каплинский, И. Озерова,  
И. Ратушинская**

**Проза:**

**Г. Вишневская, А. Журжин**

**Публицистика:**

**В. Белогородский, А. Марьямов,  
В. Носов, И. Шенфельд**

## ПАМЯТИ КАРЛА ПРОФФЕРА

В ночь на 24 сентября 1984 года после долгой и мучительной болезни в возрасте 46 лет скончался основатель издательства «Ардис», профессор русской литературы Мичиганского университета Карл Проффер.

Начатое фотомеханическим переизданием мандельштамовских «Триствий», издательство «Ардис» за 12 лет выросло в одно из самых значительных книгоиздательств, выпускающих русскую литературу — прежнюю, не переиздаваемую на несчастной родине, и новую, запрещенную или едва терпимую там. К изданиям русских книг прибавлялись их английские переводы, историко-литературные и библиографические труды, преимущественно по-английски, рассчитанные на американскую и иную университетскую публику. Трудями Карла Проффера и его неутомимой соратницы жены Эллендеи с участием считанной горстки сотрудников, полукустарными методами, росла и расширялась продукция «Ардиса». Как важные опорные точки, характеризующие деятельность «Ардиса» в глазах русского читателя, можно назвать полного русского Набокова (начавшегося ныне пополняться за счет всё новых переводов «английского» Набокова), практически полного (за вычетом первых, «чеховских» книг) Бродского, начатого изданием полного Булгакова.

Профферы (мы так и не привыкли их разделять — Карла и Эллендею) сами выбирали, сами очерчивали поле своей книгоиздательской деятельности, сообразуя его со своими вкусами, интересами, привязанностями. Похоже, что их меньше влекла литература, казавшаяся им «ангажированной», что их симпатии обращались скорее к «чистой», часто «экспериментальной» области прозы и поэзии. Но и три выше-названных имени великих новаторов, защитников автономии литературы — не представляют ли они тоже своего рода «ангажированность», да только не в примитивном смысле этого слова? И ардисовский «чисто литературный» тамиздат становился в один ряд со всей гонимой и преследуемой в Советском Союзе литературой, а отношение советской власти к Карлу Профферу было ничуть не лучше, чем к издателям-эмигрантам. Американского университетского профессора перестали впускать в страну.

В мае 83-го года, в момент, когда тяжелая — и все уже знали: безнадежная, смертельная — болезнь дала Карлу передышку, они с Эллендеей побывали на нашей миланской встрече «Континент культуры». Континент культуры — понятие не географическое, он растягивается поверх границ реальных материков и жив трудными самоотверженными своими работниками. Одним из них и был покойный Карл Проффер.

*«Континент»*

# Наша почта

22.10.84

Дорогой господин Максимов!

Прошу опустить мое имя из списка членов редколлегии Вашего журнала. Не читая по-русски, я не могу быть уверенным, согласен ли я или нет с его содержанием.

В Америке не рекомендуют продукт до того, как его попробуют.

Искренне Ваш

*Сол Беллоу*

Дорогой господин Беллоу!

Мы весьма сожалеем о Вашем уходе из редколлегии «Континента», но, разумеется, безусловно понимаем его мотивы...

С искренним уважением

От имени редакции:  
*Владимир Максимов*

**СООБЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ:** Место выбывшего из нашей редколлегии Сола Беллоу займет выдающийся американский философ и педагог Сидней Хук. Ниже мы приводим его короткую биографическую справку:

Родился в Нью-Йорке 20 декабря 1902 года. В 1927 году получил степень доктора философии. В 1934-39 гг. преподавал в Колумбийском и многих других университетах страны. С 1969 года адъюнкт-профессор Нью-Йоркского университета. С 1973 года – в Институте Гувера, а также в Гарвардском университете. Член американской Академии искусств и науки, американской Академии образования, американской ассоциации фи-

лософов. Автор многочисленных книг, среди которых особой популярностью пользуются: «Образование современного человека», «Место религии в свободном обществе», «Академическая свобода и академическая анархия», «Революция, реформы и социальная справедливость». Почетный доктор многих иностранных университетов.

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Насколько нам стало известно, в последнее время сильно активизировалась психологическая обработка некоторых наших иностранных членов редколлегии, не знающих русского языка, со стороны некоторых «представителей» третьей эмиграции, с молодых еще ногтей, как теперь выяснилось, тесно связанных с советской охранкой.

В связи с этим, считаем необходимым уведомить вышеуказанных лиц и их хозяев на Лубянке, что они зря тратят время на столь бесперспективное занятие, ибо существование нашего журнала давно уже не зависит от прихода и ухода из его рядов того или иного члена редколлегии.

Так что, пусть придумывают что-либо более эффективное.

# Критика и библиография

## *АВВАКУМ С РЕЧКИ УТИНОЙ*

За рубежом есть Украинское объединение имени Тараса Шевченко с центром в Нью-Йорке. В него входят историки, литературоведы, искусствоведы.

Не так давно в этом объединении состоялось собрание, посвященное памяти крупного украинского поэта, переводчика, критика и историка литературы Михайло Драй-Хмары. Оно было связано с выходом двух книг: на английском и украинском языке.

«Письма из ГУЛага» – так называется книга, вышедшая в переводе с украинского на английский; а несколько раньше выпущен по-украински третий том работ Михайло Драй-Хмары. Содержание обеих книг в значительной степени совпадает, хотя украинское издание более полное.

Английское издание состоит из четырех частей. В первой и четвертой Оксана Ашер-Драй-Хмара, дочь погибшего в сталинском застенке поэта и ученого, рассказывает о жизни и творчестве своего отца на фоне горестных судеб представителей неоклассицизма в украинской поэзии: Павло Филиповича, Микола Зерова, Освальда Бургхардта (Клёна), Максима Рильского.

Что касается украинского издания, то оно, с одной стороны, гораздо более детально, а с другой – в нем опущены некоторые места из английского текста: даже подготовленному иностранному читателю приходится разъяснять то, что украинцам и без того известно.

В третьей части английского перевода помещены воспоминания Нины Драй-Хмары, вдовы затравленного в сталинские времена поэта. Самая же ценная часть обоих изданий – письма из ГУЛага, написанные Михайло Драй-Хмарой в 1936-38 годах, английский текст – в переводе дочери поэта.

---

Михайло Драй-Хмара. Литературно-наукової спадщини, том 3-й. Наукове товариство ім. Шевченка. – Letters from the Gulag. Robert Speller & Sons Publ., New York, 1983–1984.

Всю свою жизнь Оксана Драй-Хмара посвятила увековечению памяти своего отца. После войны она осталась на Западе, в 1951 году приехала в США и в 1957-м приняла американское гражданство. Она училась в Колумбийском университете, докторскую диссертацию начала готовить в Канаде, а закончила и защитила в парижской Сорбонне. В переработанном виде эта диссертация вышла по-французски – это книга о творчестве М. Драй-Хмары с привлечением большого количества материалов о других неоклассиках.

В Америке Оксана Драй-Хмара вышла замуж за видного юриста Питера Ашера. Она воспитывает двух сыновей и продолжает педагогическую деятельность на кафедрах славистики: в Америке она была профессором Корнельского, затем Лонг-Айлендского университетов, а теперь преподает в Нью-Йоркском политехническом институте.

Оба издания, подготовленные высокообразованной женщиной, талантливой стилисткой, следует рассматривать как жертвенный подвиг. Это не преувеличение, ибо я знаю, с каким упорством, преодолевая большие трудности, Оксана Ашер добивалась и добилась признания заслуг своего отца и в украинском зарубежье, и в кругах американских и европейских славистов.

Все же нельзя удержаться от одного критического замечания: говоря о творчестве своего отца и других неоклассиков, Оксана Ашер подчеркивает их связь с русским символизмом и, в частности, с Александром Блоком. Действительно, Михайло Драй-Хмара прекрасно перевел «Когда в листве сырой и ржавой...» Блока, и Оксана Ашер права, отмечая, что поэма «Двенадцать» сильно повлияла на оригинальное творчество Драй-Хмары, в частности, на его стихи о гражданской войне на Украине. Но за этим несколько ступшевана проблема связи неоклассиков вообще и Михайло Драй-Хмары в особенности с акмеизмом.

В свое время, будучи студентом Ленинградского университета, я слушал курс лекций по украинской литературе профессора Игоря Петровича Еремина. Еремин, как и Михайло Драй-Хмара, принадлежал к числу ближайших учеников академика Перетца. Так вот, проф. Еремин говорил о духовной и формально-эстетической близости украинских неоклассиков к акмеизму. Так, строки Максима Рыльского «И тень у меня на



стене / исполинским растет баобабом», по словам Еремина, могли быть написаны и Гумилевым.

А что касается Михайло Драй-Хмары, то чувствуешь, как он в своих стихах преображал и переосмыслял и опыт раннего Городецкого, и опыт послереволюционного Мандельштама.

Но оставим литературоведческую сторону обоих изданий и обратимся собственно к «Письмам из ГУЛага» и к тем драматическим событиям, которые предопределили их появление. Мне, у которого в «ежовщину» погибла вся семья (отца расстреляли, мать, проведшая долгие годы в концлагере, скончалась 15 лет назад в Уфе, старшую сестру от лагеря спасли только скоротечный туберкулез и преждевременная смерть), было особенно тяжело читать воспоминания Нины Драй-Хмары. Так же тяжело, как когда-то – воспоминания Н. Я. Мандельштам и «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.

Постановлением ОСО Михайло Драй-Хмара, Микола Зеров и Павло Филипович были приговорены к пяти годам лагеря каждый. Все трое погибли мученической смертью. Нину Драй-Хмару вместе с дочкой Оксаной (тогда малолетней) выслали из Киева в Башкирию, в Белебей.

Тяжек был этот принудительный отъезд. Были старые знакомые, которые побоялись проводить в дальний путь семью репрессированного поэта. Нина Драй-Хмара обижается и на старых друзей своего мужа, например, на Максима Рыльского. Когда Михайло Драй-Хмара был еще только в опале, Рыльский согласился подписать своим именем одно из его произведений – текст, предназначенный для музыки. Нина Драй-Хмара жалуется, что ей, сильно бедствующей, он ничего за это не заплатил, хотя бы тайно. Но ей, похоже, и самой ясно, что сделал он это не из скупости, не из скарденности, а из панической боязни.

О том, как была в те времена запугана интеллектуальная элита Киева, я слышал от Игоря Петровича Еремина, который даже в те годы не боялся говорить со мной откровенно. Еремин – уже профессором Ленинградского университета, после защиты докторской диссертации об Иване Вишенском, – приехал в Киев позондировать почву насчет устройства симпозиума, посвященного этому великому деятелю древнеукраинской литературы. Это было тогда, когда семья Драй-Хмары уже находилась в Башкирии.

Максим Рыльский и Павло Тычина, старые знакомые Еремина, были напуганы его приглашением выступить на симпозиуме в честь Ивана Вишенского. Тычина сказал, что он лирический поэт и Вишенский выпадает из круга его интересов. В доказательство он прочел Еремину несколько стихотворений из своего сборника «Партия ведет», демонстрируя, что лирическая поэзия находится в трогательном согласии с ленинским принципом партийности в искусстве. А Рыльский сказал, что приветствует идею симпозиума, но слишком перегружен переводческой работой, чтобы принять в нем участие.

Еремин сказал мне, что это были отговорки: просто они ему, Еремину, не доверяли. В самом деле, почему у двух любимых учеников академика Перетца такие разные судьбы: один – в концлагере, а другой – на свободе, да еще с замыслом такого симпозиума (ведь были же времена, когда Вишенского произвели в мракобесы). У Еремина сложилось впечатление, что и Тычина, и Рыльский считали, что он подослан органами. В другое время, сказал мне Еремин, он бы смертельно обиделся, но в эпоху массовых арестов и репрессий не могло быть места для обид.

Однако нужно понять и Нину Драй-Хмару, которая не может простить тех, кто отвернулся от поэта и его семьи. Ее воспоминания – предельно правдивая исповедь человека, который прошел и тяжкие материальные лишения, и мучительное одиночество, исповедь исстрадавшейся, измученной души.

Что же, наконец, до самых писем Михаила Драй-Хмары из ГУЛага, то я хочу рассказать о своей встрече с Орестом Зеровым, младшим братом Миколы Зерова, в 1947 году в лагере для перемещенных лиц в Аугсбурге.

– Оксаночка как-то читала выдержки из писем своего отца. Ведь это же какой-то Аввакум с речки Утиной, – сказал мне Орест.

И вот теперь передо мной украинский текст писем и заметок Михайло Драй-Хмары, написанных в заключении. Как сохранились эти письма? Некоторые пришли по почте, проскочив цензурные рогатки и перлюстрацию. Другие дошли с оказией. Такое редко, но случалось: и ко мне, например, в Ленинграде в 40-м году пришла женщина, не назвавшая себя, и передала мне отчаянное письмо от моей матери, находившейся в женском концлагере Долинка, около Караганды. Я

так и не знаю, кто эта женщина, но буду ей благодарен всю жизнь.

Письма Михайло Драй-Хмары из лагеря – это письма человека большой культуры и в то же время человека исстрадавшегося, измученного телом и душой. По ним видно, как поэт постепенно превращался в доходягу. Но физический голод не был бы так страшен, если бы не сопровождался душевными пытками. Действительно, это «письма Аввакума с речки Утиной». До своей гибели в 1939 году Михайло Драй-Хмара побывал на Колыме в таких местах, как прииск «Партизан», Нерига, Магадан, Охотское, Оротукан, речка Утиная, Нагаево, Горно-Ларюковая, Усть-Таежная, Экспедиционный. Видимо, он перечувствовал житие протоппа Аввакума: аввакумовская интонация и ритмика сказались на письмах Драй-Хмары.

Михайло Драй-Хмара знал много языков, в том числе латынь и древнегреческий. Похоже, что и «Послания с Понта» Овидия как-то повлияли на украинского поэта. Но забудем о влияниях: Михайло Драй-Хмара – поэт со своим лицом, и высокая культура только отшлифовала его природный дар. Его «Письма из ГУЛага» – это потрясающий документ и в то же время произведение подлинного искусства. Не только украинская, но и вся славянская литература вправе гордиться таким выстраданным эпистолярным наследием. В 1937 году Михайло Драй-Хмара пишет:

«Работая на лесоповале, я узнал, что значит метель. В лесу еще глубокий снег. Только на пригорках кровянеют брусника и клюква. (...) Встав наутро, я вспомнил, что видел Днепр во сне. Был он какой-то оловянный, хмурый, неприветливый, как и мои думы. (...) Ночью подморозило, днем солнце припекает, снег начинает таять, а валенки мои воду пропускают. Страшно простудиться здесь. (...) Несмотря на все старания, выполнить норму выработки не смог. Знаю, доченька моя, что и ты хворашь от недоедания, а чем я вам помогу, само сознание, что бессилён, – ни с чем не сравнимая мука. (...) У меня на правой руке появился фурункул, рука распухла. Работать, разумеется, не могу: даже когда письма пишешь, рука болит. (...) Работал в забое на речке Утиной, пока не попал на медкомиссию, что спровадила меня в Усть-Таежную вместе с хворыми, слабосильными и инвалидами. (...) Хвораю миокардитом, ноги распухли, на руках и ногах цынготные ранки».

Читая «Письма из ГУЛага», вспоминаешь Варлама Шаламова, который в своих «Колымских рассказах» спрашивает: «Кто на Колыме не стал доходягой?» Но и в таком состоянии Михайло Драй-Хмара чувствовал величественную и суровую красоту колымской природы. Он пишет, что руки у него ослабли, как у малосильного подростка, но и тогда он любит низкорослыми вербами, покрытыми белым мягким пухом, зеленью и румянцем кустиков брусники на проталинах («Сорвал четыре ягодки, как сладко»), бурундучками, которые бегают по снегу, и следами медведей.

«Природа здесь сурова, но чудесна. Она, как мать, утешает меня».

Читая «Письма из ГУЛага», вспоминаешь столь любимого Драй-Хмарой Александра Блока:

Улыбается осень сквозь слезы,  
В небеса улетает мольба.

*Вячеслав Завалишин*

### **КНЯЗЬ Г. Н. ТРУБЕЦКОЙ – ПАТРИОТ, ДИПЛОМАТ, СВИДЕТЕЛЬ**

Предпринятое М. Г. Трубецким издание двух томов исторических записок его отца, дипломата и общественного деятеля князя Григория Николаевича Трубецкого, интересно не только насыщенностью, густотой, а часто и редкою новизной освещаемых там событий и фактов.

Уникальная ценность и важность этих записок еще и в том, что они написаны не через годы (обычно скрадывающие непосредственную четкость происходившего), а сразу – по свежим следам событий. Как сказано в предпосланном в качестве предисловия к «Годам смут и надежд» письме А. И. Солженицына М. Г. Трубецкому: «С изданием этих записок уже опоздано на 60 лет». Записки эти, отмечает писатель, «много дают

---

Кн. Гр. Н. Трубецкой. Годы смут и надежд. 1917–1919. Монреаль, 1981. Кн. Гр. Н. Трубецкой. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах. Монреаль, 1983.

для общего понимания гражданской войны, Добровольческой армии, казачества и союзников».

Г. Н. Трубецкой был назначен русским посланником в Сербию в судьбоносном и роковом 1914 году, когда начавшаяся Мировая война положила (в то время непредставимо) начало перекройке мира по марксистскому тоталитарному образцу.

Свои балканские записки он окончил в январе 17-го уже в Москве, а открываются они историческими перипетиями, предшествовавшими началу войны, описанием дипломатических шагов и ходов, подробности которых мало известны. «В июле 1914 г., – признаётся Г. Н. Трубецкой, – события так быстро сложились и нарастали, что не лица, а стихийная неодолимая сила общественного мнения властно указывала путь, с которого нельзя было свернуть».

Столь восторженный энтузиазм российского общества в отношении вступления России в войну выглядит в исторической ретроспективе весьма странно: зная либерально-прогрессистские и даже пацифистские настроения общественности в 90-е и 10-е годы.

Кажется, что в основе тогдашнего всеобщего воодушевления были три мечты, три утопии, непосредственно с западноевропейским театром военных действий не связанные, но – именно с балканскими «регионами».

Панславянская утопия о новом «щите на вратах Царьграда», о «освободительном» (от магометанства) захвате Константинополя и «реставрации» его как главной столицы Православного мира.

Нравственно-политическая мечта о неугрожаемой независимости «младших братьев-славян», властно владевшая, например, Достоевским в пору полного турецкого владычества на Балканах, но весьма прохладно принимаемая, ладно, «рационалистом» Толстым (устами Левина в эпилоге «Анны Карениной»), но... и таким «романтиком», как Константин Леонтьев, лично знавшим средиземноморскую политическую обстановку и указывавшим на нигилистическое разложение болгарской интеллигенции, на вражду ее как раз к тем в России слоям, которые особенно за славян ратуют.

И наконец – государственно-империалистическая идея захвата Босфора и Дарданелл и свободного выхода в Средиземное море.

Надо ли говорить, что теперь и без того зримо: Россия нуждалась не в этих новых имперских завоеваниях, а в сосредоточенной внутренней отстройке, укреплении середняцко-фермерского хозяйства, поднятии уровня индустрии и обеспечении рабочим отличных условий труда и быта – в общем, в мерном движении по столыпинскому пути.

Российское общество нудило и тянуло в войну, представлявшуюся победоносной, яркой и быстрой, но, вспоминает князь Трубецкой, «несомненно, что сам Государь пережил немало тягостных минут перед принятием ответственного решения. В один из этих дней он между прочим получил по почте письмо, которое заключалось всего в одной фразе: 'Побойтесь Бога. Мать'».

Германский посол Пурталес на приеме у министра Сазонова «неожиданно подошел к окну, схватил себя за голову и разрыдался. 'Боже мой, неужели мы будем воевать! Мы созданы для того, чтобы идти рука в руку! У нас столько связей династических и политических, столько общих интересов в поддержании принципа монархии и социального порядка!'».

Действительно, столкнувшись лбами, две сильнейших на земном шаре монархии, быть может, окончательно подорвали в человечестве широкую симпатию и преданность абсолютистско-монархическому началу.

Любопытно, что очевидец происходящего Трубецкой приписывает непосредственное возникновение ситуации, чреватой неизбежностью военных действий, не какой-то чуть ли не «космической» «борьбе империализма за рынки сбыта», но конкретным ошибкам дипломатов (часто даже второстепенных) и просчетам Германии, полагавшей, что Россия прочно повязана возможностью немедленной революции, что Англия не захочет вступить в вооруженный конфликт и т. п.

Русская политика на Балканах балансировала между Сербией и Болгарией, главным яблоком раздора для которых было владение Македонией.

С присущей ему живостью и скрупулезностью русский посланник в Сербии описывает и сам ход войны, и все деликатные тонкости политической игры в сложном балканском узле – куда однозначная проболгарская политика Союзников (в которую полуневольно была втянута и Россия, алкавшая «разрешения» на Константинополь) не нарушила хрупкого равновесия на Балканах, позволив болгарам оккупировать Сербию.

Если балканские записки Г. Н. Трубецкого интересны, прежде всего, тем читателям, чьи занятия историей носят более или менее систематичный характер, то «Годы смут и надежд» бесспорно взволнуют всех, для кого падение России – не остывший исторический факт, но дрящущая поныне личная боль. Если жива надежда на возрождение нашей родины (без которого непредставимо положительное будущее цивилизации) – тогда все, связанное с революцией и Гражданской войной, имеет непреходящий и весьма актуальный смысл.

Выступая 22 сентября 1917 года на Церковном Соборе, Г. Н. Трубецкой твердо заметил, что в послефевральское время «самосознание православного русского народа не может больше и формально совпадать с самосознанием Российского государства». По мысли Трубецкого, новоизбранный Патриарх должен стать для православного сознания той «субстанцией», которую прежде представлял Государь. Но в опаске «папизма» Трубецкой оговаривает: «Я подаю голос за восстановление Патриарха, первого между равными епископами, возглавляющего высшие церковные учреждения и подотчетного вместе с ними периодически созываемому поместному Собору».

В конце декабря 17-го года Трубецкой вместе со Струве выехали из Москвы на Дон. «В то время, – вспоминает автор записок, – еще не проявлялся организованный террор, и разруха только еще начиналась. Тем не менее, было ясно, что страной правит сравнительно небольшая кучка людей, которая удерживается у власти неслыханными приемами насилия. (...) Интеллигенция в значительной степени поправила еще во времена Керенского, и старые радикалы, с идеологией бывшего третьего элемента, уже в августе 1917 года держали порою самые черносотенные речи». Но и уже после октябрьского переворота, когда потребовалась организация широкого фронта антибольшевистских сил, по-прежнему вновь и вновь «проявлялось тяготение даже самого правого крыла социалистов налево; в эту сторону у них существовала наклонная плоскость безо всяких задержек, которая неминуемо вела к повторению уже пройденного пути, вплоть до большевиков».

Картина, открывшаяся Трубецкому на Дону, была малоутешительна. Донцы относились к новорожденной Добровольческой армии весьма отчужденно, Алексеев с Корнило-

вым враждовали (что естественно: именно Алексеев по истеричному предательскому приказу Керенского арестовывал Корнилова в Ставке).

Князь становится настоящим писателем, когда рисует, скажем, портрет Савинкова, с первых дней подвизавшегося при Белом движении: «Савинков всегда знал, чего хотел. (...) Я чувствовал неодолимое отвращение к его холеным рукам, которые невольно притягивали к себе взгляд, – руки террориста-убийцы. Они контрастировали с его энергичным лицом, на котором отразилось движение страсти».

Трубецкой не закрывает глаза на темные стороны поведения воинов Добровольческой армии, но «надо понять всю тяжесть обстановки и вспомнить все, что пришлось вытерпеть и раньше нервам этих людей со времени Февральской революции, и тогда нельзя осудить их слишком тяжело за все эти грехи, – неизмеримые перед их подвигами. Когда на улицах Новочеркасска я увидел походную часть, в которой как простые рядовые шли старые капитаны с ружьями и трехцветным знаменем, меня охватило волнение, которого не забуду».

Тонко подмечена Трубецким и характерная особенность личности Милюкова, излечившегося, казалось бы, от заигрывания с левыми, но – по-прежнему Милюков «был мозговик и доктринер, и когда он приходил к выводу, что данное решение разумно, то мало учитывал, что в больших решениях последнее слово остается не за мозгом, а за другими факторами».

Будучи убежденным монархистом, осенью 1918 года Трубецкой неоднократно встречался с живущим в Крыму Вел. князем Николаем Николаевичем. Вовсе не заявив себя положительно в качестве Верховного Главнокомандующего, тем не менее (в контраст с Государем и в пику ему), Николай Николаевич пользовался в России немалым сочувствием... К 17-му году в династии Романовых не оставалось ярко выраженного властолюбия (а вместе с ним – энергичного желанья и умения взволочь на себя Россию и вытянуть ее из разверзнутой бездны). На такую «вытяжку» (чреватую, конечно, жертвами, но, естественно, никак не сравнимыми с большевистскими) ни у кого из Романовых не было ни воли, ни сил. «Если Богу будет угодно, – передает Трубецкой слова Вел. князя, – чтобы меня призвали, то я так смотрю на свою задачу: освободить страну от большевиков и стоять у власти вплоть до той минуты, когда народ может свободно высказаться о том, какую форму прав-



ления он предпочитает. Тогда я, как человек военный, – руку к козырьку и налево кругом марш, – кончил свое дело и ушел. Я не хочу провозглашать себя диктатором, мне это претит».

Между тем, еще, пожалуй, с осени 1916 года – диктатура была единственным способом спасти Россию от революции, да и... от погромов и бессмысленных выступлений справа.

М. Г. Трубецкой сопровождал исторические записки своего отца о Добровольчестве и Гражданской войне изданным в мае 1919 года в Екатеринодаре «совершенно секретно» «Очерком взаимоотношений Вооруженных Сил Юга России и Представителей Французского Командования».

Что и говорить, не от хорошей жизни попросили Добровольцы помощи у Союзников. Но то, что для наших было вопросом спасения родины, для тех – чужой проблемой, не стоящей минимальных жертв. Им не была свойственна излишняя щепетильность в выполнении долга, заставлявшая Николая II класть ради европейских «партнеров» намного больше русских жизней, чем следовало бы по естественному ходу военных действий. Но ведь как раз – сколько жизней было бы спасено (и не только русских, – и в будущем!) если бы тоталитаризм был уничтожен еще в зародыше. Именно сначала индифферентное, а потом и компромиссное, и даже пособническое отношение Запада позволяет коммунизму существовать и распространяться.

О причинах же поражения Добровольческого движения говорилось уже не мало и, наверное, еще более будет говорить и впредь. От себя добавим мысль тоже не совсем новую, но часто в силу тех или иных причин упускаемую из виду: нельзя забывать, что Белая армия имела дело не просто с реальным традиционным противником, не просто с красными командирами, конноармейцами и т. д., но – с массами, терроризируемыми и захваченными силами сатанизма марксистского образца\*. И ввиду бесконечного ряда уходящих в

---

\* Есть, правда, и другой, так сказать, гуманитарно-философский подход к развязанной коммунистами войне: «Гражданская война – не столкновение абстрактного Добра со Злом, а трагическая борьба двух энтузиазмов, двух вер – и двух списков злодеяний» (Гр. Померанц. Стиль полемики. «Вестник Р.Х.Д.» №142). Как красиво! И как... уравновешенно культурно.

От редакции: Вообще, знакомясь с полемическими эскападами Г. Померанца, невольно задаешься вопросом: какое все-таки дело

ретроспективу причин российское Православие не смогло с достаточно интенсивной энергией объединить противостоящие сатанизму этому силы. А почему такое было попущено – в конце концов, есть т а й н а, недоступная еще нашему разумению.

Выпуск исторических записок князя Г. Н. Трубецкого его сын М. Г. Трубецкой предпринял на свои средства. Быть может, их недостатком объясняется отсутствие профессиональной корректорской работы над книгами, которые изобилуют опечатками, ошибками, неверной расстановкой примечаний и справочных материалов.

Но накал интереса к читаемому тексту таков, что досада на недостаточную грамотность набора почти снимается.

*Ю. Кублановский*

---

этому убежденному буддисту до страстей человеческих, тем более еще и эмигрантских? Живи себе, казалось бы, «над схваткой», достигай нирваны и в ус, как говорится, не дуй. Так нет же, нейметса болезному! Но уж коли нейметса, то мы, со своей стороны, вынуждены обратить внимание уважаемого поклонника Будды на одну, на наш взгляд, весьма принципиальную разницу между двумя списками вышеупомянутых злодеяний: у белых это считалось аморальным и преследовалось (разумеется, с учетом издержек всякой междоусобицы) по суду, а у красных за это же выдавались ордена. К примеру, за крымские зверства – Беле Куну и Ионе Якиру, не считая сотен других, рангом ниже.

## ПРОТИВОРЕЧИЯ КИРИЛЛА ХЕНКИНА

В свое время главы из этой книги, опубликованные на страницах «Континента», вызвали шум, шок и тяжкие обвинения в адрес Кирилла Хенкина. Легко ли было принять эмигранту (или репатрианту в Израиле) мысль, что он – лишь марионетка в неведомой игре, за кулисами которой стоит КГБ; или что 60% выезжающих из СССР давали подписку о сотрудничестве с КГБ... И прочее, и прочее...

В текст книги, вышедшей в этом году в книговариществе «Москва – Иерусалим», автор внес осторожные коррективы. Во-первых, он признал, что сама эмиграция из СССР была вызвана не игрой КГБ, а определенными историко-социальными причинами, сопутствующими развитию советского общества. КГБ же лишь, как говорят на Западе, «тремповал» на решении политического руководства: раз, мол, решение все равно принято – следовало выжать из него полезное для деятельности тайной полиции за рубежами СССР... Разумеется, если бы Хенкин так сформулировал свою идею в самом начале, никакого спора в обществе не возникло – но ведь, возможно, и интереса тоже! Автор умело провоцировал читателя.

Что касается пресловутых 60%, то опять-таки, оказывается, Хенкин считал, что эта цифра, скорее всего, – след одной из операций КГБ по дезинформации западных контрразведывательных служб: когда лавина мнимо «завербованных» явится в эти службы рассказать о «задании», которое им «дали», западные контрразведки будут месяцами заняты «фуфлом», а тем временем подлинные агенты будут на воле развиваться, свободные от наблюдения. Что ж, такой вариант не противоречит нашему опыту – вполне возможно, что Хенкин был прав.

И все же его последняя книга (как, впрочем, все им написанное) вызывает у меня двойственное чувство: мне интересно, мне полезно читать Хенкина, его тексты всегда первоклассная «информация к размышлению», как любил говаривать незабвенный сын меньшевика и полковник советской разведки штабс-артерфюрер СС Штирлиц. Но – я почти всегда не согласен с Хенкиным в выводах из этой информации.

Язвительный и подозрительный, слывающий маниакальным «шпиономаном», он кажется мне неисправимым западноевропейским романтиком. Когда-то покинул уютный довоенный Париж ради романтики Интербригад; потом вернулся в Союз – ради романтики возвращенной родины; потом вступил в разведшколу НКВД – снова романтика разведок... Поняв, куда он вступил, своевременно – за что по гроб жизни был благодарен своему учителю Вилли Фишеру–Рудольфу Абелю – смылся из НКВД, потом сумел смыться вообще из СССР, но из своей природы – не выскочишь, романтик остался романтиком, разве – разочарованным...

Прежде всего, Хенкин романтизирует советское руководство: в годы юности, видимо, романтизировал его как идеал Добра, ну, а ныне как воплощение Зла. Понимает, конечно, что наши бывшие «вожди» – тупые жлобы, но приписывает им некое особое качество, находящееся вне интеллекта и морали, – «химически чистый инстинкт власти». Ему кажется, что одаренное сим «инстинктом» советское руководство неспособно принимать вредные для себя решения. Отсюда и выводится центральный тезис книги Хенкина: если советское руководство, в частности, Л. И. Брежнев, никогда не принимает вредных для себя решений – это «а», и если оно приняло решение начать эмиграцию из страны – «б», значит, решение об эмиграции на самом деле полезно Стране Советов. Значит, нами манипулируют. И, скорее всего, этим занимается КГБ.

Увы, будто специально, чтоб посмеяться над идеями Хенкина о «химически чистом инстинкте власти» (в скобках: сколько раз подводил этот «инстинкт» наших бывших вождей: буйного Троцкого, сухого бюрократа Молотова, палача Косиора, «великого борца революции Кулакова», Хрущева, Шелепина, Шелеста, Подгорного), пришло из Москвы печальное для всех нас известие: принято считать решение Брежнева об эмиграции – «политической ошибкой»...

Романтизирует Хенкин и гебистов – в виде, разумеется, гениев Зла. Особенно эффектно выглядят под его пером картины вербовки эмигрантов «первой волны», монархической и «февральской»: их ловили тогда довольно тонко на крючок патриотизма и русского превосходства над загнивающим Западом. Почитаешь Хенкина – да, думаешь, умели работать гебисты... Но вот реалистическое свидетельство «с другой стороны» – бывшей сотрудницы Разведупра Генштаба РККА

Надежды Улановской (в ее книге мемуаров «Хроника одной семьи», стр. 83): «Думаю, больше половины русских эмигрантов в Китае работало тогда на ГПУ... Мы пришли к заключению, что все эти шпионские сведения о китайцах... не стоят выеденного яйца. Столько же было шпионажа, сколько и контршпионажа, столько же народу работало на «них», сколько на нас».

Из романтического тезиса Хенкина о необыкновенных возможностях КГБ родилась идея: «Людей, о которых КГБ знает все, что может подсказать воображение, выехало на Запад около 300.000» (а в сноске добавлено: «Что уж говорить о людях, находившихся в СССР под длительным наблюдением, под следствием или в заключении. Вот с кого снят «психологический портрет» – и с них, и с окружения»). Увы, к нашему общему счастью, прав тот знакомый Хенкина, который объяснял ему: «По всем ступеням иерархической лестницы (КГБ. – М. Х.) сидят тупые карьеристы, чье воображение не идет дальше мелких интриг личного порядка, люди без культуры и образования, с чрезвычайно низким интеллектуальным уровнем. Вы этих людей просто не знаете. Я их знаю». Такие работники могут профессионально собрать информацию о человеке, это верно, но правильно *оценить* ее им дано далеко не всегда. По собственному опыту скажу, что типичный кагебист обычно умеет неплохо понять, так сказать, низменную сторону человеческой природы: знает, как человека купить (деньгами или лестью), как испугать – и чем именно. Но если человек не покупается, во всяком случае, теми мелочами, которые могут предоставить гебисты, и не боится (а существует немало смелых людей), то гебисты обычно не только проигрывают ему, но просто его не понимают, даже если наблюдали за ним много лет. Типичный, хотя вовсе не исключительный пример – писатель А. И. Солженицын, который переиграл гебистов именно в их профессиональной сфере.

Что касается дальнейших романтических размышлений Хенкина о способности «хозяина вокзала» для наркотиков и антиквариата Левы Баскина или бывшей московской проститутки Аллы проникнуть в высокие круги, куда простым эмигрантам вход воспрещен, то невольно вспоминаются пьесы О. Уайльда или романы Драйзера о нравах и обычаях сих высокопоставленных кругов – туда, вроде бы, на белом «Мерседесе» не въедешь, даже если он с телефоном, иначе слишком

многие нашли бы деньги «поднять» напрокат «Мерседес», яхту или шикарную дачу. Леву Баскина, пожалуй, не пустят в круг и важных боссов мафии – не те у него рекомендации: не с полицией ли связан? (тем более, что Хенкин убедительно доказывает: связан, причем сразу с несколькими).

И все-таки, вопреки моим принципиальным возражениям против центрального тезиса книги Хенкина о нашей, нами самими неосознаваемой «ангажированности» Комитетом ГБ – его книга «Русские пришли» интересна и полезна.

Хенкин умело подбирает материал, характеризующий типичные приемы КГБ для вербовки агентуры в среде эмиграции. Разумеется, нынешние гебисты не ровня тем асам шпионажа, которые работали в советской разведке в 20–30-е годы и были, как правило, расстреляны или дезавуированы из разведки в 1937 году (герой одной из предыдущих книг Хенкина «Охотник вверх ногами» Вилли Фишер – один из последних могикан того поколения, причем, насколько можно судить о масштабах по вышеупомянутым мемуарам Улановской, даже он из «мелкокалиберных», из тогдашних «шестерок», а ведь на фоне еще 50-х годов казался колоссом среди своих коллег). Старые приемы, старые разработки и методики придумало поколение мастеров, которых давно «вывели в расход». Но для того, чтобы повторять их приемы, не нужно сейчас быть равновеликим авторам – достаточно быть обученным профессиональному мастерству. А мастерству учат, это вполне доступный уровень для выпускников нынешних разведшкол. И потому книга Хенкина, где напоминаются некоторые из бывших «методик», – это, как говаривал отец-основатель СССР и КГБ, «очень своевременная книга».

Недавно газеты сообщили о некоем Золотаренко, который вырос в Париже и, работая там чертежником, выкрадывал для гебистов копии документов фактически бесплатно – только из любви к неведомой России. В беседах с ним гебистский резидент никогда не употреблял неприличного слова «Советский Союз», только «Россия, родина»... Типичный ход 30-х годов, и когда эти старые болезни дают рецидивы, КГБ использует старые яды, как раз и описанные Хенкиным. (А узнать про яд – значит, наполовину обезвредить его последствия.)

Некий собеседник Хенкина предположил, что СССР оккупировал Афганистан ради захвата тамошних плантаций

наркотиков. Разумеется, это очередное романтическое преувеличение, которое цитировать может только Хенкин, ибо оно – в его вкусе. Плантаций наркотиков можно сколько угодно устроить в колхозах и совхозах Иссык-Куля, без дорогостоящих военных экспедиций в предгорья Гиндукуша. Но когда Хенкин предполагает, что нынешний поток наркотиков через ГДР и ФРГ имеет в компаньонах руководство КГБ – в это вполне можно поверить. Комитет давно занимался спекуляцией: Улановская вспоминает, что однажды ее муж, главный резидент Разведупра в США в 30-е годы, связался «с каким-то военным, который выкрал для нас документы, связанные с Панамским каналом. Я спросила: «Зачем нашим Панамский канал?» Оказывается, это интересно японцам. Наши обменивались сведениями с Японией» (стр. 98). Раньше торговали сведениями о Панамском канале с самураями, а теперь вполне могут наркотики продавать. (Но Леве Баскину и его компаньонам вовсе необязательно знать, кто на самом деле поставляет товар. Да они, наверняка, не стремятся: «опасно для жизни», как говорят герои Марамзина.)

Долг критики требует под конец отметить недостатки. Они в книге «Русские пришли» наличествуют (я, конечно, не имею в виду мои расхождения с Хенкиным в оценке событий: как люди здесь него мира мы вполне можем расходиться в истолкованиях фактов и уважать работу другого. Кстати, сам Хенкин именно в этом плане декларирует свою авторскую позицию). Нет, я говорю о том, что мне кажется недостатками, так сказать, безусловными. Во-первых, автор несколько пижонит эрудицией. Вдруг на странице 116 возникает «первый муж Надежды Константиновны Крупской Борис Владимирович Герман». Я читаю немало исторической литературы, но эту фамилию встретил первый раз. Что же говорить о российском подцензурном читателе! В таких местах (а их немало, и перечисление сделает мою рецензию слишком длинной) требуется как минимум ссылка на источник.

Во-вторых, по меньшей мере, странно звучат у Хенкина пламенные призывы искоренять лицемерие и называть в полный голос доносчиков, а как дело доходит до самого автора, так он сразу скрывает сексотов за некоей буквой «В.» или за – «назовем ее Алла». Если борьба с доношением носит для Хенкина принципиальный характер, то он, дважды, трижды, сто раз оговорив возможность ошибки, должен назвать имя

предполагаемых доносчиков, – или же не стоит вообще писать про такие, с позволения сказать, примеры. Эта непонятная стыдливость с именами стукачей свойственна, кстати, не только Хенкину...

Книга «Русские пришли» – полезное пособие для каждого, кто захочет ознакомиться с некоторыми приемами работы КГБ против эмиграции и, кроме того, она увлекательно написана – читать ее будут с интересом даже те, кто не согласны с выводами автора и толкованием им некоторых фактов истории и современности.

*М. Хейфец*

## МАРКСИЗМ И ТОТАЛИТАРНАЯ ЭКОНОМИКА

Эта маленькая скромно оформленная книжка вызывает двойственное чувство: с одной стороны, уважение к человеку, который вел научное исследование, как он сам говорит – «непосредственно в пасти чудовища» (предметом исследования, между прочим, являлось само чудовище). С другой же стороны, недоумение вызвало уже само название книги – «Государственный капитализм», анализирующей особенности экономики советского тоталитарного общества. При чем же тут, собственно, капитализм, базирующийся, как известно, на капитале, конкуренции и рыночных отношениях? Ведь для тоталитарной системы в ее чистом виде все эти вещи начисто противопоказаны. Да автор и сам себе противоречит, утверждая, что «госкапитализм фактически ликвидировал внутренний рынок в стране, заменив его системой государственного распределения... что в закрытых экономических системах... регулирующее влияние денег парализовано... и что соцпредприятия не продают свою продукцию, а сдают ее, не ведя при этом никакой финансовой деятельности».

Беда в том, что для вспашки совершенно новой борозды автор впряг старого заезженного конька и что анализ современной экономической структуры он ведет на основе марксистского учения. Между прочим, лишь за последние два де-

---

Евг. Сомов. Государственный капитализм. Иерусалим, 1980.



сятка лет написано немалое количество глубоко обоснованных исследований, доказавших несостоятельность марксистской экономической доктрины не только в применении к современным индустриальным обществам, но и к классическому капитализму прошлого. Однако магия учения «основоположника», очевидно, столь велика, что не действуют ни факты, ни доказательства, ни развитие самой жизни. И в ход вновь идут заезженные понятия типа – «производительные силы и производственные отношения», «борьба классов», «классовое неравенство» и т. д.

Если анализировать советскую тоталитарную систему с марксистских позиций, как это делает автор, то она становится в обычный общий ряд как нечто ординарное и совершенно нормальное. Он пишет: «Вот только насилие продолжает господствовать в этом государстве, а человеческая личность оказалась в еще большем рабстве, чем когда бы то ни было». А ведь по сути эта новая возникшая в XX веке система совершенно уникальна, ни с какими существовавшими системами не сравнима, она представляет из себя *насилие* в его законченном и крайнем выражении, так же как и идею власти в ее крайнем и законченном выражении. Здесь произошло изменение не количественное, а качественное. И рассматривать ее надо как феномен совершенно особого рода.

Вот почему в особой степени анахронично звучат цитаты, на которые опирается автор – будь то Маркс или Плеханов (Ленин был бы вполне кстати, но уж очень одиозно звучит!) – «Чем больше развивается противоречие между растущими производительными силами и существующим строем, тем больше пропитывается лицемерием идеология господствующего класса». Какая уж у *того* господствующего класса идеология! Смешно о ней говорить при сравнении с *Идеологией* нынешней.

Утверждая, что «неизбежность массовой оппозиции режиму обусловлена тем, что технический прогресс становится несовместимым с методами тотальной эксплуатации», автор вновь вгоняет анализ в марксистские колодки «несоответствия производительных сил производственным отношениям». Хотя на деле страна бьется в судорожных попытках стихийного возврата к допотопным, осмеянным, обруганным капиталистическим отношениям, ибо эти отношения – здоровые и естественные, апробированные всем ходом историчес-

кого развития, а отношения социалистические – нездоровые, уродливые, ведущие страну к экономической и духовной гибели.

В соответствии с марксистской доктриной есть для автора и «паразитирующий класс» в тоталитарном обществе, куда вносятся «министры, военачальники, государственные чиновники, директора предприятий»... А как же без министров и военачальников-то? – хочется спросить. Ведь и они нужны, и всегда в любом государстве были и будут. Нет, – утверждает автор. – Посредством политической борьбы они должны быть ликвидированы, ибо внутренние противоречия устраняются коренным социальным переустройством и ликвидацией класса, поглощающего основную долю национального дохода. Читаешь такое, и перед глазами возникает Ленин на броневике...

Слава Богу, что реальная действительность заставляет подняться над мертвой догмой, и тогда анализ становится объективным, трезвым и правильным. Говоря о принудительном характере труда в тоталитарном обществе, автор емко определяет, что мини-моделью государственной системы являются как раз лагерь. Очищенная от идеологической демагогии и политической маскировки система ГУЛага гласит, что в себестоимость зэка входит его место в бараке, ватник, пайка хлеба и расходы на охрану. Очень интересно суждение о *дифолтинге* как специфическом явлении тоталитарного общества. В отличие от состояния инфляции, характерного для стран с открытой экономикой, в соцстране при нехватке товаров роста цен почти не происходит, но возникает специфическое *состояние хронического дефицита* и полного отсутствия важнейших средств при скоплении в руках населения большой массы бумажных денег. Этот закон нищеты и называется дифолтингом. В моменты всякого рода обострений и усиления военной гонки дифолтинг увеличивается.

Закljučая книгу, автор совершенно справедливо замечает, что раздирающие тоталитарное общество противоречия не могут длиться бесконечно. Выйти из экономической изоляции, сохранив изоляцию политическую, оно не может. В то же время ему необходимо постоянно модернизировать производство, что при низкой производительности труда постепенно разрушает основы системы. И в этой двойственной игре тоталитаризм все больше приближается к своей исторической аль-

тернативе – либерализация политической системы или война. Отраден общий оптимистический взгляд автора на будущее, уверенность в обреченности тоталитарного зла, уверенность в том, что его конец станет началом нового свободного экономического развития.

*М. Михайлова*

## ДЕСЯТИЛЕТИЕ «КОНТИНЕНТА»

«Континент» – ежеквартальный политический журнал советских эмигрантов – в октябре этого года отмечает свой 10-летний юбилей. Идея журнала – сближение народов Восточной и Западной Европы, создание форума для обмена взглядами и опытом. В «Континенте» доминирует современность. Представлены публицистика, проза и поэзия, а также сообщения, свидетельства и документы. Немало также перепечаток из польской подпольной прессы и самиздата других социалистических стран. В целом, необыкновенно интересное и полезное чтение.

У «Континента» два издания. Главное, русское, выходит в Париже под редакцией Владимира Максимова. Немецкий перевод, издателем-редактором которого является Корнелия Герстенмайер, выходит в Бонне. Среди постоянных сотрудников журнала, наряду с такими известными советскими диссидентами, как Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Андрей Сахаров, мы находим имена Милована Джиласа, Пьера Эмманюэля, Паула Гомы, Эжена Ионеско, а из поляков – Юзефа Чапского, Ежи Гедройца и Густава Герлинга-Грудзинского.

Желаем юбиляру таких же удачных номеров журнала в будущем десятилетии, а сотрудникам журнала – здоровья и успехов.

*Польский подпольный журнал «КОС»  
(орган Комитета общественного сопротивления) №61,  
8 октября 1984.*

# **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb  
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
594 Chestnut Ridge Road  
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

# По страницам журналов

## АД ТОРЖЕСТВУЕТ

Статья Майи Каганской «Шутовский хоровод» в 12-м номере «Синтаксиса» написана как бы с позиций защиты основных литературоведческих критериев Мих. Мих. Бахтина, ради чего «дается ба-альшой втык» (собственное выражение Каганской) обнаруженной ею «апологетике авторитаризма» в статьях В. Дмитриева («Грани») и А. Сопровского («Континент»), а также в романе В. Максимова «Чаша ярости».

Не станем говорить здесь об исключительной авторской заданности, о тенденциозности идеи, вещающей о скором пришествии «православного национализма», о засилье в литературе «будущего духовного авторитаризма», которые-де убьют «иронию, выдумку, игру, вольность, легкость воображения...»; не станем принимать во внимание искусственный характер и схоластическую отвлеченность анализа, в соответствии с которым литература делится по принципу «ироничности» и «идеологичности», так что хороши, в основном, все иронические произведения, а все идеологические плохи; оставим на совести автора редкостную вкусовую ограниченность, при которой едва ли не все лучшее в современной русской литературе ограничивается лишь двумя именами – В. Ерофеева и И. Бродского – и только потому, что в их творчестве с особой яркостью выражена идея иронизма.

Бог с ними, с критериями, и если мерилом всех ценностей в литературе для Каганской становится стиль, то и ее статью будем рассматривать с точки зрения стиля. Считающая себя, несомненно, ученицей Мих. Мих. Бахтина, Майя Каганская не унаследовала, к сожалению, присущую учителю высокую этику литературного анализа. Ее статья столь же груба и бранчлива, какими были ленинские разгромные статьи, тон которых целиком переняла советская пресса. Вот она пишет: «Русская критическая проза... знает немного образов, сравнимых с вылазкой Дмитриева по мракобесию, кликушеству и гнетущему убожеству речи... топорно вышло, зато наповал... юродивый В. А. Старостин... видится теперь не дурной маскарадной шуткой...». А вот о Сопровском: «Тягомотное разбирательство... академическая вальжность... не то что задумываться – глазами пробегать эту дребедень стыдно... автор может продемонстрировать собственное умение... тут-то и начинается настоящий цирк...» и т. д. Все это выражено высокомерно, поучительно, в насмешливой издевательской манере. Но уж если защищать иронию *такими* ироническими средствами, то было бы лучше вовсе ее не защищать.

Столь же лихо прошла М. Каганская и по роману В. Максимова. Приводить здесь образчики ее ругательств неприятно и стыдно, но

поражает не столько развязно-вызывающий тон (воистину «язык мой – враг мой!»), сколько удивительная душевная скудость. Идет отчаянная игра в словесные карты, когда на кон ставятся козыри ума, игры, выдумки и легкости выражения, а любви, страдания и страсти словно и не существуют в этом игорном карточном мире. Главное – сказать бы похлеще, а там хоть трава не расти. Вот и выискиваются в романе и преподносятся с торжеством штампованные фразы, а кричащих на каждой странице тоски, ужаса и боли так и не расслышали равнодушные уши.

Сразу же за статьей М. Каганской следует в этом номере «Синтаксиса» присланная из России статья З. М. И удивительно так совпало, что кардинальные мысли З. М. о мере трагизма, которую нам дано в другом почувствовать или не почувствовать, мысли об этой мере, определяющей степень нашего фарисейства, – словно обращены непосредственно к Майе Каганской. Ведь пошел же Господь и к мытарям, и к грешникам, и ощутил неотделимость свою от них, «только от самодовольных, – пишет З. М., – Он был отделим, ибо у этих крепкая броня и они Его совсем в себя не пускают». А еще свойственны самодовольным ненависть без боли, а если не ненависть, то высокомерное отчуждение, холодное презрение, гадливость. И это уже, по словам З. М., симптом страшный. Коротенькую эту заметку хочется закончить заключающим статью З. М. призывом: «Самое страшное зло не то, которое вне нас, а то, которое внутри нас. И потому соблазн найти внешнего врага и все обрушить на него – соблазн страшный. Когда мы рвемся во внешнюю битву, ад торжествует».

*Майя Муравник*

## ДА, ЛИЦО НЕНАВИСТИ!

Читая этот «публицистический роман» – так определен жанр его в восторженном журнальном предисловии, – поначалу просто сочувствуешь и соболезуешь не очень-то информированному – так кажется на первый взгляд – автору-горемыке. В сознании настойчиво звучит его признание о том, что, «выхватывая из жизни великой страны всего лишь несколько месяцев», хотел он «фиксировать в написанном то, что тревожит меня и что меня радует в чужой жизни».

Правда, декларация о двуединости писательской задачи повисает в воздухе, ибо В. Коротич совершенно упустил в своем повествовании ее вторую половину, но не беда: подобное небрежение тем, что «радует в чужой жизни», а речь идет о США, представляется почти произвольным. Да и собственные читательские объяснения сего факта всплывают незамедлительно.

---

Виталий Коротич. Лицо ненависти. – «Октябрь», 1983, № 7.

Во-первых, США и весь Запад – как известно, далеко не рай земной; выход из общественно-экономического кризиса дается не сразу, нащупывается долго и трудно; здесь, преклоняясь перед индивидуализмом личности, увлеченные этой своей главной привязанностью, частенько пытаются восстановить равновесие и меру, нарочито-подчеркнуто оригинальничают своим обращением к самым замысловатым, спекулятивно-рекламным «формам насаждения» новой нравственности. Мораль же истинная как-то остается в тени... Во-вторых, возникает мысль о сенсационной нацеленности западной «службы новостей», и ты готов поверить, что, действительно, если собака укусит человека, то об этом сообщать не будут, но вот если человек укусит собаку!.. Вообще, сам, живя на Западе, разве не сетовал ты на оглушающе-непрерывный поток известий об убийствах, насилиях, грабежах?! А забастовки? А безработица? А судьба людей, лишившихся социальной помощи? О живущих нормальной человеческой жизнью – не пишут. О работающих – не сообщают. Об обеспечении больных и старых – только в статистических справочниках. Это привычный быт, почти обыденщина, и о воздухе, которым дышим, вспоминаем только в часы острой кислородной недостаточности.

Бедный автор-визитер, он ведь видит «западную жизнь» лишь в свете избирательно-одностороннего освещения местной прессы, радио, телевидения! К такому обороту событий он, наивный, никак не приучен. Там, где живет он постоянно, все иначе и проще: в газетах человек человеку всегда и без исключений – друг, товарищ и брат, а всякие там «отклонения от правил» – только в рапортах МВД, которые ежеутренне просматривают партийные руководители городов и весей. Вот поди и разберись: там приучен к идиллии, а здесь обрушивают на тебя поток нестерпимых треволений! Как уж тут не посочувствовать В. Коротичу, так мечтавшему «задуматься над закономерностью отношений между народами и людьми...»! Это он возвещал в упоении собственными благородными намерениями: «Душа Америки должна быть дорога нам, как часть души человечества, – она стоит того, чтобы над этим задуматься». Но нет, не смог задуматься, не дали, запутали, от *всей* правды увели!

А вдруг в писательском полувидении не только «западный образ жизни» повинен? А вдруг не только злокозненное коварство «буржуазной печати» должно ответ нести? Может, и в родные пенаты есть смысл заглянуть? Вопросы далеко не праздные – тем более, что о советской цензуре не просто понаслышаны, но и сами с ней дело имели. В самой истории публикации коротичевского «романа» в этом смысле тоже есть вещи поучительные. Любопытно, например, сравнить отрывки, публиковавшиеся в «Комсомольской правде» с журнальным текстом. Газета, рассчитанная на миллионного читателя, оказалась даже «осторожнее» «Октября», и по ее «почерку» отчетливо видно, куда устремлено неусыпное око цензуры.

В журнале, например, читаем: «Еще одного человека, который „не дома“, я видел чуть раньше. Это было сегодня же, но утром, на углу Пятой авеню и 53-й улицы, в самом центре Манхэттена. Там за столиком сидела пожилая дама в нитяных перчатках, очень старом пальто и вязаной шапочке вишневого цвета. Над головой у дамы на вздетом ввязан картонном транспаранте большими латинскими буквами было напечатано: SAMISDAT, а чуть ниже шел рукописный английский текст такого содержания: „С огромным трудом я бежала из Советского Союза, ценой страшных усилий вырвалась из рук русской тайной полиции. Но никто не хочет меня издавать в Америке, и я умираю от голода“. Ниже была подписана фамилия страждущей дамы: „Нонна Осипова“. Вокруг лежали размноженные на ротаторе самодельные брошюрки, вроде „Любовь в Риме“, „Страсть в застенках“ и еще какая-то любовь со всяческими мучениями. Поскольку такой писательницы у нас в стране не было сроду, а горящий графоманский взор я различаю за три квартала, то по дороге к Центральному парку я помечтал о декрете, который бы разрешал всем графоманам ехать куда угодно вместе с чемоданами рукописей, хоть на Луну – какое бы великое дело решилось!» Таков достаточно трафаретный пассаж в журнале. Но в газете фраза обрывается на «любви со всяческими мучениями». Мечтания автора о декрете, «который бы разрешил всем графоманам ехать куда угодно», бесследно исчезли. Цензура зорко углядела, какой зловредный оборот могут принять дела, если любой графоман и множество примкнувших также возмечтают о декрете, разрешающем ехать куда угодно... И снова посему страдаешь В. Коротичу, полет свободной мысли которого так грубо был смят всеильной цензурой!

Но вот все больше вчитываешься в строки, главы «романа». И всё новые сомнения начинают тебя обуревать. А так ли уж наивен автор? Так ли уж давит на него цензура? Может, просто прикидывается протачком, а цензура лишь подправляет «огрехи», которые случайно проникли в авторский текст?!

По мере чтения «романа» становится все очевиднее, что по существу «подправлять» было нечего. В. Коротич и сам превосходно справляется со всем набором официальных предписаний. Взор его пламенеет, когда говорит он о встретившемся ему в США голодном человеке, но как понимающе ласков его голос, когда вспоминает он об отечественной истории («Понимаешь, мы с тобой если и видели голодных людей, если сами бывали безнадежно голодными, то давно, в детстве, даже позабыли, как это было»; «Если уж мы с тобой голодали, то вместе со всей страной, и от этого было не то чтобы легче, но понятнее»). Есть у В. Коротича «своя» любимая идея: все беды Америки – от ненависти к СССР. Он повторяет ее снова и снова, варьирует, обогащает все новыми рассуждениями. Но сама идея остается неизменной: «Официальная Америка с таким прилежанием вколачивает сейчас в сознание своих граждан ненависть к нам, что...» И дальше,



понятно, идет доказательство нелогичности, нелепости всех этих «недружественных чувств». Какой-то психологический стресс, совершенно необъяснимый шок («сеятелями ненависти нас никак не назовешь – ни в Организации Объединенных Наций, ни за ее стенами»)!

Нет, автор «Лица ненависти» далеко не наивен. Просто искусство пренебрежения фактами у него доведено до совершенства (он «искренне» удивляется, когда узнаёт, что кто-то побоялся после плена вернуться в Россию; он возмущен террором, но только против представителей СССР; он за «внимание к человеку», но А. Солженицын – предатель).

Есть у В. Коротича не только любимая идея, но и любимая тема. Это судьба наций. В общем плане картина универсально-четкая: «Я видел все это, и смешное, спутавшись с трагичным, напомнило мне о множестве нью-йоркских разделительных барьеров, гетто, убежищ и норок, которые не смыкаются между собой».

Различия – в индивидуальном подходе автора к «убежищам и норкам». К украинцам он относится покровительственно-снисходительно. Они, отмечается, и землю предков не забыли, и ансамбли создали приличные, и в гастрономической сфере свой патриотизм проявили («основательнее всего развился украинский патриотизм, так сказать, с гастрономическим уклоном», – с доброй иронией сообщает В. Коротич). Но всякая снисходительность испаряется, когда речь заходит о евреях. А речь об этом заходит ой как часто! К месту и не к месту. В тонах просто раздраженных и грубых до неприличия. Тут используется вся палитра «публициста-гуманиста»: недомолвки, умолчания, намеки («В представительстве УССР при ООН недавно заштукатурили дырочку в стене: с крыши синагоги напротив выстрелили нам в окно», – кто стрелял, В. Коротичу неизвестно, но «синагога» упомянута очень кстати... Еще цитата: «С обеих сторон, блокировав подъезды к советской миссии, орали голосистые человеки в ермолках (нечто подобное видел я в старых кинохрониках, когда гитлеровские штурмовики громили еврейские магазины в довоенном Берлине)». «Человеки в ермолках», правда, только «орут», но все равно упоминание о разгроме магазинов штурмовиками очень уместно... На палитре В. Коротича краски не только сдержанно-пастельные. Мазки его особенно энергичны, когда описывает он различные манифестации в защиту советских евреев. Разговор тут короткий: автора интересует лишь размер «гонорара», который получают демонстранты-наймиты (правда, однажды автору пришлось пережить неприятный момент, когда одна из демонстранток, совсем не еврейка, а украинка, «указала, – как неосторожно заоткровенничал В. Коротич, – перстом мне прямо в грудь. – Вот кто ему платит и кто содержит всех американских предателей». После этой реплики автор почему-то замолкает...). Зато отыгрывается он на другом. На всесилие сионистов (они, видать, и бедную украинскую женщину запутали: «В руках у сионистов пребывает огромная часть средств массовой информации, – в Нью-Йорке – чуть

ли не все буржуазные издания...», – отмечает В. Коротич, не замечая, какой удар он наносит самому себе – ведь «роман» его обильно уснащен цитатами все из той же нью-йоркской прессы...). Сионисты мнятся В. Коротичу повсюду – даже в «продуктовом бизнесе». Он так прямо и пишет: «В центре Нью-Йорка, где огромная часть продуктового бизнеса принадлежит сионистским организациям...» Не евреям, не сионистам, а именно «сионистским организациям!» Так что, американцы, покупая свой хлеб в супермаркете, будьте осторожны – всё это сионистские штучки! Тут уж на наивность не сошлешься. Если и есть тут крупница недомыслия, то и она от усердия: лучше в ненависти своей к другим народам переборщить, чем недодать. Так безопаснее. Иначе, чего доброго, – небезосновательно считает В. Коротич, – и по Америкам-Европам больше не погуляешь...

*М. Вайнштейн*

## ZESZYTY LITERACKIE

**Cahiers Littéraires: 37, rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France, C.C.P. Paris 574286 E**

Вышел из печати 8-й номер парижского польского журнала «Зэшиты литерацке» («Литературные тетради»). В номере, в частности, напечатаны новые стихи **Адама Загаевского** и его эссе «Солидарность и одиночество»; глава из книги **Александра Солженицына** «Бодался теленок с дубом»; эссе **Войцеха Карпинского** «Красное колесо»; отрывки из «Чешского сонника» **Людвика Вацулика**; посмертно публикуемые записки **Александра Вата** «Листки на ветру»; доклад **Милана Кундеры** «А если роман и в самом деле исчезнет?»; рассказ **Данило Киша** «Красные марки с Лениным»; отрывок из повести **Саши Соколова** «Палисандрия»; стихи **Конрада В. Татаровского** и **Яцека Березина** и др. материалы.

Цена отдельного номера – 41 фр. фр. (6,5 долл. США), авиапочтой – 47 фр. фр. (8 долл.). Годовая подписка – 145 фр. фр. (20 долл.), авиапочтой – 180 фр. фр. (25 долл.).

# Наша анкета

## ИСПОВЕДЬ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО

– Жизнь настолько трудна, что иногда, кажется, очень жаль, что ты родился на свет. Но иногда она дарит тебя такими удивительными вещами, ради которых и стоит жить. Так что вопрос о счастье для меня не стоит. Мне кажется, что этого вопроса вообще не существует...



Это говорит невысокий худощавый человек в черном свитере, отвечая на вопрос документалиста-режиссера и продюсера Донателлы Баливо, стоящей за кадром. Она так и не покажется на экране и будет задавать свои меткие вопросы по-итальянски, а ее единственный собеседник отвечает по-русски, взвешивая и как бы ощупывая слова в напряженном ожидании предстоящих перемен в своей жизни.

Так и будет течь их тихая беседа, как течет эта мирная речка, на берегу которой, задумчиво глядя на воду, на деревья, небо, стоит русский человек с глубокой и и резкой складкой на лбу и у губ, с острым, пылливо-прищуренным взглядом, – Андрей Тарковский – поэт и художник кино.

Трудно себе представить, что этот 90-минутный фильм-монолог, фильм-исповедь, сделанный молодой итальянкой с беспредельной любовью и безукоризненным вкусом, отснят в 1984 году не где-нибудь в Подмоскovie, на Клязьме или в Перedelкино, у заросшей кустарником обмелевшей Сетуни, а в окрестностях Рима, на Тибре. Бегущая вода – излюбленная кинометафора Андрея Тарковского, – одинаковая под Москвой и под Римом, верно служит ему естественным фоном для его доверительной беседы, независимо от места и времени.

Герой фильма не волен в том, что дар свободного слова он обрел сегодня именно здесь, под небом Италии, первой признавшей его талант еще в 1965-м, на Венецианском фестивале. Тогда она присудила главный приз никому неизвестному режиссеру за его первую работу – «Иваново детство». С тех пор почти каждый фильм Андрея

Тарковского получал признание не на родине автора, а в Италии, стране искусства, на родине неореализма. Как для многих русских художников прошлого, Италия и для Тарковского стала обителью вдохновения, а нынче и землей обитания.

Непривычно синее высокое небо, и журчанье воды, и знакомый по России крик кукушки в лесу, и пьянящий неизвестностью вольный воздух – все располагает здесь к размышлению, к подведению итога.

В рассказ-монолог Тарковского войдут, сменяя и дополняя друг друга, его мысли о жизни и искусстве, фрагменты из его фильмов – «Иванова детства» о последней войне и киноповести о древнерусском живописце «Андрее Рублеве», а также из автобиографического «Зеркала» и сегодняшней «Ностальгии». И окажется, в конце концов, что все картины Тарковского есть не что иное, как его рассказ о себе, о смысле жизни художника на земле.

Монолог Андрея Тарковского так пронзительно правдив, что мы записали его с экрана с минимальными сокращениями, понимая, что лишний комментарий может лишь повредить исповеди большого художника. Фильм Донателлы Баливо вряд ли скоро выйдет на широкий экран, но он останется бесценным человеческим документом для истории, которая когда-нибудь все расставит по своим местам. Фильм о Тарковском помогает понять его поступки, его творчество, его судьбу.

### *О детстве*

– Мое детство я запомнил очень хорошо. Для меня это самое главное, что было в моей жизни. Потому самое главное – что оно определило всё, что сформировалось во мне гораздо позднее. Детство определяет всю жизнь человека, особенно если он впоследствии связан с искусством, с проблемами внутренними, психологическими. Еще Анна Андреевна Ахматова говорила о значении детства, детства, которое зарядило ее на всё ее творчество.

Мы жили с мамой, с бабушкой и сестрой – это была вся наша семья. По существу, я воспитывался в семье без мужчин. Я воспитывался матерью. Может быть, это и отразилось как-то на моем характере. Мои родители разошлись. Это было в 1935-36-м году. Мы остались с моей сестрой Марией у мамы. Я помню маленький хутор

в лесу, километрах в девяноста-ста от Москвы, недалеко от деревни Игнатьево на берегу Москва-реки. Здесь провели несколько лет – 35-й, 36-й, 37-й. Это было тяжелое время, потому что тогда разладились отношения моей матери с отцом и он оставил нашу семью. Я помню, как однажды отец пришел ночью к нам и требовал, чтобы мама отдала меня ему, чтобы я жил с ним. Помню, я проснулся и слышал этот разговор. Мама плакала, но так, чтобы никто не слышал. И я тогда уже решил, что, если бы мама отдала меня, я бы не согласился жить с ним, хотя мне всегда не хватало отца. С тех пор мы всегда ждали его возвращения, так же, как потом мы ждали его возвращения с фронта, куда он ушел добровольцем.

Мы очень тяжело переживали войну. Отец ушел на фронт, мы все скучали по нем, очень ждали писем. И, наконец, потеряв ногу, пережив очень много операций, гангрену, пролежав в военном госпитале, он вернулся. Он уже не жил с нами, он ушел от нас гораздо раньше. Но, тем не менее, вспоминая то время, я помню, что мы жили ожиданием, когда кончится война. Отец был награжден орденом Красной Звезды – это очень почетный военный орден. Он вернулся в чине капитана. По существу, когда меня спрашивают, о чем я мечтал в детстве, я могу сказать определенно только одно: мы ждали, когда кончится война. У меня было только две мысли: чтобы вернулся мой отец и чтобы кончилась война.

Во время войны мы голодали и много думали о еде. Ну, не только, естественно, о еде, но тем не менее... Этим, вероятно, объясняется, что мои детские впечатления были весьма и весьма ограничены...

...У моей мамы была очень трудная жизнь. Она почти закончила Литературный институт, который раньше назывался Литературными курсами имени Брюсова. Там она и познакомилась с отцом. Когда он ушел от нас, мама уже не могла заниматься и так и не сдала экзамены, чтобы получить диплом. Она пошла рабо-

тать корректором в типографию и, по существу, до самой своей смерти проработала в Первой Образцовой типографии, которая находится в Москве на Валовой улице.

Наша жизнь была действительно чрезвычайно трудной во всех отношениях. И все то, что я получил в жизни, все, что я имею, если я имею, то, что я стал режиссером и художником, – всего этого я достиг благодаря моей маме, благодаря ее усилиям, которые она отдала для того, чтобы я стал тем, кем я являюсь...

За кадром раздается могучий голос Руслановой, поющей «По диким степям Забайкалья». На словах

Бродяга Байкал проплывает,  
Навстречу – родимая мать...

Тарковский делает большую паузу, а потом продолжает:

– Был у меня в жизни очень трудный момент, когда я попал в дурную компанию, будучи молодым, и мама спасла меня довольно странным образом. Она меня устроила на работу в геологическую партию, и я отправился туда на целый год в качестве рабочего. Я исходил много мест по лесам, по тайге в Сибири. Это я вспоминаю, как самое прекрасное время в моей жизни. Мне тогда было 20 лет.

*«Нашел ли я, что искал?»*

– Нашел ли я то, что искал? Я не знаю. На этот вопрос трудно ответить. Конечно, я что-то искал. У меня было чувство, что я должен что-то сделать в будущем. У меня была уверенность в моем предназначении что ли. Правда, я не думал, что это будет так тяжело – иметь уверенность в своем предназначении. Трудно сказать, что это были детские поиски. Это не были детские поиски. Это была подготовка к жизни, подготовка к будущему творчеству. Хотя я сам этого не осознавал. Мать знала это лучше меня, мама знала, что мне пригодится. Я не был готов к тому, чтобы определить точно интересы, которыми я должен был увлечься в то время. Несмотря на ужасное положение, в котором мы жили, я

учился в музыкальной школе по классу рояля, потом закончил художественную школу в Москве. И ясно, что мама хотела, чтобы я занялся искусством. Для нее был очень важен опыт моего отца. Она очень любила его до конца своей жизни и хотела, чтобы я чем-то был похож на него. Таким образом, я связал себя с искусством. Но ни пианиста из меня не получилось, ни дирижера, а я хотел стать дирижером. Не стал я также ни художником, ни скульптором, чему я тоже учился. Я очень жалею, что я не стал музыкантом, дирижером, мне кажется, что эта профессия была бы легче для меня.

Тем не менее, без этого багажа – без живописи, без этой музыки – я вряд ли смог бы заняться режиссурой столь серьезно, как я сейчас занимаюсь ею.

Что касается связи с детством, вряд ли можно сказать, что я что-то нашел, что искал в детстве. Нет, я не хотел в детстве стать ни художником, ни музыкантом. У меня был склад характера скорее растительный. Я был похож скорее на растение. Я мало размышлял. Я больше чувствовал, как-то воспринимал...

Детство всегда прекрасно. Невозможно говорить о детстве плохо, поскольку даже самое тяжелое детство в воспоминаниях наших остается как самое счастливое время нашей жизни. Когда я вспоминаю о детстве, я вспоминаю о времени, когда передо мною еще была вся жизнь, когда я чувствовал, что я бессмертен и что все возможно, все выполнимо. Иногда я чувствую себя несколько потерянным, если задумываюсь, что детство уже ушло... Я не знаю, ушло ли детство или осталось вместе со мной? Боюсь, что ощущение детства ушло, а само детство – вряд ли... Оно – не знаю, – оно осталось. И думаю, что оно осталось в качестве основной базы, основной возможности для меня в творчестве. То есть все, что меня толкает к творчеству, я думаю, закладывалось в моем детстве. Если бы оно было забыто, я думаю, я был бы бесплоден...

## *Первые шаги в кино*

Первые мои впечатления о кино были странные – я никогда не понимал, что такое кино. Многие шли в Институт кинематографии, уже зная, что такое кино. Для меня же это была загадка. Когда я кончил кинематографическую школу, я, в общем-то, совершенно не понимал, что такое кино, не чувствовал его, не видел для себя какого-то призвания в нем. Я чувствовал, что это какая-то профессия, что в этом есть какой-то фокус, технический что ли, но что при помощи кино можно выразаться, как при помощи поэзии, литературы, искусства, я не знал, не ощущал. Я делал свою первую картину «Иваново детство» и, по существу, не знал, что такое режиссура. Это был поиск совершенно ощупью. Я шел, пробовал, искал какие-то моменты соприкосновения с поэзией. И после этой картины я вдруг почувствовал, что при помощи кино можно что-то сделать, можно прикоснуться к духовным субстанциям собственной души. Поэтому для меня этот опыт с «Ивановым детством» был очень важным, до этого я совершенно не представлял себе, что такое кинематограф. Я, собственно, и сейчас не уверен, что я знаю, что такое кинематограф. Это огромная тайна, впрочем, как и всякое искусство.

Тарковский стоит, прислонившись спиной к дереву, нам показывают его крупным планом: мы видим его сощуренный, сосредоточенный взгляд, а на экране тем временем проходят кадры из «Иванова детства». Тревожным набатом деревенский мальчишка бьет в церковный колокол.

— Часто связывают мое детство с этим фильмом, где рассказывается о мальчике, который был в том же возрасте во время войны, что и я. Это ошибочная аналогия. Единственное, что нас связывает, это возраст и война. Моя судьба – не столь трагическая в связи с войной, поскольку я остался жив, а Иван погиб. Он все-таки воевал, а я жил в тылу, у своей бабушки, в маленьком провинциальном городке, где и родился недалеко, километ-



рах в 15-ти от него, в маленьком селе, которое называлось Заовражье. Его уже нет: когда была построена Куйбышевская гидроэлектростанция, Волга поднялась и затопила это село. Теперь на его месте торчит только верхушка колокольни бывшей церкви.

На экране появляются документальные кадры Венецианского кинофестиваля. Огромный торжественный зал. Итальянская речь. Овации. Главный приз «Золотого льва» впервые в истории Венецианского фестиваля присуждается советскому кинорежиссеру. Улыбающийся, молодой Андрей Тарковский в темном костюме поднимает над головой «Золотого льва» за свой первый фильм.

### *Отношение к критике*

– Основную полемику о моем фильме «Иваново детство» вели Сартр и Моравиа, которые выразили разные точки зрения. Моравиа меня критиковал, а Сартр защищал. Должен сказать, что мне очень приятно было читать статью Моравиа, который не оставил камня на камне от моего первого фильма. Это он делал на таком высоком критическом уровне, так верно и точно выразил мысль, что я с удовольствием прочел его критику. Было приятно, ну, как бы это сказать, что тебя критикуют на таком профессиональном уровне. Я привык к шаблонной критике. Кстати, тогда я даже не успел и к ней привыкнуть, так как это была моя первая картина. Что я могу сказать по поводу этой полемики? Мне кажется, что был прав Моравиа. Что касается Сартра, который меня защищал, то он защищал меня слишком с философских позиций, слишком умозрительно для того, чтобы его защита была для меня убедительной.

### *Что такое «авторское кино»?*

Я никогда не умел отделять свою собственную жизнь от фильмов, которые я делал. Фильмы всегда были частью моей жизни. Для того чтобы снять какую-нибудь картину, мне приходилось всегда делать выбор, принимать какое-либо жизненно важное решение. Я знаю ряд художников, которые могут отделить свою

собственную жизнь от фильма, который они делают. То есть в жизни они поступают так, делают одно, а в своих фильмах говорят совсем о другом, выдвигают какие-то другие идеи, высказывают другие мысли. Каким-то образом у них уживается их совесть с теми мыслями, которые они выражают в картине. Я не умею этого. Для меня кино не профессия, это моя жизнь, и каждый фильм для меня – поступок.

Нравится ли мне моя работа? Мне очень нравится сочинять мои фильмы. Придумывать их, писать сценарий, выдумывать мизансцены, искать место для актеров, то есть придумывать все, что связано с постановкой будущего фильма. Но снимать фильм, по-моему, очень и очень скучно и неинтересно. С моей точки зрения, это момент наименее интересный. Когда все придумано, когда все уже сделано, когда ты все уже изобрел, тебе надо еще, опираясь на кинематографическую технику, реализовать это все. Это самый скучный момент. Для меня очень важен опыт и фильмы Довженко. Очень. Что касается моего учителя, то им был Михаил Абрамович Ромм, но именно как учитель, как человек, который сумел научить меня быть самим собой. Вот чем я ему обязан.

Мне кажется, что все, кто остается в истории кино как большие художники, как авторы, – все они поэты. Тут такая закономерность, на мой взгляд: авторское кино – это кино поэтов, и все настоящие режиссеры, современные режиссеры – все поэты. Что такое поэты кино, с моей точки зрения? Это режиссеры, которые имеют свой собственный мир, они пытаются воссоздать свой мир, найденный ими в окружающей действительности, в жизни, которой они живут. Вот такое кино мы называем авторским, поэтическим кино.

### *О своем отце, поэте Арсении Тарковском*

Арсений Тарковский – вне всяких сомнений, большой русский поэт с огромной лирической интонацией, с огромным духовным зарядом, так сказать, поэт в чис-

том виде, для которого самым главным является его внутренняя духовная концепция жизни. И его духовный, внутренний долг по отношению к своей жене, к родине и к своей роли в жизни.

Он скромный. Он никогда не писал ничего для того, чтобы прославиться. Он никогда не делал ничего для того, чтобы выдвинуть себя на передний план. Он никогда не делал карьеры из своей поэзии. У него трудная жизнь. Первый сборник его стихов должен был выйти в тот момент, когда в свое время Жданов обрушился на ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград», когда он очень сильно, даже жестоко и несправедливо критиковал поэзию Ахматовой, критиковал Зощенко, критиковал фильмы Эйзенштейна. Это были тяжелые времена. В это время готовилась книга Арсения Александровича Тарковского и не вышла потому, что Жданов обратил особое внимание на положение в советской культуре в те времена. После этого его очень долго вообще не печатали, не принимали, так сказать, его книг, его стихов... И только совсем недавно он начал печататься. Он начал печататься очень поздно, очень поздно...

Тарковский поворачивается и идет вдоль реки, всходит на перекинутый легкий мостик и смотрит на текущий под ним поток. Под звуки скрипки чей-то мужской голос по-итальянски читает в переводе стихи Арсения Тарковского. На экране появляются кадры из фильма «Андрей Рублев» – лики русских мадонн, написанных рукою великого иконописца.

### *Для чего существует искусство?*

– Прежде чем строить концепцию, в частности, взгляд на искусство, надо прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий: зачем живет человек, в чем смысл человеческого существования? Мне кажется, мы должны использовать наше пребывание на земле, чтобы духовно возвыситься. А это означает, что искусство должно помочь нам в этом. В силу того, что смысл человеческого существования я

понимаю таким образом, мне кажется, что искусство должно помогать человеку развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит человеку тем, что помогает ему духовно измениться, вырасти. Но есть и другая точка зрения, согласно которой искусство есть познание, имеет познавательную ценность, как и другие сферы человеческой деятельности на нашей планете. Я вообще не очень верю в силу познания, в этом смысле я агностик. Чем больше мы знаем о мире, тем меньше мы знаем о нем, поскольку мы все более углубляемся в одну сферу и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью, миром.

Искусство служит человеку для того, чтобы духовно воспарить, возвыситься над самим собой, использовать то, что мы называем духовной волей.

В этой связи встает еще один важный вопрос. То давление, которое я испытываю в своем труде, не является каким-то исключением. Художник всегда испытывает давление извне. У художника никогда не было идеальных условий для работы. Если создать идеальные, стерильные условия для художника, то работа его не состоится. Человек не может работать в безвоздушном пространстве. Он должен испытывать какое-то давление. Я не знаю, какое именно. Но художник существует постольку, поскольку мир, так сказать, не устроен, мир не благополучен. И, видимо, именно поэтому-то и существует искусство. Если бы мир был прекрасен и гармоничен, то искусство, наверное, было бы не нужно. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, занятиях, он жил бы гармонично, и этого было бы ему достаточно.

По-моему, искусство существует только потому, что мир плохо устроен. И вот именно об этом рассказывается в моем «Рублеве». Поиски гармонии, поиски смысла жизни, как он выражается в гармонических соотношениях между людьми, между искусством и

жизнью, между сегодняшним временем и историей прежних веков, – этому, собственно, и посвящена моя картина.

### *О человеческом опыте*

Есть еще одна тема в «Андрее Рублеве», очень важная для меня, – это отношение к опыту человеческому. Я хотел сказать, что невозможно преподать опыт, невозможно научиться от другого, как жить. Только прожив жизнь, можно сделать какой-то свой вывод. Его нельзя передать другому. Мы часто говорим: нужно воспользоваться опытом своих отцов. Это было бы очень просто. Жизнь надо прожить для того, чтобы иметь свой собственный опыт, чтобы иметь свое собственное отношение к жизни. Когда мы это получаем, жизнь кончается, к сожалению, и мы не успеваем воспользоваться этим опытом, а молодые растут, не слушаются стариков и правильно делают – и ищут свой собственный опыт. Когда они его находят, жизнь также кончается. Вот закон жизни.

На экране возникает современный город с туннелями, виадуками, мостами, по которым бегут в разных направлениях тысячи машин.

– Я хочу этим только что́ сказать? Нельзя навязывать свой опыт другому, нельзя заставлять человека испытывать чувства внушенные, а можно лишь опираться на свой собственный жизненный опыт для того, чтобы понять, что такое жизнь. Вот такой жизнью жил и Рублев монахом, который был обучен в монастыре Святой Троицы, в Троице-Сергиевской лавре, и был воспитан Сергием Радонежским. Он прожил жизнь совсем иначе, не так, как его учили, а в конце пришел к той же мысли, которую ему преподавал отец Сергей, но только лишь после того, как прожил свою жизнь.

Фрагмент из «Андрея Рублева»: плачет деревенский парнишка, проклиная отца за то, что тот умер, не оставив ему секрета отливки колокола.

## *О зависимости кино*

– Кино очень зависит от денег. Чрезвычайно. Не от того даже, что фильм дорого стоит, а от того, что фильмами торгуют, как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами... Да, этот вопрос начинает казаться абсурдным, поскольку нам говорят, что искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Я не сетую на свою судьбу, потому что я отлично знаю, что поскольку кино – это производство товара, я не могу требовать каких-то особых условий для создания своих фильмов. Этих условий не существует. Если мы хотим, чтобы картину смотрело большое число зрителей, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого художественного, поэтического мастерства. Вы можете сказать, что бывали случаи, когда очень хорошие картины смотрели миллионы людей. Это было в начале, когда кино только появилось, в эпоху немоты. Каждая новая картина вызывала огромное любопытство. Сейчас зритель привык, его уже ничем нельзя удивить. Поэтому мы не можем рассчитывать на то, что хорошие картины будут смотреть миллионы.

## *О разрыве между духовным и материальным*

Почему мы изучаем космос, когда почти ничего не знаем о самих себе? Это говорит только о том, к каким результатам человечество пришло в результате научного прогресса. Мы можем оценить это в дурном или хорошем смысле слова. Но мне кажется, что научная проблема не зависит от человека. Поэтому говорить, что хорошо, что плохо, – невозможно. Единственно что можно сказать, что в результате исторического прогресса возник страшный конфликт между духовным развитием человека и материальным, научным прогрессом. Мне кажется, драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в разрыве, в конфликте между духовным и материальным. В этом и есть причи-

на, которая привела к нынешнему положению в нашей цивилизации – драматическому и, я бы сказал, трагическому положению, поскольку мы стоим на грани атомного уничтожения, в результате именно этого разрыва... Мне кажется, что Галилей и Эйнштейн в чем-то ошибались. Знания о жизни нам счастья не прибавляют...

В фильме «Сольарис» по Лему – самой, как я считаю, неудачной из моих картин – меня интересовала не столько проблема познания, проблема столкновения человеческого сознания на пути к неизвестному, сколько проблема внутренняя, психологическая. Меня интересовало: способен ли человек жить в нечеловеческих условиях и остаться человеком? И герой фильма, и герой романа Лема интересовали меня постольку, поскольку он для меня должен остаться человеком, несмотря на то что находится в нечеловеческих условиях, в нечеловеческой ситуации. Я прочитал его именно так – вот, собственно, и вся разница между моим фильмом и фантастическим романом Лема. Мне этот фильм не нравится, поскольку мне не удалось преодолеть все приметы и признаки так называемого жанра научно-фантастического кино: там много техники, всяких светящихся, каких-то мигающих лампочек, словом, всякой ерунды, которая не имеет никакого отношения к искусству.

### *О памяти и пользе одиночества*

Моя память обладает странным свойством запоминать только то, что мне нужно запомнить. Я никогда не помню того, что мне могло бы повредить. Это идет не от бессовестности моей, а от свойства памяти: я, так сказать, выборочно фиксирую события, независимо от моей воли. Я бы не хотел сказать, что у меня очень хорошая память. Скорее, наоборот: я мало что помню конкретного. У меня сильна эмоциональная память. Я, скорее, вспоминаю какие-нибудь состояния психологические, чем встречи, людей, обстоятельства.

Я более склонен относиться к миру эмоционально – скорее, созерцательно. Не столько думать, сколько созерцать, ощущать. Скорее, я отношусь к миру, как животное, как ребенок, чем взрослый зрелый человек, который умеет размышлять и умеет делать какие-то выводы.

На экране появляются расседланные кони, вольно скачущие по полю. Над ними занимается заря. Тарковский лежит на стволе упавшего дерева и смотрит в небо.

– Дети и животные – невинны. Дети еще невинны, а животные – просто невинны. Они не могут лгать, они искренни по самой природе, по самой своей сущности. А человек, именно из-за того, что способен выбирать между добром и злом, постепенно приучается лгать, потому что, он считает, так ему легче жить. Легче добыть, так сказать, личных благ путем дипломатии, а затем просто благодаря прямой лжи. Поэтому мне кажется, что дети и животные гораздо ближе к истине – из-за этого они мне больше нравятся. И не только мне. Дети всем больше нравятся, чем взрослые люди.

Что бы я хотел сказать молодежи? Чтобы молодые люди умели больше находиться в одиночестве, любили бы быть наедине с собой. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться, чтобы не чувствовать себя одиноким, – очень неприятный симптом, с моей точки зрения. Надо научиться с детства быть одному. Это не значит всегда быть одиноким. Это значит – не скучать с самим собой, потому что тот, кто скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения.



## *О любви к себе и любви к людям*

У меня есть такое ощущение, что все, что мне предстоит сделать в жизни, уже предписано кем-то. Такое ощущение было у меня с детства. Это очень странно, но это так. Поэтому я не испытываю никаких самолюбивых ощущений, связанных со своей деятельностью, со своей работой, с кинематографом. Мне даже кажется, что я недостаточно люблю себя – так же, как каждый из нас. Если бы мы любили себя по-настоящему, мы бы умели любить и других. Те, кто не может любить себя, то есть не знает цели своего существования, не могут испытывать и любви к другим и вообще к жизни.

У меня есть один серьезный недостаток, который можно определить как, ну, что ли нетерпимость. Я все время стараюсь от этого освободиться, но это не удается. Мне не хватает толерантности, мне не хватает терпимости, которая приходит со зрелостью. Я очень страдаю от этого. Именно это не позволяет мне относиться к людям с большой симпатией. Я устаю от людей.

А вообще я человек невеселый, потому что мне всю жизнь приходилось стоять перед трудными, почти неразрешимыми задачами. Когда я смеюсь, то во мне возникает ощущение какой-то вины перед другими, и мне кажется, что я смеюсь не к месту и без причины. В фильмах моих – тоже. Я, например, совершенно не в состоянии смотреть свои картины. Мне бывает стыдно их смотреть, как бывает стыдно иногда читать свои дневники, которые ты вел, будучи юношей, когда был еще совсем маленьким, когда мысли твои были еще незрелые. Я смотрю свои картины только на премьерах.

## *О фильме «Зеркало»*

Многим кажется, что это мой любимый фильм. Он не то что мой самый любимый, но он действительно близок мне, потому что связан с моим детством, в этом фильме нет ни одного выдуманного эпизода, он сделан правдиво, ибо связан с биографией нашей семьи. Но я не

уверен, что этот фильм воплотил все мои эстетические концепции, все, что я хотел сказать в кино. Его очень трудно было делать, он никак не монтировался. Все эпизоды, которые были отсняты, не кинодраматичны, то есть отсняты не по киносценарию. Когда мы монтировали фильм, он распадался на части. Мне пришлось сделать девятнадцать вариантов монтажа, принципиально иного качества, когда каждый эпизод переставлялся с места на место, прежде чем картина получилась. Этот фильм монтировался не по принципу традиционной драматургии, а я сам не знаю по какому принципу. У меня такое впечатление, что в последнее время я стремился к более простым конструкциям. В «Сталкере» – одной из последних картин, мне кажется, я достиг большой простоты, аскетизма в способе рассказа. Для меня «Зеркало» – слишком пестрый фильм, чтобы сказать, что он воплотил мои эстетические вкусы.

### *Что называется Родиной*

Березовая роща в солнечных бликах пляшет, кружится макушками деревьев на экране. Синее небо в ажурном зеленом узоре.

– Я очень люблю свою страну. Совершенно не представляю, как можно жить долго, скажем, в Нью-Йорке. Вот я здесь, в Италии, нахожусь уже более года и страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть свой дом. Я чрезвычайно люблю свою деревню, в которой я живу, свою землю, которую я называю Родиной. Не знаю, мне даже не хочется в Москву, в которой я много прожил, а только в деревню.

Я хотел бы жить на природе, ближе к деревне, где мало народу. Мне кажется, что вынужденная жизнь людей в больших городах – это ошибка нашей цивилизации. Человек начал свое существование в истории с борьбы за выживание и ради этого должен был объединяться с другими. Вместо того, чтобы жить вдалеке друг от друга и общаться друг с другом, только получая от этого наслаждение, а не рая друг друга этим самым

общением, что мы имеем сейчас в больших городах при большом стечении народа. То есть надо жить на природе, свободнее, стараться видеть меньше людей. Несмотря на то что человек связан с другими людьми, живет в обществе, мне это кажется насильственной формой существования, просто так получилось, такова форма нашей цивилизации. Мне кажется, что где-то в начале человечество в этом отношении ошиблось. Мы должны были, по-видимому, развиваться иначе...

### *Капля воды – самая красивая вещь на земле*

Да, в моих фильмах много воды... Вода, речка, ручей мне очень многое говорят. Я очень люблю такую воду. Как я отношусь к морю? Оно как-то чуждо моему внутреннему миру. Слишком много однообразного пространства. С точки зрения моего «я», мне гораздо больше говорит «микромир», чем «макромир». Для меня громадные пространства говорят меньше, чем маленькие ограниченные пространства. Вот мне очень нравится отношение японцев к природе, их восприятие природы. У них очень мало пространства, и они стремятся сосредоточиться на маленьком пространстве и видят в нем, так сказать, отражение бесконечности. Вот такое пространство, в виде замкнутого, мне милее.

Открытый грузовик со свежими яблоками несется в дождь по проселочной дороге. Мальчик и девочка в кузове подставляют лицо дождю. Мокрые яблоки, капли дождя на лицах детей и на яблочной кожуре.

– В России можно увидеть большое количество воды, гораздо больше, чем в Италии. Мне очень нравится вода как предмет. Во-первых, это вообще загадочная вещь. Как известно, существует лишь одна-единственная молекула воды –  $H_2O$ . Но дело даже не в этом. Дело в том, что вода очень динамична. Она передает движение, глубину, изменение, цвет, отражение. Это одна из самых красивых вещей на земле. Нет ничего красивее воды. Нет ни одного явления в природе, кото-

рое не получило бы отражения в ней... По-видимому, было бы неточным ограничиться одним аспектом для показа воды. Я не мыслю себе ни одного фильма без воды.

Эпизоды из «Ностальгии». Капли воды где-то в руинах Рима.

### *О бедности и богатстве*

– Что такое бедность, я очень хорошо знаю. Нас мама воспитывала в очень тяжелое время. Нам приходилось голодать, голодать по-настоящему, то есть жить без надежды получить кусок хлеба на завтрашний день. Это очень тяжелое чувство, и оно унижает человека. Но вместе с тем оно учит нас быть сострадательными к другим. Человек, который голодал, не сможет никогда быть жадным.

Богатство для меня не означает, в общем, ничего особенного, специального. Для меня богатство может гарантировать только какую-то жизнь, которой я хотел бы жить, но, поскольку я привык к простой жизни, я не думаю, что я хотел бы быть богатым. Что значит быть богатым? Богатство – вещь относительная. Мне кажется, человек не нуждается в богатстве. Мне кажется, что богатый человек начинает меняться внутренне, он становится скупым, он начинает защищать свое богатство от других и потом начинает служить богатству. Эта зависимость от собственного богатства мне кажется самым опасным в том, что богатство за собой влечет.

### *Остаться самим собой*

Когда меня спрашивают о фильме «Сталкер», я теряюсь. Я никогда не думаю, ставя свои фильмы, чтобы они принадлежали к какому-нибудь определенному жанру. Что такое «Сталкер» – не знаю. Скорее, это притча, парабола, чем научная фантастика. Я не думаю о том, как отнесется к тому, что я делаю, зритель. Мне как-то трудно влезть в его шкуру и узнать,

что он думает по тому или другому поводу. Мне кажется, что эта задача какая-то неблагоприятная.

Есть режиссеры, которые могут вычислить будущий успех своих картин. Я не принадлежу к их числу. Мне кажется, единственный путь к зрителю – это остаться самим собой, говорить собственным языком, только тогда ты будешь понятен зрителю. Нужно бороться с коммерческим кино, сопротивляться ему. Это делают кинематографисты, которых мы называем «авторами». Они не делают попытки во что бы то ни стало понравиться зрителю. Зритель и так их примет рано или поздно. Все попытки «понравиться» со стороны тех людей, которых мы называем «авторами», оканчивались неудачно. Подлинный поэт – человек. «Автор» не умеет нравиться. В «Сталкере» я пытаюсь перевести внимание с внешних проблем на внутренние, связанные с проблемами верности человека самому себе, своему внутреннему идеалу. Проблема веры как проблема взаимоотношения личности и идеала, заключенного в жизни человечества. Это проблема активизма что ли. Мне кажется, человек зашел в тупик от того, что захотел решать свои проблемы материальным способом. Это не решение проблемы. До тех пор, пока человек не будет развиваться гармонически, пока он не будет развиваться внутренне, духовно, он не будет развиваться вообще, и судьба его будет трагической.

### *Самое страшное*

Я ощущаю незащищенность человека, и свою в том числе, перед лицом враждебного мира и особенно перед лицом враждебно настроенного *отдельного* человека. Мне кажется, это самое страшное. Самое страшное, что может быть, – это столкновение человека с насилием, то есть со злом, которое несет в себе другой человек. Это мне кажется самым страшным.

На экране возникают кадры из «Андрея Рублева»: страшный кадр казни скomorоха, которого два стражника молча выводят из

церкви и тут же, у паперти, с силой грохают головой о дерево. Затем кадры азиатской расправы с инакомыслящими – вливают в рот кипящую смолу, пытки на дыбе, колесование... Русь времен междуусобиц.

*It's hard to say...*

– Боюсь ли я старости? *It's hard to say...* Нет, пожалуй, я не боюсь старости... Я могу бояться болезней, могу бояться физической старости. Конечно, старость опасна тем, что мы постепенно умираем. Что такое старость? Это постепенное приближение смерти. Но, в принципе, старость имеет свои прелести, на мой взгляд. Мне кажется, что то, что доступно старому человеку в смысле его восприятия мира, его терпимости, его опыта, недоступно молодому. То есть мне кажется, что старость имеет свои достоинства, незаменимые достоинства, которые невозможно испытать, будучи молодым.

Пугает ли меня смерть? По-моему, смерти вообще не существует. Существует какой-то акт, мучительный, в форме страданий. Когда я думаю о смерти, я думаю о физических страданиях, а не о смерти как таковой. Смерти же, на мой взгляд, просто не существует. Не знаю... Один раз мне приснилось, что я умер, и это было похоже на правду. Я чувствовал такое освобождение, такую легкость невероятную, что, может быть, именно ощущение легкости и свободы и дало мне ощущение, что я умер, то есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть. Существует только страдание и боль, и часто человек путает это – смерть и страдание. Не знаю. Может быть, когда я с этим столкнусь впрямую, мне станет страшно, и я буду рассуждать иначе... Трудно сказать.

*Счастье и слезы*

Счастье связано с моим детством. Когда я жил с мамой на хуторе, под Москвой, – я вспоминаю это время как огромное счастье. Это было очень счастливое для меня время, потому что я был еще ребенком, был

связан с природой, мы жили в лесу. Я чувствовал себя совершенно счастливым. Потом уже я не чувствовал ничего подобного.

Когда мама умерла, я почувствовал себя очень одиноким. Может быть, впервые я почувствовал тогда, что она была самым близким человеком в моей жизни. К тому времени мы жили довольно разобщенно и отдаленно друг от друга. Я плакал тогда, когда умерла моя мама, но и то мне кажется, что это было не столько связано с жалостью по отношению к моей маме, умершей от тяжелой болезни, – казалось бы, наоборот, я должен был радоваться, что она перестала мучиться, – сколько жалостью к самому себе, то есть я плакал в тот момент от эгоизма что ли, оттого, что я почувствовал себя в тот момент совсем одиноким – я потерял самого близкого для себя человека. Слезы – в конечном счете, символ эгоизма.

Когда я думаю о женщинах вообще, я не понимаю, почему они требуют к себе равного отношения, борются за равенство... По-моему, самое важное для женщины, чтобы она оставалась женщиной. Красота женщины – в ее сущности, в том, что она сохраняет свое существо. Ее свойства – слабость, женственность, любовь. Я считаю женщину не только равной мужчине, но и лучше его, но только в том случае, если она останется женщиной во всем. Тогда она вызывает во мне большое уважение и любовь. Впрочем, в любви я чувствую себя скорее потрясенным, чем счастливым...

– А сейчас, счастлив ли ты? – слышится за кадром голос режиссера и продюсера этого фильма итальянки Донателлы Баливо.

– Нет, – задумчиво говорит человек, удаляющийся от нас по берегу Тибра под нарастающую музыку «Лебединого озера».

Так заканчивается этот необычный фильм-монолог, заглянувший во внутренний мир большого художника в момент принятия им нелегких решений проникновенно и нежно. Автор фильма, не допустив ни одной погрешности в своей ювелирной работе, понимает, что Андрей Тарковский, покинув отечество, выбрал свободу без счастья.

За 24 года работы в советском кинематографе Тарковскому решили снять всего шесть картин. «Это значит, – говорил он на пресс-конференции в Милане 10 июля 1984 года, – что из 24 лет 18 я фактически был безработный». Единственным искуплением для него в этом случае действительно, как сказал Мстислав Ростропович, может быть только творческий труд.

Пожелаем ему счастья на новом пути!

Публикация и комментарий  
Александра Гершковича  
(Бостон, США)

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: СВОБОДНОЙ ПРЕССЕ,  
ИНТЕРНАЦИОНАЛУ СОПРОТИВЛЕНИЯ.**

Стало распространяться мнение, будто Сахаровых уже нельзя спасти, будто все средства борьбы уже испробованы, будто силы исчерпаны. Это ложь. Более того, в данной ситуации игра в «пессимизм», безверие – означает предательство.

Более 15 лет назад мне с братьями пришлось начать борьбу за спасение родителей (Леонарда и Любы Бройде-Трэппер). После всех голодовок, акций международного Комитета Защиты, «пессимисты» говорили: «Борьба безнадежна, СССР не позволит Польше выпустить ваших родителей, руководивших антифашистским «Красным Оркестром», – им известны военные секреты!» Но какие же, к черту, «военные секреты» – спустя десятилетия после окончания войны?!

Инквизиторский жупел «секретности» используется сегодня и против Сахарова, хотя он уже 20 лет не имеет «доступа к верхам»... Игра в «секреты» нужна для того, чтобы обвинять людей в «предательстве», разжигать ненависть толпы! Против нашей семьи тоже использовалась дикая клевета, и по сегодняшний день ведется травля, – это стало «закономерностью»... Но мы победили: помогли бойцы Сопротивления, сенатор Джексон, многие другие, – тогда удалось спасти многие тысячи людей, Солженицына, Буковского, Григоренко... Сегодня можно обобщить опыт борьбы многих поколений (я пытался это сделать в повестях «Воля», «1988», «Восстание» и др.). Но сейчас за «секретность» убивают Сахаровых, хотя все советские «секреты» давно протухли... Кроме одного: коммунизм окончательно обанкротился, держится только надеждой на «удачную» войну, на геббельсовскую пропаганду. Тысячи самых талантливых людей России – гниют в лагерях (вспомните хотя бы Бородину, Ратушинскую, Мейлаха). Коммунистический фашизм загнал в подполье польскую «Солидарность», душит любые реформы, готвит миру новые Афганистаны...

Если мы сегодня позволим безнаказанно убить Сахаровых, людей с мировой известностью, то завтра возродится сталинщина, – вот уже и Молотова лобызают в Кремле... Пока не поздно, Запад должен остановить мордование Сахаровых, – прервать дипломатические и торговые отношения с убийцами, закрыть советские посольства, за каждого советского политзаключенного – арестовать советских агентов (их здесь десятки тысяч – безнаказанно «работающих»).

Если мы сегодня не спасем Сахаровых, то завтра вместо Свободного Мира – будет всемирный ГУЛag. Но сейчас еще силы Сопротивления – неисчерпаемы, еще есть вера. И я верю, что неизбежно настанет время, когда все коммунистические главари будут судимы Новым Нюрнбергским Процессом, а их «идеология» будет осуждена как людоедская.



# Содержание №№ 31-40

## ПРОЗА

*Эмма Андиевская.* Джалапита. Пер. с украинского *Моисея Фишбейна.* XXXVIII – 62.

*Филипп Берман.* Квадрат. XXXVII – 89. (Круг рассказчиков).

*Ирена Брежна.* Последнее собрание. Авторизованный пер. с немецкого. XXXVII – 74. (Круг рассказчиков).

*Борис Брикер, Анатолий Вишевский.* Собачье дело. Маленькая повесть. XXXV – 83.

*Юрий Гальперин.* За окном и под окнами. XXXII – 42. (Круг рассказчиков); Болезнь. Рассказ. XXXVI – 87. (Круг рассказчиков).

*Леонид Гиршович.* Прайс. Главы из книги. XL – 88.

*Пауль Гома.* Кубическое яйцо, или Страсти по-питештски. (Глава из книги). Пер. с румынского *Рената Лесник.* [С предисл. «От переводчика»]. XXXIV – 15.

*Фридрих Горенштейн.* Муха у капли чая. Повесть. XXXV – 24, XXXVI – 107; Куча. Повесть. XXXIX – 150.

*В. Денисов.* Выбор истории. История, случившаяся в день выборов. XXXVIII – 83.

*Милован Джилас.* Чужие времена. Пер. с сербско-хорватского *Н. Горбаневской.* XXXIII – 18.

*Сергей Довлатов.* Представление. XXXIX – 42.

*Л. Евгеньев.* Стихи и проза. XXXIV – 47.

*Александр Журжин.* Сон. Рассказ. XXXI – 7; Чучело. Фантастическая история с грустным концом. XXXVII – 18. (Круг рассказчиков).

*Марк Зайчик.* Феномен. XXXII – 166. (Круг рассказчиков); История. XXXVI – 67. (Круг рассказчиков); Крановщица Гладбах. XXXIX – 77.

*Александр Зиновьев.* Предостережение из будущего. (Мир после Третьей мировой войны). Социологический рассказ. XL – 19.

*Алексей Ковалев.* Случайное семейство. Главы из романа. XL – 40.

*Евгений Козловский.* Красная площадь. Повесть из цикла «Москвбургские повести». [Окончание. Начало см. в № 30]. XXXI – 57.

*Юрий Кашкаров.* Гроб из Луанды. XXXVI – 23. (Круг рассказчиков).

*Лев Консон.* Житейская мозаика. Короткие рассказы. XXXV – 163; Короткие повести. XL – 79.

*Лев Корнев.* Последнее дежурство лейтенанта Махлакова. Рассказ. XXXVIII – 15.

*Владимир Максимов.* Чаша ярости. Роман. Часть вторая. XXXII – 64.

*Юрий Милославский.* Лирический тенор. XXXII – 190. (Круг рассказчиков); Облава. XXXIX – 117.

*Михаил Моргулис.* Смерть вора. Рассказ. XXXI – 177.

- Лев Наврозов.* Из несостоявшейся книги 1968 г. XXXVII – 60. (Круг рассказчиков); *Стаканчики граненые.* XXXIX – 20.
- Эрнст Неизвестный.* Лик – лицо – личина. Глава из книги. XXXVII – 42.
- В. Нечаев.* Персональное дело. Отрывок из повести «Свет войны». XXXVIII – 38.
- Олег Орнальдо.* Привет беременным женщинам. Рассказ. XXXV – 126.
- Геннадий Покрасс.* Рассказы разжалованного моряка. XXXII – 7. (Круг рассказчиков); *Литературная поденщина.* – Ответчик – государство. XXXVII – 105. (Круг рассказчиков).
- Леонид Ржевский.* Малиновое варенье. XL – 152.
- Геннадий Русский.* Клейма. [Продолжение. Начало см. в №№ 22, 26]. XXXIII – 124. (К тысячелетию крещения Руси).
- Гелий Снегирев.* Где зарыта собака. (Подлинная быль). [С предисл. Виктора Некрасова]. XXXIII – 60.
- Александр Суконик.* Гостиница. XXXIV – 107. (У нас в гостях литература русской Америки).
- Леонид Чертков.* Небесные оркестранты. XXXVI – 51. (Круг рассказчиков).
- Александр и Лев Шаргородские.* Пережиток. XXXIII – 147.
- Душан Шимко.* В парикмахерской. Рассказ. Пер. со словацкого *Ефима Фиштейна.* XXXIV – 69.
- Людмила Штерн.* Васильковое поле. XXXIV – 145. (У нас в гостях литература русской Америки).

## СТИХИ

- Владимир Алейников.* Стихи последних лет. XXXII – 34.
- Елена Андропова.* Стихи из цикла «Крещение». XXXIII – 171.
- Василий Бетаки.* Пятый всадник. XXXIX – 142.
- Шломо Билга.* Триптих: воспоминание о Мещере. – Еврейское гетто: семь молитв. XXXVIII – 137.
- Ина Близнецова.* «Какую Вы знали – на той же, беспутной и древней...» [и др.]. XXXVI – 135.
- Дмитрий Бобышев.* Русские терцины. XXXI – 19; Звезды и полосы. XXXVI – 41.
- Леонид Бородин.* Стихи. XXXVIII – 127.
- Жорж Брассенс.* Песни. Пер. [с французского] и предисл. *Василия Бетаки.* XXXII – 182.
- Иосиф Бродский.* Пятая годовщина [и др.]. XXXVI – 7; Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова. XL – 7.
- Марат Векслер (Кармазов).* Стихи разных лет. XXXIII – 175.
- Александр Верник.* Памяти художника Ефима Ладыженского. Два стихотворения. XXXIII – 186; С Новым годом. XL – 143.
- Лия Владимирова.* Из третьей книги стихов. XXXII – 155; Сосны. XXXVII – 84.

- Михаил Волин. Стихи о душе. XXXI – 188.
- Виктор Ворошильский. Из новой книги стихов. Пер. с польского Н. Горбаневской. [С предисл. переводчика]. XL – 29.
- Сергей Гандлевский. Четыре стихотворения. XXXIX – 7.
- Михаил Генделев. Стансы Бейрутского порта. XXXVI – 143.
- Александр Глезер. Провансальская тетрадь (август 1983). [С предисл. Сергея Петруниса «Поколению „Оттепели“ – полвека. К 50-летию Александра Глезера»]. XXXIX – 27.
- Наталья Горбаневская. «Господи, Господи, ночь и туман...». XXXI – 3 стр. обложки; Песенка о непредвиденном. XXXIV – 3 стр. обложки; Стихи из книги «Переменная облачность». XXXVI – 61; «Муха бедная в январь...». XXXVIII – 3 стр. обложки; Стихи. Зима 1983/1984. XL – 83.
- Вадим Делоне. Неотправленное письмо. XXXIV – 88; Заметки к автобиографии. XXXVII – 126.
- Александр Донде. «Когда на исторической эмблеме...» [и др.]. XXXVI – 123.
- Вероника Долина. Песни. XXXIX – 14.
- Лев Друскин. Заплачу о неверии своем. XXXIII – 53.
- Л. Евгеньев. Стихи и проза. XXXIV – 47.
- Юрий Иофе Я иду по Парижу. (Из книги «Вне России»). XXXI – 185; Шотландские стихи. (Из книги «Вне России»). XXXIII – 188; И Африка мне не нужна. (Из книги «Вне России»). XXXIX – 71.
- Леонид Иоффе. Три стихотворения. XXXII – 61; Памяти П. Гольдштейна. XXXV – 174; «А где же я на солнечном портрете...» [и др.]. XXXIX – 147.
- Ян Кшиштоф Келюс. Песни. Пер. с польского Н. Горбаневской. Вступит. заметка Мирослава Хоецкого. XXXIV – 58.
- Анка Ковальска. Стихи из лагеря интернированных. Пер. с польского Натальи Горбаневской. XXXV – 19.
- Анатолий Копейкин. Поэма из двух частей. XXXIV – 79.
- Наум Коржавин. Поэма причастности. XXXIII – 135.
- Максим Кротов. Стихи из цикла «Семь портретов». XXXVII – 119.
- Юрий Кублановский. Иордань. XXXIV, – 36; Новые стихи. XXXVI – 102; 13 стихотворений. XXXIX – 30.
- Рина Левинзон. «Всё праздник для слуха и зренья...» [и др.]. XXXII – 55.
- Семен Липкин. Вячеславу. Жизнь переделкинская. XXXV – 7; Из книги «Кочевой огонь». XXXVII – 7.
- Инна Лиснянская. Из книги «Дожди и зеркала». XXXI – 157; Зимняя охота [и др.]. XXXIV – 7; На опушке сна. XXXVIII – 7.
- Лев Лосев. Десять стихотворений. XXXIV – 91. (У нас в гостях литература русской Америки); Из воспоминаний. XXXVIII – 76. [в XXXIV авт. псевдоним: Алексей Лосев].
- Симон Перельман. Лагерные стихи. XXXVIII – 34.
- Валерий Петроченков. «Своим глазам не веря... Что глаза...» [и др.]. XXXII – 159.

*Сергей Петрунис.* Новые стихи. XXXVII – 102.  
*Кирилл Померанцев.* «Пускай звенят, пускай летят пустыни...» [и др.]. XXXI – 183; Стихи 1983 года. XXXIX – 113.  
*Валентин Пападин.* Из книги стихов. XXXV – 157. [Фамилия автора ошибочно напечатана : Пападин].  
*Александр Радашкевич.* На смерть Александры Федоровны. (Из цикла «Тот свет») [и др.]. XXXI – 163; Из новых стихов. XL – 176.  
*Алексис Раннит.* Из новых стихов. Авторизованный пер. с эстонского Александра Радашкевича. XXXVI – 80.  
*Ирина Ратушинская.* Стихи. XXXV – 168.  
*Марлена Рахлина.* Генриху Алтуняну [и др.]. XXXVI – 147.  
*А. Семаков.* Песня скомороха. XXXIII – 7. (К пятой годовщине со дня смерти Александра Галича).  
*Алексей Семенов.* Стихотворения 1979 года... XXXVII – 70.  
*Александр Сопровский.* Встречный огонь. (Из второй книги стихотворений). XXXIII – 115.  
*Василь Стус.* Палимпсесты. Пер. с украинского *Н. Горбаневской.* XXXVII – 55.  
*Михаил Сухотин.* «Я жил в краю, где ничего не происходит...» [и др.]. XXXI – 171; Один в поле не воин [и др.]. XXXVII – 34.  
*Александр Фрадис.* Еще раз о снеге. XXXIII – 9. (К пятой годовщине со дня смерти Александра Галича).  
*Евгений Хорват.* Из цикла «Ходы». XXXIII – 181.  
*Леонид Чертков.* Пять стихотворений. XXXII – 58; Из английских и американских поэтов. (С предисл. «От переводчика»). XXXIX – 218.  
*Игорь Чиннов.* Четыре стихотворения. XXXIV – 180. (У нас в гостях литература русской Америки); Восемь стихотворений. XL – 145.  
*Борис Чичибабин.* Стихи разных лет. XXXV – 70.  
*Николай Шатров.* Из книги стихотворений. XXXII – 30.  
*Пьер Эмманюэль.* Книга Каина. Отрывки из поэмы. Пер. с французского *Н. Горбаневской.* XL – 73.  
*Томаш Яструн.* Белый луг. Поэтический дневник: 9 ноября – 23 декабря 1982. Пер. с польского *Н. Горбаневской.* XXXVIII – 53.

## РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

*Игорь Бирман.* Почему они нас не слушают... XXXV – 207.  
*Игорь Глиер.* Парадоксальная трагедия народовластия. XXXVIII – 145.  
*Александр Зиновьев.* Нашей юности полет. Главы из книги о природе сталинизма. XXXV – 176; Стабильно ли советское общество? XXXVII – 131.  
*Наум Коржавин.* А был ли Сталин-то? (Очерки о психологическом развитии советского большевизма). XXXIX – 235, XL – 183.  
«Очень могущественная организация...». Публикация *Марка Поповского.* XXXII – 203.

*Анастасия Поверенная.* Сойдя с трибуны. (Очерки о работе советского пропагандиста). XXXI – 189.

*Андрей Сахаров.* Фрагменты из автобиографической книги. XXXVI – 151.

*Борис Суварин.* Пьер Паскаль и сфинкс. Пер. с французского М. Геллера [С предисл. переводчика]. XXXIV – 185.

*Юрий Фельштинский.* Открытое письмо четырем публицистам. XXXIII – 191.

## ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

*Стефан Братковский.* Великое недоразумение. [Пер. с польского]. XXXVII – 151.

*Василь Гришко.* К проблемам русско-украинского диалога. XXXIII – 219.

*Малкица Дугеч.* Венцеслав Чижек – человек, мыслитель и страдалец. XXXIV – 210.

*Кшиштоф Ежевский.* Польша после папы. [Пер. с польского. С предисл. «От редакции»]. XL – 209.

*Арман Малумян.* «Армянский вопрос». [Пер. с французского]. XXXV-III – 167.

*Михайло Михайлов.* Достоевский против Канта. XXXVI – 163.

*Томаш Мяннович.* Перечитывая ныне «Победу провокации». [Пер. с польского]. XXXIX – 267.

*Александр Смоляр.* Парадоксы либерализации и революция в Польше. [Пер. с польского]. XXXI – 209.

*Сергей Солдатов.* Эстонский узел. Размышления о национальной судьбе и межнациональных отношениях. XXXII – 223.

*Петру Тильман.* Присказка и сказка. [Пер. с французского]. XXXV – 231.

*Йосеф Шкворецкий.* Жгучая тема. [Пер. с чешского]. XXXIII – 235.

## ЗАПАД – ВОСТОК

*Герман Андреев.* Изображение немцев в русской литературе. XXXIX – 285.

*Ален Безансон.* Второе молчание церкви. [Пер. с французского]. XXXVII – 181.

*Энцо Беттица.* Большая охота на тигра-крестьянина. [Публикуется с сокращениями]. Пер. с итальянского Ю. Мальцев. XXXIV – 226.

*Валерий Валюс.* Несколько переплетенных тем. XXXVIII – 181.

*Фридрих Горенштейн.* Идеологические проблемы берлинских городских туалетов (Реальные факты из области политической фантастики). XXXIII – 257.

*Гилберт Докторов.* Реформа царской цензуры. Пер. с английского Лариса Докторова. XXXVI – 177.

*Святослав Караванский*. Кто следующий? XXXVI – 219. (Носороги за работой).

*Джон Кип*. Нет, мы слушаем... XL – 231.

*Лев Наврозов*. Определение культуры. XXXV – 241.

*Ота Ульч*. Неприятный отчет об американской правовой практике. [Пер. с чешского. С послесл. «От редакции»]. XXXII – 241.

*Д. В. Фоккема*. Китайская литература после Мао. («Оттепель» в Китае и в СССР). [Пер. с английского]. XXXI – 239.

*Кирилл Хенкин*. Русские пришли! Глава из одноименной книги. [С предисл. редакции]. XXXIII – 287. (Носороги за работой).

## ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

*Михаил Агурский*. Клаус Барбье и Иван Дараган. XL – 239.

*Виктор Каган*. Маленькие истории. XXXIII – 307.

*Борис Каменецкий, Александра Александрова*. Бриллиантовая... рука (Из серии «Избранные»). XXXIII – 314; Исповедь женщины (Из серии «Избранные»). XXXVIII – 209.

*Махмет Керей (Махмет Кулмагамбетов)*. Как я стал строителем газотрубопроводов. XXXV – 271; Возвращенцы. XXXIX – 295.

*Лев Консон*. Скажи мне, где твой брат Авель? Свидетельство очевидца. XXXII – 274.

*Феликс Светлик*. Силезия, декабрь 1981. [Пер. с польского. С предисл. «От редакции»]. XXXII – 257.

*Яков Сусленский*. Очерки тюремной жизни. XXXVII – 197.

*Виктор Тростников*. Увольнение. XXXI – 261.

*Рафаэль Шапиро*. Заметки о стройке века. XXXVI – 231.

## ИСТОКИ

*Семен Бадаш*. Норильское восстание. (К тридцатилетию). Глава из воспоминаний. XXXVI – 251.

Две эпохи: события и случаи. Воспоминания *Т. А. Миллер*, урожд. Неклюдовой. [Лит. обработка *В. Нечаева*. Вступит. заметка «От редакции»]. XL – 251.

*Иосиф Ицков*. Одна из первых жертв Сталина. XXXVIII – 275.

*Кястутис Йокубинас*. Непобежденные. Пер. с литовского автора. XXXI – 295.

*Виктор Каган*. Заметки на полях. XXXVII – 229.

*Вальтер Ламе*. Ошибка, которая хуже преступления. [Пер. с немецкого. С предисл. «От редакции»]. XXXII – 299.

*Наталья Михозлс-Вовси*. Лебединая песнь Михозлса. XXXIII – 323.

*Татьяна Штейншнайдер*. Рай, которого не было. (Последние годы *Е. М. Куприной*). XXXV – 303.

## РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

*Яков Виньковецкий.* Врата Рая. XL – 327.

*Амос Оз.* Тень, свет и любовь. Из новой книги «На земле Израиля». Пер. с иврита *Виктора Радуцкого.* XXXIX – 347.

## РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

*Юрий Мамлеев.* Духовное возрождение в России и современная цивилизация. XXXIX – 323.

*Вадим Янков.* Нации и национализм. XXXII – 287.

## ФИЛОСОФИЯ

*Герман Андреев.* Два пророка: Карл Маркс и Федор Достоевский. XXXVI – 263.

*Вацлав Белоградский.* Бегство из птидэпэ. Пер. с чешского *Ефим Фиштейн.* XXXVIII – 257.

*Борис Парамонов.* Согласно Юнгу. XXXVII – 263.

## ИСТОРИЯ

*Мира Блинкова.* Волхонка, 14 – Дмитрия Ульянова, 19. XXXVIII – 221.

## ИСКУССТВО

*Александр Гершкович.* В театре на Таганке, с утра до вечера. XXXVIII – 285.

*Александр Глезер.* Современное мировое искусство и русская неофициальная живопись. XXXV – 353.

*Гавриил Гликман.* Шостакович, каким я его знал. XXXVII – 361; XXXVIII – 319.

*Тимофей Дмитриев.* Размышления с кистью в руках... XXXII – 318.

*Вячеслав Завалишин.* Смешное в великом и великое в смешном. XXXIX – 355.

*Иван Маркадэ.* «Невиданное доселе племя...» (Творчество Олега Целкова). XXXIII – 365.

*Владимир Тетерятников.* Мистификация русской культуры на Западе. История и разоблачение американской коллекции русских икон Джорджа Ханна. [С предисл. «От редакции»]. XXXIV – 261; Профессорская вакханалия вокруг русской культуры. Еще одна коллекция фальшивых русских икон. XL – 335.

*Семен Черток.* Человек и художник. XXXIII – 353.

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

*Василь Барка*. По ту сторону бездны. (Трагическая лирика Павло Тычины). [Сокращенный пер. с украинского Татьяны Житниковой]. XXXI – 313.

*Яков Виньковецкий*. Быть живым. (Памяти Бориса Вахтина). XXXV – 346.

*Лев Друскин*. Юрий Сергеевич Рытхеу. Глава из книги «Самолет улетает на чужбину». XXXVIII – 355.

*Эмиль Коган*. Совращение совратителя. (Заметки о «Ленине в Цюрихе»). Глава, не вошедшая в книгу «Соляной столп». XXXIV – 305.

*Юрий Мальцев*. Забытые публикации Бунина. XXXVII – 337.

*Марран*. Булат Окуджава и его время. XXXVI – 329.

*Адам Михник*. Пушкин и русские глазами польского писателя. [Пер. с польского]. XL – 363.

*Жорж Нива*. Русский роман и его предреволюционные «сынки». XXXIII – 333.

*Борис Парамонов*. Частная жизнь Бориса Пастернака. (Заметки о романе «Доктор Живаго»). XXXV – 315.

*Геннадий Покрасс*. «Все пропьем, но флот не опозорим...». XXXIX – 367.

*Александр Сопровский*. Конец прекрасной эпохи. XXXII – 335.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

*Михаил Волин*. Русские поэты в Китае. XXXIV – 337. [Исправление см. XXXVI – 359].

К истории самоцензуры в «Новом мире». XXXII – 362.

Листки из альбома. Публикация *Л. Черткова*. XXXI – 335.

Неопубликованные стихи *Георгия Иванова*. Публикация *Кирилла Померанцева*. XXXIII – 351.

*Жорж Нива*. Забытая заметка Блока о «Двенадцати». XXXII – 355.

## ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

*Э. Штейн*. Шахматные «позывные» радиостанции «Голос Америки». XXXII – 311. (Носороги за работой).

## СПОРТ И ПОЛИТИКА

*Исер Куперман*. Годы борьбы. XXXVI – 289; XXXVII – 295.

*Эммануил Штейн*. Три годовщины. XXXVI – 316.

## ПАМЯТИ УШЕДШИХ

*Сергей Григорьянц*. Слово о Варламе Шаламове. XXXIV – 330.

*Владимир Максимов*. Мой друг Петр Равич. XXXIV – 322.



## КОЛОНКА РЕДАКТОРА

- Мистика социализма. XXXI – 345.  
Горе от ума. XXXII – 365.  
Понемногу о разном. XXXIII – 375.  
Сквозь плен логократии. XXXIV – 359.  
Тоталитарный паноптикум. XXXV – 371.  
О психологическом единоборстве. XXXVI – 355.  
Скорбь не по адресу. XXXVII – 383.  
Война без правил. XXXVIII – 375.  
Кое о чем из журнальной практики. XXXIX – 391.  
Нечто юбилейное. XL – 381.

## НАША ПОЧТА

- Группа христианской молодежи России (православные и баптисты)*. Открытое письмо в журнал «Континент». XXXI – 341.  
*Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)*. Открытое письмо редактору «Континента». XXXII – 369; *М. Хейфец*. [Ответ на письмо г-на Хайбулина]. XXXII – 372; *Э. Кузнецов*. [Письмо В. Е. Максимову по поводу письма иеродиакона Варсонофия]. XXXII – 376; *Э. Штейн*. [Письмо в редакцию]. XXXII – 379.  
*Редакция*. Авторам открытого письма в «Континент» П. Подрабинеку, И. Промыслову, В. Гершуни, Т. Трусовой, В. Гриневу, Ю. Дикову. XXXIII – 373;  
*N & друзья*. [Письмо из Югославии Сергею Рапетти и сотрудникам «Континента»]. XXXIII – 374.  
*Юлиус Телесин*. Письмо в редакцию. XXXIV – 365; *Ю. Фельштинский*. [Письмо в редакцию]. XXXIV – 368.  
*Зинаида Шаховская*. Главному редактору «Континента» В. Е. Максимову. XXXV – 375.  
*Э. Штейн*. Письмо в редакцию. XXXVI – 359.  
*Александр Глезер*. По поводу «раскаянья» Валерия Репина. XXXVI – 361; *Игорь Бирман*. [В. Е. Максимову]. XXXVI – 363.  
*Дора Штурман*. Письмо в редакцию журнала «Континент». [С «примеч. редакции»]. XXXVII – 387; *К. Любарский*. [В. Е. Максимову]. [С послесл. «От редакции»]. XXXVII – 393.  
*Э. Орловский*. [В. Е. Максимову]. XXXVIII – 379.  
*Юрий Иофе*. В тени Достоевского. XL 385; *Р. Рожковская*. [В. Е. Максимову]. [С послесл. «От редакции»]. XL – 395; *Святослав Караванский*. [В. Е. Максимову]. XL – 398.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Михаил Агурский*. Будет ли всемирная катастрофа? XXXI – 349; По следам Сталина. XXXVII – 405.  
*Герман Андреев*. Симптомы «бурбонизма». XXXI – 374 [см. Содержа-

ние, XXXI – 6 и Исправление, XXXII – 363]; Терапия нигилистической ментальности. XXXVIII – 416.

*В. И. Чужая душа...* XXXIV – 399.

*Василий Бетаки.* Апология автологии. XXXI – 353; «Сироты власти Петровой». XXXII – 404; Остановись, мгновенье. XXXV – 384.

*В. Богатырев.* Через шестьсот лет. XXXI – 370.

*Е. Брейтбарт.* Взглянуть себе в лицо. XL – 401.

*Борис Брикер.* Все перепуталось... XXXIX – 395.

*Борис Вайль.* Наказание страданием. XXXIII – 400; Леса будущего здания. XXXVI – 386.

*Сергей Голлербах.* «Мастера запятых» и мастер синтеза. XXXVI – 376.

*Н. Горбаневская.* Ответы на вопросы о России. XXXII – 400; Благодарение за поэта. XXXIII – 386; Есть ли у нас «союзники»? XXXIV – 402; Объяснение в любви. XXXV – 403.

*Т. Горичева.* Круги ада. XXXVI – 382; Философ нашего века. XXXIX – 398.

*Игорь Ефимов.* Общежитие для иностранцев. XXXV – 377.

*Виолетта Иверни.* Островная утопия. XXXI – 365; «Это моя исповедь». XXXII – 381; ... Через Лету. XXXIV – 406.

*И. Иловайская.* Что же случилось с Россией?... XXXVII – 395.

*Виктор Каган.* Фольклор Архипелага ГУЛАг. XXXII – 391; Свидетельства создателя. XXXVI – 370; Отщепенец – свидетель. XXXIX – 408.

*Л. Козлова.* Род Толстых. XXXII – 387.

*Анатолий Копейкин.* Заметки о шестой книге Иосифа Бродского. XXXVIII – 387; Право на туземность. XXXIX – 403.

*Юрий Кублановский.* Вне поэзии. XXXVII – 429; «За целебным ядом слова»... XXXVIII – 404.

*Андрей Лишке.* Умные записки музыканта. XXXVIII – 399.

*Л. Лосев.* Поэзия как добродетель. XXXVII – 415.

*М. М. Двудликий Янус.* XXXIV – 379; Вышел сеятель сеять... XXXVII – 401.

*Юрий Мальцев.* Загадочный курьез. XXXI – 361; Душевные болезни бездушного мира. XXXIII – 390; Человек двух веков. XXXIV – 375.

*Ю. Милославский.* О романе Юза Алешковского «Карусель». XL – 409.

*А. Минский.* Интервью с мастерами. XXXIV – 388.

*М. Михайлова.* Чистый ручей. XXXIV – 394; Развенчанное божество. XXXV – 380; Профсоюзы по-советски. XXXVI – 393; Для обезьяны во всем виновато зеркало. XXXVII – 425.

*Майя Муравник.* Кричащая память. XXXI – 358; Секреты великой утопии. XXXII – 392; Талант и отвага. XXXIII – 396; Бой кровавый, святой и правый. XXXIV – 371; Мир писателя сокровенного. XXXVI – 365; Коллективное единомыслие как феномен нашего времени. XXXVII – 408; Сидеть, поскрипывая перышком... XXXVIII – 409.

*Вадим Нечаев.* 16 республика СССР. XXXVIII – 425.

*Алексис Раннит.* Заметка о двух книгах Василия Бетаки. XXXIII – 393.

*Кира Сапгир.* В фокусе вогнутого зеркала. XXXV – 388; «...Так всякий знак толкает на поверье...». XXXVI – 397; Правда о беде. XXXVIII – 412.

*А. Сумеркин.* Познание поэзией. XXXV – 393.

*Михаил Таранов.* Выживание. XXXVI – 400.

*Алексей Татаринov.* «...И алчет, и жаждет мой голос...». XXXVII – 420; «Если вправду сказать – я по крови домашний сверчок...». XXXVIII – 394.

*Михаил Ульман.* Его личное дело. (О прозе Бориса Вахтина). XXXIII – 381.

*М. Хейфец.* Жалейте сильных! XXXIV – 382.

*Г. Юрьев.* Смелая книга. XXX – 398.

## КОРОТКО О КНИГАХ

*Николай Зернов.* Закатные годы. – Россия в эпоху реформ. Сборник статей. – Андрей Самохин. Китайский круг России. – Л. Ч. Сергей Клычков. Книга жизни и смерти. XXXI – 382.

*Ален Дюбуа.* Рисовое поле варваров. – Ф. Незнанский, Э. Тополь. Журналист для Брежнева, или Смертельные игры. Детектив. – Рина Левинзон. Снег над Иерусалимом. – Виктор Кривулин. Стихи. XXXII – 409.

*Владимир Рыбаков.* Тавро. – Михаил Генделев. Послания лемурам. – Илья Сулов. Рассказы о товарище Сталине и других товарищах. XXXIII – 407.

*Г. Флоровский.* Пути русского богословия. – Русскоязычный Нью-Йорк. 1982. XXXIV – 413.

*С. Довлатов.* Зона. – Л. Чертков. История тифлисского авангарда. – Эдуард Кузнецов. Броня Бен-Яков. Словарь арго ГУЛага. XXXV – 407.

*Илья Сулов.* Выход к морю. – Дора Штурман. Мертвые хватают живых (Читая Ленина, Бухарина и Троцкого). – Николай Росс. Врангель в Крыму. – Александр Давыдов. Воспоминания. XXXVI – 405.

*Юрий Одарченко.* Стихи и проза. – Владислав Ходасевич. Собрание стихов. XXXVII – 436.

*В. Каган.* К. Криптон. Осада Ленинграда. XXXVIII – 431.

*Семен Резник.* Дорога на эшафот. – Г. С. Агабеков. ЧК за работой. – Сергей Довлатов. Наши. – Владимир Нарбут. Избранные стихи. – Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. XXXIX – 413.

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

*Андрей Метковский.* «Начни издавать журнал для преследуемых писателей...», («Index on censorship», 1981, No. 50); Специальные номера «Либерасьон» и «Альтернативы», посвященные Польше. XXXI – 390.

*Л. Ч.* Вестник Русского Христианского Движения, № 135, III – IV 1981; *М. М.* По небу полуночи ангел летел... (Евгений Евтушенко. «Ягодные места». – «Москва», 1982, №№ 7, 8). XXXII – 417.

*Л. Ч.* Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften e.V. Mitteilung N 17 (1980), N 18 (1981); *Бронислав Вильдштейн.* «Контакт» – новый польский журнал. XXXIII – 415.

*М. М.* Взглянуть и понять. («Обозрение», № 1, октябрь 1982); *М. Вайнштейн.* Слепительная мечта, или Роман-пародия. («Молодая гвардия», 1980, №№ 3 – 6). XXXIV – 416.

*Радослав Новак.* «Литературные тетради» – новый польский литературный журнал за границей. («Zeszyty Literackie», Nr. 1, 1982). XXXVI – 419.

*В. К.* Окно с Запада. («Abstracts of Soviet and East European Emigre Periodical Literature» [ASEEPL]). XXXVIII – 437.

*Кира Сапгир.* «Стрелец» «Третьей волны». («Стрелец», 1984, № 1). XL – 415.

## НАША АНКЕТА

Интервью с *Надеждой Яковлевной Мандельштам.* [С предисл. *Элизабет Де Монти* «От интервьюера» и послесл. редакции]. XXXI – 393.

Встреча с *Михаилом Шемякиным.* Беседу ведет искусствовед *Белла Езерская.* XXXII – 425.

Влияние польских событий на СССР и страны Восточной Европы. Круглый стол журналов «Контакт», «Континент», «Бъдеще» и «Сведецтви». XXXIII – 423.

«Русский пожар». Разговор с директором итальянской газеты «Иль Джорнале нуово» *Индро Монтанелли* ведет публицист *Дарио Стаффа.* Пер. с итальянского *Юрий Мальцев.* XXXIV – 432.

Интервью с *Аркадием Шевченко.* Взял интервью *Юрий Ольховский.* XXXV – 413.

Интервью с *Максимом Шостаковичем.* Взял интервью *А. Мирчев.* XXXVI – 425.

*Владимир Войнович.* О литературе разрешенной и написанной без

разрешения. (Из материалов открытой редколлегии «Континента» в Милане «Континент культуры»). XXXVII – 439.

«Простите им, ибо не ведают, что творят...». Беседа с *Армандо Вальядаресом*. Беседу вела *Ольга Свинцова*. XXXVIII – 439.

Балерина. Интервью с *Натальей Макаровой*. Взял интервью *А. Мирчев*. XXXIX – 425.

«Континенту» – 10 лет. *Абдурахман Авторханов*. – *Василий Аксенов*. – *Ценко Барев*. – *Николас Бетелл*. – *Энцо Беттица*. – *Иосиф Бродский*. – *Владимир Буковский*. – *Армандо Вальядарес*. – *Галина Вишневская*. – *Ежи Гедройц*. – *Густав Герлинг-Грудзинский*. – *Корнелия Ирина Герстенмайер*. – *Пауль Гома*. – *Петро, Зинаида, Андрей Григоренко*. – *Милован Джилас*. – *Ирина Иловойская-Альберти*. – *Святослав Караванский*. – *Роберт Конквест*. – *Лев Консон*. – *Наум Коржавин*. – *Эдуард Кузнецов*. – *Николаус Лобковиц*. – *Алоиз Мертенс*. – *Эрнст Неизвестный*. – *Жорж Нива*. – *Алексис Раннит*. – *Мстислав Ростропович*. – *Андрей Седых*. – *Мирослав Хоецкий*. XL – 419.

## РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*Василий Аксенов*. В защиту писателя [Евгения Козловского]. XXXI – 56.

«Русская мысль». Скончался Шаламов. XXXI – 176.

Некролог. [Памяти Бронюса Лауринавичюса]. XXXI – 208.

Правление Русского свободного университета им. А. Сахарова. Обращение. XXXI – 238.

«Грицане Кавур» – русскому писателю [Владимиру Максимову]. XXXI – 294.

[Исправление]. XXXI – 340.

Фонд помощи советским политзаключенным. XXXI – 344.

Содержание журнала «Континент» за 1977–1981 гг. (№№ 11-30). XXXI – 405.

*В. Некрасов* [и др.]. Снова Польша. XXXI – 4 стр. обложки.

*Владимир Максимов*. Баллада о Гадком утенке. Произнесено при вручении премии «Грицане Кавур». XXXII – 41.

[«Континент»]. [Памяти Петра Равича]. XXXII – 154.

Временная координационная комиссия НСПС «Солидарность». Заявление о формах и методах деятельности. XXXII – 202.

*Владимир Максимов*. Анна Равич. [Некролог]. XXXII – 240.

*Мстислав Ростропович*, *Галина Вишневская*. К 70-летию Акселя Шпрингера. XXXII – 273.

*И. Бродский* [и др.]. К выходу Сахаровского сборника по-итальянски. XXXII – 298.

*Наталья Горбаневская*. Письмо в Россию. (К 75-летию Л. К. Чуковской). XXXII – 354.

[Исправление]. XXXII – 363.

*Стефан Маринов.* Письмо председателю Государственного совета Народной Республики Болгарии Тодору Живкову. XXXII – 364.

*Василий Аксенов* [и др.]. Нобелевскому комитету в Осло. XXXIII – 52.  
*Владимир Максимов.* Отдать ли кесарю душу? [«Арестована Зоя Крахмальникова...»]. XXXIII – 305.

О наших новых членах редколлегии (И. А. Иловайская-Альберти. – В. П. Аксенов). XXXIII – 306.

*Редакция журнала «Культура».* Нобелевскую премию Мира – Валэнсе. XXXIII – 405.

«Континент». [Владыке Иоанну архиепископу Сан-Францисскому исполнилось 80 лет]. XXXIII – 406.

*Владимир Максимов.* Члену редколлегии Норвежского «Континента», Председателю Нобелевского комитета норвежского стортинга проф. Джонсу Саннесу. XXX – 414.

«Континент». [Письмо П. Г. Григоренко к его 75-летию]. XXXIII – 3 стр. обложки.

*Аксель Шпрингер.* Мертвый в Кремле. [На смерть Л. Брежнева]. XXXIV – 184.

Сахаровское слушание. Обращение [Исполнительного Комитета]. XXXIV – 358.

[«Континент»]. [А. А. Зиновьеву исполнилось 60 лет]. XXXIV – 412.

«Континент». [«Умер Петр Якир...»]. XXXIV – 438.

«Континент». Наследство голого короля. [«Умер Леонид Брежнев...»]. – XXXIV – 4 стр. обложки.

*В. Д. Самарин.* Защитить Ростислава Евдокимова! XXXV – 302.

«Континент». «Дыша острожными ночами...» [Приговор Ирине Ратушинской]. XXXV – 352.

*Татьяна и Эдуард Лозанские.* Благодарность соотечественникам. XXXV – 369.

*Михаил Кельбер.* Памяти Бориса Георгиевича Бажанова. XXXV – 374.

«Континент». На 77-м году жизни умер Валерий Яковлевич Тарсис. XXXV – 412.

«Континент». Телеграмма Елене Боннэр. XXXV – 3 стр. обложки.

*Редакция «Континента».* [К 60-летию Елены Боннэр]. XXXV – 3 стр. обложки.

*Редакция «Континента».* [Обращение к читателям]. XXXVI – 3 стр. обложки.

*Аксель Шпрингер.* Владимиру Максимову, «Континент». XXXVI – 4 стр. обложки.

Обращение Комитета спасения советских пленных в Афганистане. XXXVII – 195.

Милован Джилас. Симпозиуму «Континента», Милан. Владимиру Максиму и друзьям «Континента». XXXVII – 227.

Милован Джилас. Культура и общество. XXXVII – 227.

Виктор Спарре. [Участникам голодовки солидарности с А. Д. Сахаровым]. XXXVII – 446.

Галина Вишневская, Мстислав Ростропович. Открытой редколлегии «Континента» в Милане. XXXVII – 3 стр. обложки.

«Континент», «Русская мысль». Остановилось сердце... [Памяти Вадима Делоне]. XXXVII – 4 стр. обложки.

«Континент». Памяти Раймона Арона. XXXVIII – 116.

Вечер «Континента» в Нью-Йорке. Телефонogramмы Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской; Василия Аксенова. XXXVIII – 180.

А. Левитин-Краснов. [Скончался В. М. Шавров]. XXXVIII – 208.

Памяти друзей. (С. А. Левицкий). XXXVIII – 386.

Эд. Х. Т. М. Нейпелс. В защиту Ирины Гривниной. XXXIX – 284.

Эдуард Кузнецов [и др.]. Обращение бывших советских политзаключенных в Международный ПЕН-клуб. XXXIX – 322.

«Континент». Памяти о. Александра Шмемана. XXXIX – 346.

Интернационал Сопротивления против газеты «Юманите». XXXIX – 394.

Объединенный комитет спасения Сахарова. Обращение. XXXIX – 444.

Интернационал Сопротивления. [О Елене Боннэр-Сахаровой]. XXXIX – 3 стр. обложки.

Юзеф Чапский. [«Континенту»]. XL – 18.

Александр Глезер, Сергей Петрунис, Виталий Длуги. [«Континенту»]. XL – 28.

Александр Гинзбург. [В. Е. Максиму]. XL – 144.

«Континент». Умер Олекса Тихий. XL – 151.

«Русская мысль». [«Континенту»]. XL – 181.

Г. Владимов. Владимиру Максиму. XL – 182.

Индро Монтанелли. [В. Максиму]. XL – 238.

Редакторы журнала «Эхо». К десятилетию «Континента». XL – 249.

Издательство «Третья волна». [«Континенту»]. XL – 250.

Джордж Тейнер. [«Континенту»]. XL – 324.

Александр Некрич. [В. Е. Максиму]. XL – 325.

Юз Алешковский [и др.]. [Памяти Якова Виньковецкого]. XL – 326.

Магазин и издательство «Руссика». Владимиру Максиму. XL – 362.

Премии Солидарности в области культуры. XL – 384.

Парижский представитель организации и журнала «Неподлеглоць». [«Континенту»]. XL – 3 стр. обложки.

Мстислав Ростропович об Андрее Сахарове. XL – 4 стр. обложки.

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ**  
(Отдельная пагинация)

Заявление *Карла Гершмана*, представителя США в Третьем комитете ООН, по вопросу о праве на самоопределение. XXXI – 3.

Выступление *Карла Гершмана* в дискуссионном порядке, в ответ странам советского блока. XXXI – 6.

Заключительный ответ *Карла Гершмана* на атаку представителей 13 стран советского блока. XXXI – 9.

Эмигрантский «самиздат». XXXII – 3.

*Андрей Сахаров*. Участникам Пагуошской конференции. Открытое письмо. XXXIII – 3 (Сахаровское слушание).

[*Галина Вишневская* прощается с оперной сценой]. – XXXIV – 3.

*Георгий Владимов*. Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову. XXXV – 3.

«Континент». Памяти Артура Кестлера. XXXV – 8.

*Узники лагеря 36-Кучино Генрих Алтунян* [и др.]. Открытое письмо Папе Римскому Иоанну-Павлу II. XXXV – 9.

Интернационал Сопrotивления. XXXVI – 3.

Вышла в свет книга Е. Наклеушева «К единому знанию», подзаголовок: «Набросок метафилософии-метанауки-метарелигии». Цена книги 12, 5 долларов включая пересылку. Желавшие могут направлять заказы по адресу: I. Nakleushev, 626 Water St., Apt. 6 E. N.Y., N.Y. 10002, USA.



## *Специальное приложение*



## К ВОПРОСУ О ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТРУПОВ

Какими-то пятнами память выхватывает из прошлого бытия, из моей советской жизни, отдельные факты. Вот, например, помню, что учили меня в Московской консерватории, помимо музыки, марксизму-ленинизму (это обязательно для всех студентов СССР).

Сдавал экзамены, получал отметки, но по выходе с экзамена стиралось всё из памяти со сверхзвуковой скоростью. Остались в памяти огрызки названий каких-то книг и статей, какие-то уклоны (кажется, правые), какие-то болезни (кажется, левизны), и много работ назывались «К вопросу о...».

Посмотрел я сейчас в энциклопедию – один только Сталин написал множество статей с названием «К вопросу...». Видать, у классиков марксизма было много вопросов. Когда я жил там, у меня тоже было много вопросов и мало ответов.

Теперь наоборот: возникает вопрос, и я радуюсь. Ищу ответ и очень часто нахожу. И все же один вопрос у меня созрел, а ответа нет. Вопрос, адресованный «туда», и касается он перетаскивания трупов и внутри страны (Сталин), и, так сказать, снаружи.

За время моего 10-летнего изгнания из СССР уже второй знаменитый труп перетаскивают (первым был А. Глазунов, вторым – Ф. Шаляпин). И всё из Франции.

Еще кое-что русское лежит на кладбищах Франции. Например, Луначарский – на Лазурном берегу. Лежит спокойно. Не охотятся за ним: на кой чёрт им еще один министр культуры! И хотя, говорят, о вкусах не спорят, но на трупы вкус у советского правительства – отличный! Когда же объект еще живой – вкус очень подводит. Именно поэтому приходится исправлять свой вкус хотя бы и через пятьдесят лет, делая при этом вид, что советская земля прощает своих блудных сыновей.

Даже уже лежащих на советских кладбищах прощают, ибо они больше своим творчеством не ставят проблем перед тупым руководством и не сопротивляются.

Лежат прощенные Достоевский (хотя до сих пор не полностью напечатаны его дневники, да и переписка печатается с изъянами), Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Булгаков, Пастернак, Зощенко, Ахматова. И вот теперь «простили» и Шаляпина. Много я читал воспоминаний о Шаляпине, а также и его книгу (в полном, не советском издании) «Душа и маска», и сложилось у меня впечатление, что до смерти своей не простил он своих душителей, изгнавших его из родной страны, оплевавших его ни за что. И живы еще люди, которые утверждают, что его воля была никогда не возвращаться.

В своем предисловии к книге «Душа и маска» пишет он:

«Не скрою, что чувство тоски по России, которым болеют (или здоровы) многие русские люди за границей, мне вообще не свойственно. (...) по родине я обыкновенно не тоскую».

Вдова Шаляпина Мария Валентиновна сказала Андрею Седых:

«...вернуться в Советскую Россию Федор Иванович никогда не собирался».

Шаляпин сказал во время встречи с А. Седых:

«В Россию я не вернусь. Довольно. Мне в России морду горчицей вымазали».

Ничего, теперь, кажись, мёдом перемазали.

Как пишет К. Д. Померанцев, дочь Шаляпина Дарья рассказывала ему, что Федор Иванович на неоднократные приглашения вернуться в Советский Союз говорил: «К этим словочам ни живым, ни мертвым».

А вот и вернули. Правда, без жены, которая осталась лежать в старой могиле одна. Как пишут советские газеты, прах Шаляпина был перенесен по желанию детей. Таким образом, мы должны понять, что, по желанию детей, после смерти были разлучены их родители.

Может быть, вернули прах великого артиста, ненавидевшего большевиков, потому, что Россия стала свободной? Или, может быть, что-нибудь переменялось, стало свободнее дышать, передвигаться по земле, дискутировать, не ожидая подзатыльников, – может быть, искусство получило полную свободу?

Нет. И сегодня пришлось бы собратьям по искусствам, Кандинскому и Шагалу, для расцвета их талантов убежать оттуда. И блестящие представители советского балета, убежав из своей страны, сделали головокружительную

карьеру, принося славу великим традициям русского балета.

Ясно, что перезахоронение Шаляпина – очередная показуха, да еще в такой счастливый для советской пропаганды момент: вернулся какой-то Битов, дочь Сталина и пара пленных солдат из Афганистана. Конечно, в этой «компании» наличие хотя бы останков Шаляпина придает всему значительно больший вес.

Бас из Большого театра Е. Нестеренко, выступавший с речью на вторичном захоронении тела Шаляпина в новую, советскую (а «советское – значит отличное») могилу, написал несколько лет назад в газете Большого театра, после того как ему разрешили спеть в Кремле на дне рождения Брежнева, что это был «самый счастливый день» его жизни. А что, если бы ему пришлось спеть на дне рождения Андропова (кажется, не позвали)? Попробовал бы он сказать, что это менее счастливый день. А день рождения Черненко? Какой же из этих дней был бы счастливее?

Как видно, новые «подшаляпники» из Большого театра не имеют не только таланта Шаляпина (это не дано всем), но не имеют даже тени его духовной чистоты и прямоты. Поэтому, как навозом, удобряют они свои карьеры партийными билетами и подхалимством перед сильными мира сего.

Мог ли бы Шаляпин унизить себя до такого пресмыкания? Еще в СССР, по воспоминаниям его вдовы, какой-то чиновник в театре начал ему доказывать, как много, дескать, советская власть делает для искусства. Федор Иванович вдруг вспылил: «Да какая же это власть? Говно, а не власть. Что она в искусстве понимает!»

По желанию Шаляпина, на его могиле, выбранной им самим при жизни, на плите было написано:

«Федор Иванович Шаляпин, оперный певец, командор Почетного Легиона».

И правда, никто из русских артистов не дослужился до степени командора, чего нельзя сказать о звании народного артиста республики, пожалованного советской властью и затем ею же отнятого.

Да, после переноса Шаляпина хоронить на чужбине знаменитых русских (а такие похороны еще будут – и писателей и артистов) надо за океаном. Вот Игорь Федорович Стравинский, которого я имел честь знать при жизни и который прези-

рал советскую власть, рискнул, залег рядом с Дягилевым в Венеции. Ну, держись, а то как начнут уговаривать сына...

Сергею Васильевичу Рахманинову, коль лежал бы не в Америке, трудно было бы удержаться в земле. Но с Америкой другое дело. Возможно, СССР обменял бы Рахманинова – не только бы на один труп, а на сотню трупов, как меняют шпионов. Но у США, как известно, нет интересов на советских кладбищах, менять не на что.

А вот кто совсем плохо лежит, хотя и на своей родине, так это Марина Цветаева. Великая поэтесса сама вернулась на родину из Франции. Хотела пожить и умереть на родине. Насчет пожить было трудно, а умереть, в конечном счете, даже при развитом социализме просто – найти крючок и веревку. Повесилась. И тело не надо никуда возить, там же свалили в яму и забыли, в какую. Не вернулась бы тогда Марина Ивановна – смотришь, сейчас бы перетащили ее в цинковом гробу, и сам Первый Секретарь Союза Писателей со слезой во взоре трогательную речь двинул бы о родной земле пухом.

Да что и говорить, лежать на Новодевичьем куда престижнее, чем где-то затеряться на кладбище в Елабуге. По рангу это где-то между Кремлевской стеной и немецким кладбищем, по аналогии с продуктовыми магазинами вроде «Березки» – хуже распределителей ЦК, но много лучше магазинов для простых смертных. И дочь ее не просидела бы в ГУЛаге 16 лет.

А где ваши могилы, режиссер Мейерхольд, поэты Гумилев и Мандельштам, писатели Бабель и Пильняк, академик Вавилов, митрополит Вениамин и безымянные погибшие гении, так и не открытые нам? Затерялись в устланной костями земле сибирской. То ли поезд теперь прессует ваши кости, то ли автомобили их разглаживают, то ли волки продолжают по ним бегать, четвероногие или двуногие, – какая теперь для вас разница!

Разница только для советских хозяев: ваши могилы не ищут – слишком большие хлопоты и мало эффекта. Куда легче перевозить кости из аккуратных могил Парижа – и работа не грязная, и почета много. А что руки в крови, так их можно спрятать. Не каждый увидит.

Почему же многие великие композиторы и исполнители Запада лежат, умершие не в своих странах, лежат себе спокойно, и никакие правительства не перетаскивают их к себе на

родину? Должно быть, для них земля пухом – везде. Бетховен и Керубини, Россини и Шимановский, Гендель и Скарлатти, Боккерини и Крейслер... Почему же их не перетаскивают? Да потому, что совесть у этих стран чистая: они не изгоняли своих пророков.

Даже Карл Маркс лежит в Лондоне, посещаемый делегациями борцов за мир из Советского Союза с атомными боеголовками на плечах вместо нормальных голов.

Какой-то «боеголовщик» – корреспондент «Литературной газеты» писал о перезахоронении Шаляпина в газете от 31 октября 1984 года:

«Последние годы жизни Федора Ивановича Шаляпина прошли вдали от Родины, и в этом была большая его жизненная и творческая трагедия».

Товарищи из Литгазеты, а кто же его выгнал? И поставьте, пожалуйста, всё с головы на ноги: это была, прежде всего, трагедия для советского искусства и для советских любителей музыки.

Я надеюсь, что за труп мой советское правительство бороться не станет. Однако я уверен, что хотя бы частично мой дух туда перетащат или, вернее, восстановят.

В этом году Московская консерватория, которую я окончил и посвятил ей более 20 лет своей педагогической деятельности, специальной многодневной научной сессией отмечала 100-летие со дня рождения моего учителя – С. М. Козолупова. Лились речи, потоком перечислялись имена десятков его учеников, и только одно имя его ученика, возможно не самого плохого, не было ни разу упомянуто – мое.

А коль я скоро умру?

Безусловно, нажмут кнопку, и мой дух обратно влетит в стены Московской консерватории. По другим мелочам тоже могут вернуть. Например, восстановят в советских изданиях мое имя и имя Г. Вишневецкой на посвященных нам произведениях Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и других.

Или, например, в книге о конкурсах имени Чайковского, изданной в Москве, на фотографии первого жюри виолончельного конкурса вернут на свое место – мое лицо, замененное при помощи фотомонтажа лицом какого-то кагебешника (надеюсь, что он не ниже чем в чине сержанта, так как я в виолончели до этого уровня все же поднялся!). Сидел я в этом жюри между моими заместителями Г. Пятигорским и К. Вил-

комирским, а теперь в книге на председательском месте сидит явно не виолончелист и вообще, как говорится, не из нашей деревни.

И, к тому же, монтаж выполнен не на высшем техническом уровне: наверное, аппаратура, купленная в Америке, к этому времени еще не пришла.

Ну что ж, коль пора кончать краткое исследование мистических связей советской системы с трупами, кончу на серьезной ноте.

Мой отец умер во время войны в Оренбурге в 1942 году, и наша семья не имела денег на то, чтобы как-то оформить могилу. Как только я получил первые солидные деньги в конце 1945 года (первая премия на всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей), я сейчас же вернулся в Оренбург и своему первому учителю музыки, любимому отцу поставил крест, ограду, которую сам выкрасил, и таблицу к кресту привесил: «Леопольд Витольдович Ростропович, заслуженный артист РСФСР, профессор».

Спустя много лет, незадолго до того, как меня и жену выжили из Советского Союза, я узнал, что на этом кладбище перестали уж давно хоронить и вскоре его совсем сравняют с землей и на этом месте что-то построят. Я очень взволновался и хотел начать, пользуясь своими знакомствами, невероятно трудную процедуру перевозки и захоронения останков отца в Москве. Но прежде, сомневаясь в религиозной правомочности такого шага, я, будучи еще советским артистом, во время гастролей в Сан-Франциско посетил Владыку Иоанна (Шаховского) и спросил его мнение.

«А кому это нужно – тревожить прах вашего отца? Вам, для вашего удовлетворения – дескать, смотрите, люди, какой я хороший сын? Ну, сколько простоят дом, построенный на кладбище? Ну, скажем, пятьсот лет, – (он явно не хотел оскорблять советских строителей и прибавил лишний ноль), – а отец уже в *вечности*, безо всяких временных границ...»

Я вернулся домой успокоенный.

А как понравится этот аспект советскому правительству в его непрекращающейся дьявольской игре с трупами?

*Мстислав Ростропович*

1 ноября 1984



# Документы польско-русской солидарности

## ЗБИГНЕВ БУЯК – ВЛАДИМИРУ БУКОВСКОМУ

Уважаемый и дорогой Владимир!

Я прочитал твою книгу «И возвращается ветер...». Это замечательная книга. Я очень рад, что мы издадим ее у нас, в Польше. Мне хотелось бы встретиться с тобой и поговорить не только о политике. Я открыл в тебе русского и европейца, в твоей биографии нашел много близких мне моментов, много сходного. С той разницей, что я еще не сидел. Если, однако, я окажусь в тюрьме, то помощью и поддержкой будет для меня воспоминание о твоей героической борьбе, которую ты «там» вел. Ты сумел описать ее без пафоса и громких слов, не представляя себя героем.

Часто я задумываюсь над тем, в какой мере большевизм вытекает из традиций царского самодержавия, а в какой – является искусственным образованием, сложившимся в результате перенесения в Россию западноевропейских утопий, которым русское общество не сумело противостоять.

Твоя книга помогает преодолеть укоренившееся в сознании многих поляков стереотипное представление о русских как о людях с душой раба, для которых большевизм – естественное продолжение их истории. Ныне это представление меняется. Ширится убеждение, что большевизм мог укрепиться в России только в результате длительного террора, жертвами которого стали многие миллионы людей. Торжество большевизма требовало уничтожения всей социальной ткани России. Твоя книга вызывает восхищение, показывая, что, несмотря на та-

кие грандиозные гекатомбы, постоянно находятся люди, готовые сражаться за правду. Так ты помогаешь нам узнать русских, взгляды которых близки нам, борьба которых – наша общая борьба.

Несколько лет тому назад я прочитал эссе чеха Вацлава Гавела «Сила бессильных». Оно было для меня настоящим откровением, помогло в выборе жизненного пути, повлияло на формирование моих взглядов, помогало в моей деятельности. Чтение твоей книги показало мне: то, что я делал и делаю, – это просто продолжение того, что делал ты. Свидетельства таких людей, как ты и Гавел, позволяют понять, сколь важное значение имели «Послание народам Восточной Европы» и «Декларация по вопросу нацменьшинств», принятые I Всепольским съездом делегатов «Солидарности». Мы показали тем самым, что моральные ценности надо всегда ставить выше текущих политических выкладок. Наша деятельность имеет смысл только тогда, когда она помогает всем людям – где бы они ни находились – бороться за их законные права.

Сейчас, когда я пишу тебе это письмо, идет борьба за свободу для Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр. Боюсь, что ставкой в этой борьбе может оказаться их жизнь. Андрея Сахарова могут убить, потому что он нужен столь многим людям, потому что он служит примером для столь многих, в том числе для меня и моих друзей. Мы желаем ему свободы.

Я кончаю это письмо.

Шлю тебе пожелания успехов и надеюсь на встречу в лучшие времена.

С уважением

*Збигнев Буяк*

Варшава, май 1984.

(Перевод на русский выполнен в Польше)

## ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ – ЗБИГНЕВУ БУЯКУ

Дорогой Збигнев!

Спасибо за весть об издании моей книги в Польше. Теперь, более чем прежде, я чувствую себя участником польского Сопротивления и горжусь этим.

Примерно такое же ощущение причастности я испытал несколько лет назад, узнав о своем однофамильце (а может быть, и дальнем родственнике), проголосовавшем в Сейме против военного положения. Ведь на самом деле мы все немножко родственники, хотя бы по сходству наших судеб и характеров. Независимо от нашего возраста и национальности, мы все родились в Будапеште, учились в Праге, мужали в советских концлагерях и достигали зрелости на Гданьских верфях. Наш опыт непрерывен, а процесс, в котором мы участвуем, – необратим, как необратим процесс развития единого организма.

Мне трудно судить, насколько наш московский опыт может оказаться вам практически полезен. Конечно, всегда важно знать, что есть кто-то живой в соседней камере, но ваши задачи теперь гораздо шире и многообразней тех, что приходилось решать нам. В сегодняшнем подкоммунистическом мире Польша – единственная страна, где сопротивление действительно стало всенародным, и, скорее, уж нам следует теперь у вас учиться.

В сущности, все, что нам удалось сделать за четверть века отчаянных усилий, – это доказать, что и в советских условиях можно одержать моральную победу и оставаться человеком. Прежде всего, конечно, победу над самим собой, ибо, по моему глубокому убеждению, у нас всегда есть свобода выбора, даже в тюрьме, и нет нам оправдания, если мы не хотим ею пользоваться. Но не с этого ли все и начинается?

Очень жаль, однако, что осознание человеком такого простого факта принято считать героизмом, а не нормой. Быть может, оттого все еще так скромны наши успехи?

Оттого же, я думаю, так устойчивы предрассудки и стереотипы, о которых ты пишешь. Они ведь тоже не более, чем самооправдание, а в глубине души каждый отлично знает, что коммунизм – прежде всего, самоокупация и не может существовать без нашего, пусть только формального, соучастия.

Русские в этом смысле не лучше и не хуже других. Просто на нас обрушился первый и, полагаю, самый тяжкий удар, последствия которого мало кто мог тогда предвидеть. У наших отцов еще не было перед глазами примеров Колымы и Камбоджи. Понадобились десятки лет террора, десятки миллионов проглоченных ГУЛагом, прежде чем мы, их дети, поняли, что великие преступления начинаются с малых компромиссов.

Поживши теперь в разных свободных странах, я имел возможность убедиться, что и у них достаточно человекообразных, думающих спинным мозгом, что подонок – явление интернациональное, а в каждом человеке есть и раб и господин, причем первого, как правило, больше, чем последнего. Просто мы уже кое-что поняли, кое-чему научились, а они еще нет. Мы уже понемножку выздоравливаем, а им, быть может, еще только предстоит переболеть этой чумой XX века (дайте Бог, в легкой форме). И если, к примеру, французским коммунистам простительно успокаивать себя предрассудками, всерьез считая, что их, французский коммунизм будет лучше польского, камбоджийского, кубинского, русского или китайского (поскольку французы культурней нас, чехов, вьетнамцев, эфиопов или никарагуанцев), нам это уже совсем не к лицу.

Более того, у нас нет пути вперед до тех пор, пока мы не избавимся от этих предрассудков. Я уверен, что только осознание общности нашей борьбы может при-

вести нас к окончательному освобождению. Только когда мы ощутим этот незримый фронт, простирающийся от польских верфей до афганских гор, от джунглей Анголы и Никарагуа до пустынь Эфиопии, от улиц и площадей западных столиц до уральских лагерей и кубинских тюрем – только тогда наши победы станут не только моральными. Поэтому я считаю «Послание народам Восточной Европы» и «Декларацию по вопросу нацменьшинств», принятые I-м Всепольским съездом «Солидарности» подлинно историческими документами, показавшими большую политическую зрелость польского Сопротивления. Не случайно именно эти документы съезда вызвали такой страх у кремлевских мироедов: они-то отлично знают слабое место в цепи своей власти.

По этой же причине создали мы полтора года назад Интернационал Сопротивления, в котором теперь успешно сотрудничают 26 движений из многих стран подкоммунистического мира. Задачи наши чрезвычайно трудны, а цели кажутся недостижимыми. Но ведь мы убеждались не однажды, что, только переступив границу невозможного, и достигнешь результатов.

Сейчас, когда из Москвы доходят до нас известия одно печальнее другого, когда многим начинает казаться, что, кроме Сахарова, там никого уже не осталось, да и он под угрозой смерти, я часто вспоминаю нашего с тобой общего друга Адама Михника. Как-то, незадолго до своего возвращения в Польшу, в Париже, он доверительно спросил меня:

«Скажи мне честно, между нами, много ли диссидентов в Советском Союзе?»

«Ну, в общем, достаточно», – ответил я уклончиво.

«А в Польше очень мало, совсем почти нету, – сказал Адам печально. И, помолчав, добавил: – Все сплошь такие конформисты».

Это было в 1977 году, всего лишь за три года до возникновения многомиллионной «Солидарности».

Поэтому я думаю, что «лучшие времена», о которых ты пишешь, настанут гораздо скорее, чем это сейчас кажется. Тогда, в свободной Польше, мы с тобой и поговорим, и не только о политике. Впрочем, и это письмо не совсем о ней.

Желаю тебе и твоим друзьям новых успехов в годовщину «Солидарности».

С уважением

*Владимир Буковский*

14 августа 1984

## В ЗАЩИТУ САХАРОВЫХ

В редакции журналов  
«Культура» и «Континент»

21. 09. 84

Глубокоуважаемый г-н редактор!

Последние два года я провел в тюрьме, в строжайшей изоляции, и поэтому лишь теперь, когда я сумел хоть отчасти разобраться в лавине информации, обрушившейся на меня после выхода, хочу выразить свое возмущение репрессиями, которым подвергаются двое известных защитников прав человека в СССР. *Елена Боннэр* и академик *Андрей Дмитриевич Сахаров*.

Я вполне отдаю себе отчет в том, как мало значит право или чувство обычной человеческой справедливости для тоталитарных режимов, осуществляющих свои политические цели, но в то же время я по своему собственному опыту знаю, как много может помочь в защите репрессированных постоянное давление мирового общественного мнения. Я хотел бы, чтобы мое письмо стало элементом общей кампании обществ, организаций и правительств, которым дороги идеалы человеческой свободы, достоинства и демократии, – кампании в защиту этого великого, затравленного у себя на родине человека.

Г-н редактор, когда я был в тюрьме, до меня дошло известие о выступлении Андрея Дмитриевича в мою защиту, добралась до меня и открытка от друзей из чехословацкой «Хартии-77»; это были, вероятно, самые радостные минуты в моем, в конце-то концов, неприятном положении. Ощущение единства людей, которые, несмотря на репрессии, не отказываются от права на достойную жизнь, придало мне сил во время моего горького тюремного опыта. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой поместить это письмо. Быть может, так оно дойдет и до супругов Сахаровых как выражение моего глубоко уважения к их бескомпромиссному поведению.

*Збигнев Ромашевский*

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»  
ДЛЯ  
ЕЛЕНА БОННЭР И АНДРЕЯ САХАРОВА

Уважаемые и дорогие друзья,

Давно уже с огромным вниманием и надеждой мы следим за вашей борьбой, а сейчас с замиранием сердца ждем каждой вести о вас.

Борьба, которую вы ведете в несравненно более тяжелых условиях, чем в Польше, для многих из нас служит еще одним вдохновляющим примером и ко многому нас обязывает.

Мы сознаем связывающую всех нас общность идеалов и стремлений. В свете сложных, трудных, отягощенных немалым бременем отношений между нашими народами именно эта общность позволяет верить, что настанет время, когда то, что соединяет, возьмет верх над тем, что делит.

Считайте нашу деятельность в Польше также выражением солидарности с вами. Мы думаем и помним о вас и всеми мыслями с вами.

С уважением, восхищением и признанием, с чувством глубокой заботы о вашей судьбе

Региональная исполнительная комиссия  
НСПС «Солидарность» региона Мазовше  
*Конрад Белинский, Збигнев Буяк, Збигнев Янас, Виктор Кулерский.*

Варшава, октябрь 1984 г.



## СОЛИДАРНОСТЬ С АНДРЕЕМ САХАРОВЫМ

Нелегко нам, полякам, любить русских. Совсем не случайно, что сегодня чаще всего обращаешься к истории боев за независимость конца XVIII, XIX и начала XX века. Это были битвы против царизма, но и – против русских. Именно русские представляли в Польше порабощение.

«Поедем с кацапом на Камчатку этапом», – напевал на плясовой мотив мой дед, боевик Польской социалистической партии, во времена революции 1905 года. Революцию эту, вспыхнувшую почти по всей царской империи, а в Польше ставшую очередным порывом к независимости, – большевики зачисляют в счет своих традиций. Но уже в 1920 году отец мой, тогда 15-летний мальчишка, пошел добровольцем на фронт. Большевики – тогда говорили так – приближались к Варшаве. А потом было 17 сентября 1939 года. На улицах Львова я видел польских военнопленных, которых вели солдаты, говорившие по-русски. Из лагеря польских офицеров в Козельске приходили открытки от брата моей матери. Все военнопленные из Козельска были зверски убиты НКВД в Катыни. На военном кладбище в Варшаве несколько раз в году тысячами свечей загорается символическая могила жертв Катыни – лоскуток газона, без холмика земли, надписи, знака...

Нелегко нам, полякам, любить русских. Правда, только в городах северо-западной Польши на улице можно увидеть солдат в советских мундирах. Однако они постоянно присутствуют в сознании польского общества. Нам ни на минуту нельзя забыть того, что произошло в Берлине в 53-м году, в Будапеште в 56-м, в Чехословакии в 68-м. Польское общество за сорок лет порабощения тоталитарной диктатурой бесспорно проявило свою жажду свободы, что значит: демократии и независимости. Не впервые в своей истории оно показа-

ло, что достойно свободы и способно за нее бороться. Если же эта борьба отмечена поражениями, то не потому, что на стороне тоталитарной диктатуры стоят какие-то силы общества, но потому, что за ней стоят вооруженные силы СССР. Значит, нам следует самоограничиваться, сдерживаться, уступать. Думаю, что такие уступки, ограничения, отступления, которые мы навязываем себе из ощущения бессилия, – источник особенно сильных комплексов. А комплексы порождают агрессию и ненависть.

Нелегко нам, полякам, любить русских, а надо, непременно надо, вопреки искушению ненависти. Я говорю здесь о долге любви, но в сфере чувств приказания бессильны. Так откуда же столько любящих? В первые дни восстания 1830 года в костеле Капуцинов прошло необычайно массовое траурное богослужение за души казненных декабристов. Варшавское простонародье почтило память русских, которые пали ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ – так понимала революционная Варшава жертву декабристов.

Наша неволя была и неволей русских, и всякая борьба одного из поработенных народов – общей борьбой. Позади нас огромный кусок общей истории. Общая у нас и Сибирь, где покоится прах наших отцов и дедов. Сознание этого единства судеб всегда было сильно в польском обществе. Сегодня оно, кажется, сильнее и общераспространеннее, чем когда бы то ни было.

Принятое съездом «Солидарности» «Послание к трудящимся стран Восточной Европы» политически, наверно, не было самым разумным шагом. Во всяком случае, тогда я так считал. Что еще любопытней, позднее подобное мнение было весьма распространено среди самих делегатов. Так как же дошло до его принятия? Я это видел и понимаю. Это был порыв сердца. Выслушав предложенный проект, делегаты сорвались с мест, и началась овация, до обсуждения не дошло. Это

были подлинными представители всех польских трудящихся, и они действительно выражали волю своих избирателей. «Послание» было адресовано также – если не в первую очередь – русским рабочим.

Нет сомнения, что русский народ больше всех претерпел от советского тоталитаризма. Однако сознание этого факта прояснилось у поляков, пожалуй, только тогда, когда из России раздался голос людей, сражающихся с этим тоталитаризмом. Пожалуй, именно они – одинокие, преследуемые, благородные – вернули полякам любовь к русским. Русский голос правды о 17 сентября 1939 года, русский голос правды о Катыни, русские голоса в защиту польских политзаключенных... И все-таки, пожалуй, не только и не в первую очередь повлияло их отношение к польскому делу. Нам, думаю, было достаточно узнать, что есть непокорные в СССР. Они стали для нас образцом, надеждой, источником отваги. В начале 70-х годов я и мои друзья восхищались русскими и завидовали им, с их самиздатом, «Хроникой текущих событий», Комитетом защиты прав человека... Из этого восхищения и зависти родились и многие наши начинания.

Среди тех одиноких, преследуемых, благородных, что вернули нам, полякам, любовь к русским, – Сахаров занимает особое место. Не мне рассказывать об этом людям русской демократии – они это знают лучше всех. В Польше эту демократию символизируют два человека – Сахаров и Солженицын. Они и представляют для нас весь русский народ. И если на одну чашку весов нашего сердца и совести положить все то, чем порождается ненависть, а на другую – дело горстки людей, которую символизируют два эти имени, – дело это перевесит.

Я хочу выразить глубочайшую солидарность с Андреем Сахаровым. Не потому, что в полемике вокруг солженицынского «Письма к вождям Советского Союза» точка зрения Сахарова была мне ближе. Не потому, что мы, члены Комитета общественной самоза-

защиты КОР, письменно и лично – поездкой Збигнева Ромашевского – сотрудничали с Сахаровым. Я хочу выразить свою – нашу – солидарность с Сахаровым потому, что сегодня его жизнь зависит только от солидарности с ним мирового общественного мнения. Он, пожилой, одинокий, больной человек, в самом деле опасен для вождей Советского Союза, ибо чего они боятся, так это свободного слова. И в то же время, пока будет звучать мощный голос людей доброй воли во всем мире, они не смогут физически его уничтожить. Я подчеркиваю, что мы защищаем Сахарова от физического уничтожения – духовно он уже победил.

15 X 1984

*Яцек Куронь*

## ТЕЛЕГРАММА

В связи с выходом в свет 100-го номера «Тыгодника Мазовше» сердечно поздравляем редакцию. Мы высоко ценим и постоянно используем информацию и комментарии, помещаемые на страницах «Тыгодника Мазовше». Желаем «Тыгоднику Мазовше» и всей подпольной прессе как можно скорее выйти из подполья в свободной и независимой Польше, а пока – жить и действовать вопреки полицейским преследованиям.

*«Континент»,  
«Русская мысль»*

Париж, сентябрь 1984

## ПАМЯТИ ПОЛЬСКОГО МУЧЕНИКА СВЯЩЕННИК ЕЖИ ПОПЕЛУШКО (1947–1984)

К десяткам открыто и втайне убитых за последние три года в Польше, к горнякам шахты «Вуек» и Любинских медных рудников, металлургу Богдану Влосику, школьнику Гжегожу Пшемьку, крестьянину Петру Бартоще прибавилась новая жертва польских чекистов – священник варшавского костела Св. Станислава Костки, капеллан Варшавского металлургического комбината о. Ежи Попелушко.

В августе 1980 года молодой священник служил молебен для бастующих рабочих комбината – крупнейшего промышленного предприятия Варшавы. Впервые ксендз вошел в эти заводские ворота и окружил пастырской опекой металлургов прямо в цехах и на заводском дворе. Примас Польши кардинал Вышинский благословил о. Ежи Попелушко продолжать это пастырство.

Великими праздниками были в эпоху «Солидарности» дни освящения заводских ее штандартов. В костеле Св. Станислава Костки были освящены штандарты Варшавского металлургического комбината, Варшавского завода легковых автомобилей и других предприятий польской столицы. Но такие торжества проходили тогда по всей стране, и, когда 13 декабря 1981 года партийно-генеральская хунта объявила военное положение, не все священники остались тверды перед лицом возможных репрессий, не все устояли в защите идеалов «Солидарности». Что было прекрасно и нетягостно в праздничной эйфории, стало опасным и рискованным.

О. Ежи Попелушко с первых недель «польско-ярузельской войны» нес своей пастве слова ободрения, защищал свободу и человеческое достоинство, не боялся прямо называть полузапрещенную, а затем и вовсе запрещенную «Солидарность». Последнее воскресенье каждого месяца было в костеле Св. Станислава Костки днем молебна за отечество и за всех тех,

кто ради него страдает. И каждый раз в этот день под сводами костела и через репродукторы, установленные на улице, многотысячная толпа верующих, которую костел не мог вместить, внимала проповеди о. Ежи Попелушко.

Правительственная пресса, а в особенности самая постыдная ее фигура, бывший «либерал» и бывший журналист Ежи Урбан, не уставали в нападках на проповеди о. Ежи Попелушко, обвиняя его в том, что он «дышит ненавистью». А он говорил, как только и может сказать священник:

*«Молим Тебя, Господи, и за тех, кто не ведает, что творит, принося страдания, тревогу и страх своим соотечественникам».*

И последняя проповедь о. Ежи Попелушко, произнесенная в Быдгоще в тот самый день, вечером которого чекисты схватили его, связанным бросили в багажник автомобиля и увезли «в неизвестном направлении» – на смерть, – самая последняя проповедь варшавского священника была произнесена на тему «Зло Добром побеждается»...

Не всегда. Не всегда – в нашем земном, временном измерении, в той жизни, где палачи и насильники одерживают победу над Добром, которое вооружено лишь Крестом да Словом. Но и здесь, и в этой, непотусторонней жизни всё чаще начинают они содрогаться перед лицом безоружного Добра – иначе откуда бы взялась эта лютая чекистская злоба, заставившая растерзать того, кто молился и за них? И содрогаются перед делом рук своих – нет, не усовестившись, но видя, что злобное торжество их в конечном счете оборачивается позором и поражением. И об этом говорил о. Ежи Попелушко в одной из своих проповедей (после убийства варшавского школьника Гжегожа Пшемька):

*Беда Каинам, которые братскую кровь, кровь невинного Авеля проливают. Ибо кровь Авеля будет взывать о справедливости к самому Богу».*

Так взывает к Богу пролитая кровь священника Ежи Попелушко. И, зная, что торжество Правды, Справедливости и Солидарности, за которое он отдал свою жизнь, неизменно наступает в вечном, духовном измерении, мы верим, как верил в это капеллан варшавских металлургов, что и здесь, на земле, в тесных рамках истории, тоже не вечно торжествовать Злу. И, молясь за упокой души невинно убиенного раба Божия Георгия, не забудем один из плакатов, повешенных рабочими на ограде костела Св. Станислава Костки в эти трагические дни:

*«Святой Георгий, помоги нам покончить с красным драконом».*

«КОНТИНЕНТ»,  
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

## **Несломленная Польша на страницах «Русской мысли»**

I

(Декабрь 1981 – декабрь 1982)

Сост. Наталья Горбаневская

Париж, 1984. Издание «Русской мысли». 276 стр. Цена 30 фр. фр.

**Первый выпуск – первый год «польско-ярузельской войны»**

Сжатое воспроизведение еженедельных обзоров польских событий, основные аналитические статьи, тексты из польской подпольной прессы.

Малый формат и тонкая бумага позволяют этой книге стать лучшим подарком для ваших друзей на родине.

Заказы направлять в редакцию:

La Pensée Russe, 217 rue Fb.-St. Honoré, 75008 Paris.



# КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)  
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)  
начиная с №.....

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

## «КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг  
Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.  
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

## **ВНИМАНИЮ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗДАНИЙ ЗАРУБЕЖЬЯ!**

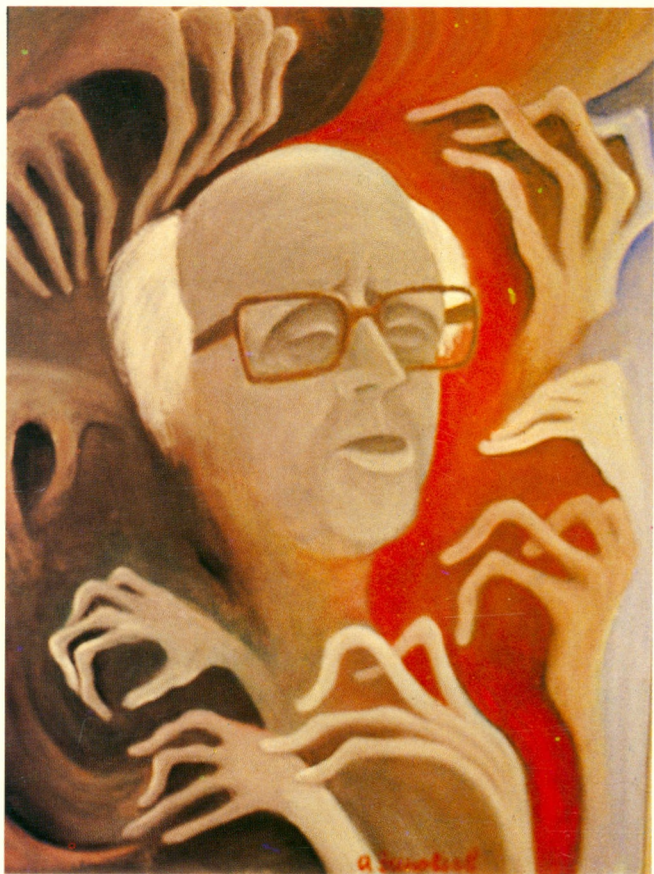
В последнее время участились случаи перепечатки в русскоязычных изданиях Зарубежья материалов «Континента» без всякой ссылки на источник.

В связи с этим, редакция считает своим долгом предупредить столь бесцеремонных публикаторов, что отныне мы закрепляем за собой право пресекать подобную практику в соответствии с существующими в каждой отдельной стране законами.

Право требовать морального или судебного удовлетворения на местах предоставляется нами нашим официальным представителям, имена которых обозначены на второй странице обложки журнала.

Напоминаем также, что «Континент» разрешает всем русскоязычным изданиям Зарубежья безвозмездные перепечатки из «Континента» только с условием обязательной ссылки на источник.

*РЕДАКЦИЯ*



К ст. Т. Мянвича: **А. Зиновьев.** *Портрет Ростроповича.*